

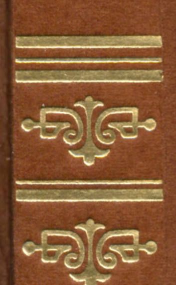


ЗЕМЛИ И ЛЮДИ

В гуще переселенческого движения

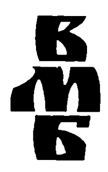
(1906-1921)

А.А. ТАТИЩЕВ











ОСНОВАНА А.И. СОЛЖЕНИЦЫНЫМ

СЕРИЯ

НАШЕ НЕДАВНЕЕ

9

А. А. ТАТИЩЕВ



ЗЕМЛИ И ЛЮДИ

В гуще переселенческого движения

(1906–1921)

Москва
РУССКИЙ ПУТЬ
2001

ББК 63.3(2)52
Т 23

ISBN 5-85887-106-2

РЕДАКТОР СЕРИИ
Н.Д. Солженицына

Всероссийская мемуарная библиотека
Серия: Наше недавнее
Выпуск 9

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: МИФ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Переселение людей на новые земли в России имеет очень давнюю историю. Ее начальные страницы были написаны во второй половине XVI века казаками экспедиций Ермака Тимофеевича, проникшими за Урал на Иртыш и Обь. Немного позднее, уже в первой трети XVII века, русская колонизация достигает бассейна Енисея, а к середине столетия — берегов Восточного (Тихого) океана. В конце этого века русские появляются на Камчатке. При Петре I и его ближайших наследниках предпринимается ряд экспедиций, способствовавших освоению самых окраинных восточных территорий Российской империи и подготовивших почву для проведения целенаправленной политики переселения, которая начинает широко осуществляться после Великой крестьянской реформы 1861 года.

Наряду с этим в течение конца XVIII — середины XIX века происходит присоединение к России земель Кавказа, Туркестана, Ферганы и дальнейшее освоение южных пространств Западной Сибири, Забайкалья и особенно Приамурья и Приморья как важнейших стратегических регионов.

Замедлившийся к концу XIX века процесс переселения получает новый импульс в начале XX века при молодом премьер-министре П.А.Столыпине.

В речи об устройстве быта крестьян, произнесенной в Государственной думе 10 мая 1907 года, Столыпин сказал: «Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать».

Знаменательно, что автор настоящей книги оказался у самого истока грандиозного столыпинского проекта и что именно при А.А.Татищеве произошло реформирование Переселенческого управления в координационный центр по подготовке земель и расселению.

Только война и последовавшая катастрофа 1917 года не позволили провести в жизнь благодатные задачи, поставленные великим реформатором-патриотом. Однако первые плоды переселенчества дали себя знать уже при жизни Петра Аркадьевича, убитого четыре года спустя после той речи, закончившейся хрестоматийными теперь словами: «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!»

Действительно, переселение и колонизация шли как нельзя успешно. Если в предыдущие двенадцать лет возвращалось свыше 16 процентов переселившихся за Урал, то в 1907 году — лишь 4 процента.

Сам П.А.Столыпин со своим любимым министром А.В.Кривошеиным воочию могли убедиться, проехав по многим районам Сибири, в успешности осуществляемой реформы. (Между прочим в лживом советском официозе утверждалось, что до 60 (!) процентов уезжавших на новые земли вернулось домой.)

Содержательные воспоминания А.А.Татищева как одного из многих исполнителей «черной работы» в самых разных регионах колонизационного обустройства, написанные живо и по-деловому профессионально, представляют современному читателю ценное свидетельство о малоизвестном периоде нашей недавней истории.

Редакция



ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

(1885–1906)

БЕЛЯНИЦЫ

Родился я в нашей усадьбе — селе Беляницах — в ночь с 5 на 6 декабря[1] *1885* года (подчеркиваю год, потому что во всех документах моих, выправленных после революции, я указывал годом рождения 1882 год — сперва, чтобы избежать призыва в Красную армию, потом же — автоматически при возобновлении документов). Как водится, послали в уездный город — Бежецк — за доктором, но, видимо, роды протекли очень быстро, так как я появился на свет при содействии деревенской повитухи, а доктора привезли, когда все уже было кончено. Между прочим, ездивший за доктором кучер Левон мне впоследствии рассказывал, что по дороге они нашли оброненный кем-то мешок с солью и подобрали его, так как найти соль — к счастью.

По обычаю семьи, с новорожденного сняли мерку и заказали образ вышиною в рост младенца со святыми дня рождения и дня ангела. Так как я родился около полуночи, на моем образе три святых: св. Алексей, митрополит Московский, св. Савва Освященный, которого празднуют 5 декабря, и св. Николай Чудотворец, которого я всегда как-то особенно почитал и считал своим покровителем. В Беляницах же 6 декабря — зимний Никола — был праздником церковного придела зимней церкви.

В те годы мой отец был бежецким уездным предводителем дворянства, и мы жили почти круглый год в деревне, уезжая в город лишь на время весенней распутицы, когда поневоле прекращалось всякое сообщение Беляниц с внешним

---

[1] Даты указаны автором по старому стилю. — *Здесь и далее под цифрами примеч. и перев. ред.*

миром. Но от этого периода нашей беляницкой жизни в моей памяти уцелели, конечно, лишь смутные обрывки отдельных воспоминаний. В играх братьев и сестер я в то время участия не принимал: между мной и Борей было более девяти лет разницы и даже ближайшая ко мне Соня была на три с половиной года старше меня. Думаю, что они меня частенько дразнили; одно из первых моих воспоминаний: я стою посреди своей комнаты (еще в платьице, так что лет трех) и говорю: «Бедный я, бедный я, все меня обижают». Из воспоминаний более приятных: утро дня рождения (верно, четыре года); меня вводят в столовую, где «на столике» разложены подарки и тут же крендель с зажженными свечами. Из игр любил почему-то изображать священника: набрасывал на плечи плед и, кланяясь, говорил нараспев: «о-ми-ми, о-ми-ми» (Господи помилуй), что мне запрещали. Ходила за мной Минна, говорившая со мною в то время по-русски. В сущности, я был первым ее собственным питомцем (у старших она была помощницей бонны); оттого, верно, сохранила она ко мне совсем особое чувство какого-то обожания, более чем к кому-либо другому из Geschwister'ов[1]. «Prelest Alexis» (прелесть) — называла она меня до конца своих дней. «Lassen sie ihn, er wird doch der beste»[2], — говорила она, когда кто-нибудь начинал меня дразнить.

В 1890 году мой отец был назначен екатеринославским вице-губернатором и все мы отправились на юг.

Екатеринославское житье наше было вообще очень коротким, менее года. Отцу моему было в это время более 40 лет, и пост вице-губернатора он принял только благодаря данному ему в министерстве обещанию, что при одной из первых вакансий ему дадут губернию. К тому же и климат Екатеринослава был ему вреден. У него уже развивалась чахотка, и в следующую зиму он ездил на несколько месяцев в Каир. В то время больных туберкулезом доктора усиленно посылали на юг, на жаркое солнце. (Почти одновременно заболел чахоткой дядя Петруша Огарев. Он поехал лечится в Меран, откуда вернулся выздоровевшим, и дожил без малого до 70 лет.)

Из Екатеринослава мы вернулись в Беляницы; осенью братья поехали в Лицей, а я с сестрами остался в деревне до

---

[1] Братьев и сестер (*нем.*).
[2] Не приставайте к нему, он хороший (*нем.*).

4 ноября. Помню этот день, так как была метель и, едучи в Бежецк на станцию, мы опоздали к поезду и должны были остаться на сутки в Бежецке у Коровкиных (богатых купцов, с которыми у нас всегда были хорошие отношения, сохранившиеся до революции). Оттого в Петербург мы попали только 6 декабря, то есть в самый день моего рождения (шесть лет).

Жили мы ту зиму на Сергиевской, 8; этажом над нами жили Родзянки (Николай Владимирович, женатый на тете Зое Оболенской). В Петербурге начались у меня настоящие занятия с фребеличкой[1] Анной Федотовной; впрочем, более другого я занимался на этих уроках клейкой бонбоньерок и лепкой из глины. Помню и склеенную мною тетрадку для марок — в красной обложке, — и мою гордость: марку из Египта (письмо от Папа).

ПОЛТАВА

Весной мой отец вернулся значительно поправившимся и както раз мне сказали, что Папа сделан губернатором и мы все скоро поедем в Полтаву. (Странная деталь: помню визитную карточку «от министра», которой Ив. Ник. Дурново извещал о состоявшемся назначении.)

Самого переезда в Полтаву не помню; он как-то сливается для меня с переездом в Екатеринослав. Но помню, что приехали мы в Полтаву вечером и что мне тут показали *удивительную вещь*: поворачиваешь ключик на стене — и зажигается лампочка в люстре. Другая «удивительная вещь» — телефон на стене в соседней комнате, рядом с которым «список абонентов» на большом листе. Я его потом выучил наизусть: в 1893 году 34 абонента.

С Полтавой связано все мое раннее детство — без малого четыре года, в которые ребенок превращается в мальчика. Минна отошла там на второй план; ближайшим образом ведала мною фрейлейн Шварц, к которой я перешел после сестер; последние поступили в гимназию; для французского и английского были у них особые гувернантки — мадемуазель

---

[1] Воспитательница детей дошкольного возраста по методу Фридриха Фребеля (1782—1852).

Дешамп, мисс Стенден, мисс Листер, немецким продолжала заниматься с ними фр. Шварц. Со мной фрейлейн была ласкова и хороша, как, впрочем, и с Соней; бедную же Катю подчас бивала. Минна фрейлейн Шварц недолюбливала, называла ее (как, видимо, за глаза и вся прислуга) — Шварчиха, отчасти, думаю, сказывалась в этом нелюбовь австриячки к Пруссии, отчасти — чувство ревности к нам, ее бывшим питомцам.

Губернаторский дом в Полтаве был внушительным белым зданием (построенным в начале XIX века) с большим садом, занимавшим с двором целый квартал. В нижнем полуподвальном этаже были службы и жила прислуга. Парадные комнаты занимали средний этаж, где были и спальни с уборными моего отца и Мама. В верхнем этаже мы занимали всего шесть комнат (детские и гувернантки), остальное было занято канцелярией. Где-то были, кроме того, комнаты, занятые нашими постоянными гостями, беляницкими соседями: Котей Бойе-ав-Геннес, служившим в местном полку, и Василием Алексеевичем Храповицким. (Последний был из мелкопоместных и жил много лет в расположенной в шести верстах от нас усадьбе «Гнездовке» с полунормальной матерью.) Потом, когда ее состояние ухудшилось, пришлось ее поместить под Тверью в дом умалишенных, а Василия Алексеевича мой отец устроил на службу в Полтаву. Не пройдя высшего образования, он был чрезвычайно начитан, и мой отец любил подтрунивать над его увлечением философией Канта, братья же трунили над его платоническими увлечениями девицами, которых было семь «ангелов», с поэтическими все именами — Зинаида, Валентина... кончалось Вандой, дочерью полтавского фотографа. Долгое время гостила у нас и Ольга Штюрмер (сестра будущего премьера), которая перед тем жила вместе с сестрой в Беляницах.

Описывать комнат не стану. Они мне казались (да, кажется, и были) огромными, особенно зала с царскими портретами. Рядом со столовой была «комитетская», где бывали заседания чиновников, а затем кабинет моего отца. Сюда я входил по утрам с ним здороваться (должен сказать, что около его кресла всегда была на полу плевательница со следами кровохаркания, значения которого я тогда не понимал) и вечером — проститься, в 9 часов, когда он обычно лежал на оттоманке и курил, читая газету. В сущности, его здоровье было в эти годы уже сильно подорванным. Минна рассказывала, что

он часто вставал среди ночи и выходил из своей комнаты (за кабинетом), прося согреть ему молока.

Вечером после обеда мы с сестрами бегали и играли в большой зале, но середину дня проводили у себя наверху, занимаясь или играя.

Думаю, на второй год нашего пребывания в Полтаве меня отдали в подготовительную школу, открытую некой Мунтяновой. Помещалась она в небольшом домике на улице, примыкавшей к нашему саду. В начале учеников и учениц (школа была смешанная) было немного — человек 12, делившихся на два класса. Но постепенно дело расширилось, и, когда я уехал из Полтавы, в школе было три класса и более 20 учащихся. Учился я хорошо (был одним из лучших), но поведением моим Мунтянова была недовольна.

Яковцы было имением профессора Склифосовского, где мы проводили лето в нанятых у хозяев двух флигелях. В имении был громадный парк и большой фруктовый сад с виноградником, куда часто приводили гостей полюбоваться видом на Полтаву и долину Ворсклы. У Склифосовских были дети наших лет, с которыми мы играли, но особой дружбы не было, так как зиму те проводили в Петербурге. (Кончили они потом грустно: Саша покончил с собой из-за несчастной любви, Муся вышла замуж, но тоже, говорили, несчастливо.)

У самой усадьбы начинался крутой спуск к долине Ворсклы, куда мы ходили купаться. В последнее лето (1895) у меня был гувернер-швейцарец. Собственно говоря, он был приглашен для Ники, но по приезде нашли, что тот мало развит, и поручили ему меня: он любил гимнастику и в этом отношении был мне, несомненно, полезен. Да и по-французски я заговорил, а до того знал только небольшое количество слов.

Верстах в двух от Яковцов была так называемая «Шведская могила», братская могила русских, убитых в бою под Полтавой. Во время нашего пребывания в Полтаве на могильном холме был сооружен большой гранитный памятник с каменной же лестницей, но должен сказать, что первоначальный вид могилы — земляной холм с небольшим крестом из жести и с краткой надписью, перечислявшей количество погребенных — всего 1345 человек при, кажется, 50 офицерах и одном генерале, — был гораздо задушевнее, проще. Мы иногда ездили туда прогулкой.

Вообще, память о полтавской победе 27 июня 1709 года была в городе очень жива. Высокий памятник с орлом, держащим в клюве золотой венок, красовался посреди сквера в центре города на месте, где когда-то Келлин, комендант освобожденного города, встречал Петра. (Окна нашего дома выходили на этот сквер, и в свободные минуты мой отец любил посидеть перед памятником: «под бубликом», как говорил он шутя про венок у орла.) Другой, меньший по размеру, памятник был на месте б. дома Келлина, и ежегодно 27 июня бывал крестный ход из прилегающей военной церкви в соборе.

Большим событием для нас бывали царские дни, когда после обедни в соборе чиновничий мир в Полтаве во главе с архиереем, начальником дивизии и вице-губернатором, стариком Жуковым, собирался у нас на парадный завтрак. За «катиентишем» сидели и мы, обычно с чиновниками особых поручений при Папа, которые немного подливали нам шампанского, отчего делалось веселее. 6 декабря, Николин день, именины Государя, был и днем моего рождения, и я был несказанно горд, когда кто-то провозгласил тост за меня (мне минуло 10 лет) и архиерей меня поздравил: «с имянином — желаю быть командиром». (Рифма хромала, и я был новорожденным, а не именинником, но все же было очень лестно и приятно.)

Церковные службы наша семья посещала исправно, но ездили мы, кроме официальных случаев, когда Папа надевал придворный мундир и ехал в собор, в небольшую домовую церковь «богоугодного заведения» («богоугодки», — говорил Папа.) Не знаю точно, что это было за учреждение, видимо, больница для хроников, так как после службы Великой субботы (утрени) крестный ход шел через палаты с больными. В первый раз мы с Соней почему-то от него отбились, и до сих пор помню чувство страха, с которым я шел потом за Соней через бесконечные, казалось мне, палаты со страшными, бритыми людьми.

Иногда, впрочем, ходили просто в соседнее с нами здание Кадетского корпуса, где была, по обыкновению, домовая церковь. Кадеты были на детских вечерах «кавалерами», когда у нас устраивались для сестер танцы, то, кажется, директор просто присылал десяток воспитанников из старшего класса из хорошо танцевавших.

У сестер было довольно много подруг; я же, как и потом в жизни, сходился со сверстниками туго и товарищей, в сущ-

ности, не имел. Чаще других меня водили в Дворянский дом (недалеко от нас, по другую сторону сквера), где у Бразолей бывали уроки танцев. Моей дамой (по возрасту) бывала всегда Лиля Быкова (вышедшая потом замуж за Саницкого); Быковы были большой семьей, с которой мы и потом сохранили связь, так как старший из них, Саша, ходил к нам из Лицея в отпуск, а Мама очень любила их мать, рожденную Пушкину, внучку поэта (а муж ее был племянником Гоголя.)

Кроме Бразолей и Быковых, водили меня еще иногда к Шидловским (их отец, двоюродный брат Николая Илиодоровича, был управляющим Казенной палатой).

Помню также девочку Ниночку Рек, с которой мы как-то сразу подружились и, прощаясь, поцеловались; но эта дружба не продолжалась, так как Ниночка через несколько месяцев умерла от дифтерита. Потом почему-то влюбился в Ксению Боголюбову, но та была старше меня и я перед ней больше преклонялся, чем разговаривал. По воскресеньям к нам часто приходили две институтки — Арбенева и Арнольди. Последняя была сиротой. Ее мать была в детстве дружна с Мама. (Кажется, дочь волоколамского капитан-исправника.)

Гащивала у нас также Маня Огарева, которая была в то время очень хорошенькой и имела большой успех, но замуж почему-то не вышла, хотя один из полтавских помещиков делал ей, видимо, предложение.

На праздники и на лето приезжали из Петербурга братья, очень веселившиеся, но на меня в то время внимания не обращавшие. Боря уже кончал Лицей. Помню, как, уезжая после Рождества, он, прощаясь, сказал Папа, что тот его в форме уже больше не увидит. Так и вышло. Это был октябрь 1896 года.

К полтавской же эпохе относится моя первая заграничная поездка. Весной 1893 года врачи предписали моему отцу поездку в Тироль, и так как я был в детстве очень слабым (по словам Минны, полтавский наш доктор говорил фрейлейн Шварц, что едва ли я протяну особенно долго и доживу до взрослого возраста), то было решено взять и меня с собою. Ездили мы тогда в Меран, и я с большим интересом ходил с фрейлейн Шварц осматривать старинные замки. Любовь к истории сказывалась во мне уже тогда.

Первое лето (1892) родители провели в Полтаве не выезжая, но сестер и меня послали в имение дяди Бориса Мещерского (брата Мама) в Миргородском уезде — Столбино, где проводили лето Огаревы. Здесь я в первый раз увидел малороссийские степи и услышал малороссийскую речь. Имение это дядя Борис купил незадолго перед тем, и усадьба была новая с молодым еще садом. Очень скрашивали ее два больших ставка (пруда), по берегам которых росли тростники, из которых мне вырезали стрелы для моего самострела. Была большая пасека со стариком «дедом» за ней ходившим.

В 15 верстах от Столбина было имение наших полтавских знакомых Вульфертов — Снетин, — которое мой отец купил в конце 1895 года. По проекту моего отца это имение должно было впоследствии достаться мне, отчего я всегда считал себя полтавским помещиком (разумеется, потом, после смерти Папа). В полтавскую эпоху я об имущественном нашем положении никакого понятия не имел: получал, впрочем, в месяц 50 копеек «жалованья», на которые покупал себе дешевые книжки Разина: «Русская история в рассказах».

Летом 1894 года мы ездили в Беляницы. Подробности этого лета помню смутно, разве что начал ездить верхом на старом «Шарике», которого держал «на буксире» ехавший рядом Терентий. Помню еще охоту на зайцев с загонщиками — 6 августа и как я был горд, когда Ника мне сказал, что я прошел пешком 10 верст.

ВЕНА. СМЕРТЬ ПАПА

В начале 1896 года моему отцу опять предписали поездку за границу для лечения. На этот раз мы должны были поехать на итальянские озера и, кроме меня, были также взяты сестры. Не знаю почему, в момент отъезда в вагоне мне стало как-то очень грустно и я даже всплакнул. В действительности расставание с Полтавой оказалось длительным: попал я туда уже взрослым.

Первая остановка наша была в Вене, которую Папа очень любил по воспоминаниям тех лет, которые он провел там

после свадьбы в качестве секретаря посольства. Приехали мы утром, остановились в Гранд-Отеле, и Папа, со свойственной ему неутомимостью повел нас троих смотреть город. Были в Stephanskirche, видели Stock am Eisen, к завтраку соединились с Мама в гостинице, после чего отправились гулять с Мама, а Папа сказал, что хочет посмотреть еще какую-то часть города, после чего вернется к себе отдохнуть. Это было 21 февраля старого стиля (4 марта — по новому).

В этот день были должны состояться похороны какого-то эрцгерцога, и Мама наняла окно, выходящее на площадь у церкви, где происходило отпевание. Зрелище нас, детей, конечно очень заинтересовало, и мы с интересом рассматривали вычурные мундиры присутствовавших на похоронах сановников и войск.

Уже стемнело, когда мы вернулись домой в гостиницу. Потом Соня говорила, что ее удивило, что в лифте с нами вошло человека два из администрации. Когда мы вошли в номер, они стали что-то объяснять Мама. Я не уловил слов, расслышал только несколько раз слово der Herr. Мама схватилась за голову и опустилась в кресло. Я спросил Соню: «Что с Папой?» — «Папа умер», — ответила она.

Из рассказов выяснилось, что почти тотчас, после того как он с нами расстался, Папа почувствовал себя на улице плохо, но успел подозвать фьякр и, держа у рта платок, сказал: «Grand-Hotel». Когда же фьякр подъехал к гостинице, отворивший дверцу швейцар увидел, как он говорил: «Der Herr war schon tot»[1], и тело подняли во взятый для Папа номер.

Уже в тот же, кажется, вечер была первая панихида, которую служил священник посольской церкви. В посольстве было много знакомых (послом был тогда гр. Петр Алексеевич Капнист), из которых был особенно мил с нами и помогал во всем Мама бывший, думаю, секретарем, а может быть, советником Сергей Николаевич Свербеев. Дня через три приехали вызванные телеграммой из Петербурга оба брата вместе с тетей Машей Огаревой, и в посольской церкви было отслужено отпевание, после которого гроб на катафалке был доставлен на вокзал для отправки в Петербург.

---

[1] Господин уже скончался (*нем.*).

Так изменились сразу все наши планы, и было решено, что в дальнейшем будем жить все в Петербурге. На следующий после отпевания день мы все покинули Вену, а по приезде в Петербург состоялись и похороны Папа на новом еще тогда Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

СНОВА В БЕЛЯНИЦАХ

Поселились мы сперва в нанятой Мама до лета квартире Козенов на Спасской площади, против Преображенского собора. Квартира была нам, в сущности, тесновата, и когда в Лицее начались экзамены, только Ника мог поместиться с нами. Боря же поселился на Литейной, 19, у Пушкиных, с которыми был дружен (Дима и Вета). Помню, что вначале я страшно ссорился с Соней, и Мама долго не знала, как на меня повлиять, пока не решила прочесть мне конец «записки» моего отца, в которой, изложив, как бы он разделил между нами наши имения и капитал, он в конце обращается к нам с просьбой жить дружно, не ссорясь, помогать друг другу и беречь Мама. Чтение это произвело на меня очень сильное впечатление, и с этого дня я действительно стал гораздо сдержаннее и мои беспрестанные капризы прекратились, сделав возможной жизнь в нашей тесной квартире. Вскоре наступила весна. Было решено, что сестры поступят в гимназию Оболенской, а я в Анненшуле (немецкую классическую гимназию, пользовавшуюся в те годы репутацией чуть ли не лучшей в Петербурге). Жить же будем в новом доме на Воскресенской набережной, № 30, где Мама взяла большую квартиру за 3000 рублей в год (с отоплением).

В начале июня мы все (кроме Бори, кончившего тем временем Лицей и поступившего на службу в Министерство иностранных дел) отправились в Беляницы, и начиная с этого года — 1896-го — все мои «лета» неразрывно и всецело связаны с последними. В представлении нас, детей, ничто и нигде не могло быть выше Беляниц, и мы готовы были жертвовать чем угодно, лишь бы провести там лишнюю неделю. Конечно, впоследствии пришлось убедиться, что многие усадьбы обширнее и богаче нашей, другие живописнее по окружа-

ющей природе, но чувство нежной привязанности навсегда осталось у всех нас к одним лишь «нашим» Беляницам. (Само собой разумеется, что приблизительно такое же чувство к «своей» усадьбе мы видели у всех своих сверстников в любой из родственных или знакомых семей.)

Из Петербурга ехать в Беляницы надо было «рыбинским» поездом, который в 8.20 вечера отходил с дальней платформы главного — Николаевского — вокзала и среди ночи, после большой станции Бологое, сворачивал с Николаевской железной дороги на боковую линию, шедшую к Волге. Проснувшись спозаранку, я любил стоять у окна и, смотря на проносящиеся мимо леса и поля с размытыми, сверкающими лужами дорогами (стояла ведь всегда весна), с волнением ждать приближения к Бежецку. Вот проехали полустанок Константиново (Рыбинская дорога была одноколейною, и станции перемежались с полустанками — для скрещения поездов), вот железнодорожный мост через Мологу, и вот поезд замедляет ход, и мы подъезжаем к знакомому деревянному зданию бежецкого вокзала, где знакомы оба буфетчика (рыжий и черный) и где так вкусны сдобные лепешки к кофею. В первые наши приезды здесь, в Бежецке, ждали нас обычно и беляницкие лошади, так как с детьми и бесчисленными вещами бывало сложно выгружаться на более близком от Беляниц полустанке. К тому же обычно приходилось захватить провизии и сделать разные нужные для начинающегося лета закупки.

Бежецк был среднего размера уездным городом: в годы моего детства в нем было около 7000 человек жителей, но только в центре были каменные дома; дальние же улицы напоминали просто деревню. Значительно скрашивали город его 14 церквей, особенно группа их, высившаяся у крутого берега над впадающей у Бежецка в Мологу небольшой реки Остречины. Мощеных улиц в городе было всего две, но летом мы по возможности их избегали и старались ехать окраинными улицами, где наши окованные железом колеса не производили оглушительного стука по булыжной мостовой.

В хорошую летнюю погоду от города до Беляниц считалось 18 верст (верста немного больше километра — 1066 метров). Зимой, когда замерзали мелкие речки и можно было по снегу ехать везде прямиком, расстояние это сокращалось до

16 верст; напротив, поздней осенью и весной приходилось делать объезды и тогда до Бежецка считалось не менее 20 верст.

Уже в трех верстах от города мы, детьми, с волнением показывали друг другу начинающее виднеться вдали темное пятно беляницкой усадьбы с возвышающимися над нею посеребренными куполами беляницкой церкви.

Ездили мы обычно не быстро — верст 10 в час; только посреди лета, когда лужи высыхали и дороги делались хорошо накатанными, можно было, не утомляя лошадей, делать по 12 и более верст в час. На полпути от Бежецка переезжали мост через Остречину у погоста Василия Великого, где высилась одна из старейших в уезде деревянных церквей шатром (и подумать, что я никогда не был внутри нее!), затем, после пяти верст ужасной дороги «пустошами», деревня Озерки, на берегу небольшого озера с ключевою водой, снова пустоши и дорога вся в колдобинах, и вот еловый лесок «Новинки», от которого начинаются наши поля, и с легким подъемом сразу улучшившаяся дорога — ведет нас прямо к усадьбе.

Беляницкая усадьба была довольно широко раскинувшаяся: общая площадь ее захватывала около 35 десятин (десятина немного больше гектара), включая, понятно, лужайки и огороды. Въезжали в нее с западной стороны, где был большой, довольно запущенный скотный двор и «рабочая» конюшня, а также двухэтажный флигель, где жили скотницы и некоторые служащие усадьбы. Тут же была «застольная», где не только столовались, но и ночевали нанимаемые на летние месяцы постоянные рабочие.

Затем проезжали мимо «больницы» с вывеской: «Беляницкий Екатерининский приют для больных и убогих» и попадали собственно в усадьбу, где лошади пускались полным ходом, и быстро промелькнув мимо здания конторы, мы подъезжали к парадному подъезду нашего дома, встречаемые Евгением и другими.

Дом наш не был старинным. Его начал строить вскоре после женитьбы мой дед Никита Алексеевич и кончил его, кажется, в 1850 году. Но умер мой дед еще в старом доме, превращенном потом в контору, так что обновила новый дом только моя бабушка Екатерина Степановна. Подобно многим помещичьим домам, беляницкий имел с парадной стороны

всего один этаж, но из высоких зато комнат; со стороны же сада было два этажа, причем верхние комнаты были высотой, пожалуй, немногим лишь выше парижских. Над высокими же комнатами первого этажа тянулся громадный чердак, куда относились вещи, отслужившие свой век. Здесь были игрушки моего отца (включая игрушечную лошадь ростом с небольшую настоящую), были старые музыкальные инструменты, старые лампы и т.п., включая ларь с книгами XVIII века из библиотеки владевшего Беляницами перед моим дедом брата моего прадеда Василия Евграфовича Татищева. В чердаке же можно было видеть, из каких невероятно толстых бревен был сложен наш дом; извне он был покрыт тесом и окрашен затем в темно-серую краску, на фоне которой красиво выделялись два больших каменных подъезда и терраса с белыми (фальшивыми, впрочем, то есть половинчатыми только в глубину) колоннами.

«Парадными» считались комнаты по фасаду: большая, в четыре окна, зала, немногим меньшая гостиная и следовавшие за ними кабинет и спальня Мама (по два окна в каждой). Но, в сущности, любили мы больше комнаты, выходившие окнами в сад. Здесь были с одной стороны столовая и кабинет моего отца с прилегавшей к последнему небольшой спальней-уборной; с другой же стороны была моя детская комната и в выстроенном позднее, боковом крыле — комнаты сестер. Сбоку — вроде боковой одноэтажной пристройки — были комнаты горничных и буфет. Верхний этаж был, как я уже говорил, наполовину занят чердаком. Со стороны же сада были жилые комнаты, из которых две, судя по названиям, во время оно исключительно предназначались для гостей: «офицерская» и «семейная». В «семейной» жили потом мои братья, а после Бориной свадьбы, вернее, после появления на свет его детей в нее переехал я. В «офицерской» же в мое время жили обычно гувернеры. Была еще продолговатая «театральная», смысла названия которой я никогда точно не понял.

В передних комнатах, а также в столовой и в кабинете Папа пол был паркетный; в остальных крашеный, кроме пристройки, где почему-то так до конца пола и не выкрасили.

По субботам в дом являлись «скотницы» и начиналось мытье полов (должен сказать, что вонь в эти часы была в доме порядочная); паркеты же натирались *каждый день* Ев-

гением, который с гордостью говорил, что, кроме «чистого воска», наши паркеты ничего не видели. Вообще же, по теперешним понятиям, дом был, думаю, немного пыльным. Прислуги было, в сущности, не так много. Несмотря на большое число комнат и почти постоянное наличие гостей, мы обходились почти тем же составом служащих, что зимой. Прибавлялся Евгений, бывший камердинером при Екатерине Степановне и помнивший немного, в качестве комнатного казачка, еще дни Никиты Алексеевича, моего деда, умершего в январе 1852 года. Женат был Евгений на горничной Мама — Марфе, но годы, когда я их помню, Марфа жила уже давно на покое, да и Евгений служил только летом в Беляницах. За жизнь с моими родителями он много поездил, бывал за границей, и я всегда с интересом слушал его рассказы про старину. Фамилия его была Татаринов, так как дед его был, как значилось в ревизских сказках 1795 года, «башкирской нации» и выведен вместе с другими дворовыми из уфимского имения Татищевых «Тетюшинская Слобода» при Аграфене Федотовне Татищевой (вдове умершего в 1781 году Евграфа Васильевича). Отец Евгения был камердинером Василия Евграфовича, дядья его занимали видные должности в усадьбе и имении (бурмистра и т.п.), сам он родился в 1838 году и с малых лет был при доме. В год освобождения крестьян ему было, значит, 22 года; попав в камердинеры, он при нашей семье и остался, другие же Татариновы как-то разбрелись, и в наше время их в Беляницах не оставалось. Несмотря на свои старые года, Евгений работал не уступая молодым, и, просыпаясь утром, я всегда слышал, как он старательно натирал пол в столовой, а ведь эта работа далеко не из легких. Когда часы били восемь, он подходил к стене у места против моей кровати и начинал выстукивать пальцами по стене: это значило: пора вставать. Был за ним грех: подчас запивал, и тогда пил неделю-другую. В этих случаях его кажется выселяли из флигеля «на село». Так, по крайней мере, рассказывали при мне в буфете. Где он на селе жил, я так никогда и не понял.

Другим служащим, связавшим с нами свою судьбу, был Василий. Родом он был из карелов, из села Юркина, в 12 верстах от Беляниц. Появились карелы в Бежецком уезде еще в XVI веке при Федоре Иоанновиче и, как ни странно, сохранили свой язык почти до последнего времени, когда он начал

исчезать под влиянием открываемых везде русских школ. Помню, нам рассказывала соседка (внучка бывшего беляницкого управляющего), школьная учительница, что, когда она первое время преподавала в сельской школе в одной из глухих волостей нашего уезда, половина мальчиков не понимала вовсе по-русски. Василий школу кончил и финский язык позабыл, хотя отдельные слова с детства запомнил. Между прочим, оригинально, что в местности, где Василий родился, всего было три карельских деревни, то есть в общем не больше 150 дворов среди сплошь русских деревень, и тем не менее их жители ухитрились сохранить свой язык в течение более трех столетий.

Василий к нам попал мальчиком на кухню лет десяти. Было это, кажется, в год моего рождения. Постепенно повысился до «буфетного» мальчика, а в Полтаве был уже вторым лакеем и подавал соус в ливрее с гербовыми пуговицами. Затем переехал с нами в Петербург и стал здесь старшим, ведавшим расходы «по буфету». Честности был абсолютной и предан нам до бесконечности. Особенно привязался он к Боре, с которым были у него почти дружеские отношения. К сожалению, в 1902 году женился он на дочери кухарки гимназии кн. Оболенской. Прельстило его, как он говорил, что девушка была скромная, «не вертлявка, не балованная». Увы, она оказалась не умной и не толковой, и когда несколькими месяцами спустя стал женихом и Боря, Василию пришлось с ним расстаться, так как его Наташа явно не годилась в горничные Варусе, а с женатой прислугой ездить по Европе было немыслимо. Василий был неутешен, хотя и понимал, что его жена не виновата, и даже по-своему ее жалел. «Что же, ведь она понимает, что составила несчастье моей жизни». В 1906 году мы купили в Петербурге дом и Василий стал в нем старшим дворником: положение довольно ответственное. Впоследствии, когда дом опять продали, Василия сделали в Беляницах конторщиком, и он там жил с семьей до большевистского переворота. Умер он в Бежецке и довольно скоро: у него был, кажется, рак внутренних органов.

Думаю, впрочем, Василий в Беляницы приезжал только на месяцы Бориного отпуска (в Министерстве иностранных дел чиновники центрального ведомства имели двухмесячные отпуска), остальную же часть лета проводил с Борей в Петер-

бурге. Заменял его тогда второй «выездной» лакей, Семен, в годы же, когда у нас жили Огаревы, привозимый ими с собой их Василий (когда оба Василия совпадали, огаревского, чтобы не смешивать, полушутя называли иногда Николай).

Работы им всем бывало немало. Кроме нас и Огаревых (тетя Маша, Маня и Боря; Сережа, погибший потом в Цусиме, проводил лето в плавании, дядя же Петруша приезжал только на месяц, реже на больший срок), ведь надо было обслуживать гувернанток, а в 1896 году и гувернеров, француза и немца, готовившего меня в Анненшуле.

День начинался довольно поздно. Исключение составляла Катя, которая почему-то вставала в 6 часов и к моменту нашего просыпанья сидела уже давно в аллее около дома, занимаясь варкой варенья. Я вставал около девяти, братья даже позже. Мама приносила чай в кровать около десяти; выходила она от себя редко ранее 11—11½.

В час подавали обед, в 4½ дневной чай с вкусными вещами, приготовленными Минной или Катей; после чая ездили верхом (если не было дождя) и возвращались ужинать к восьми. Когда мы подросли, бывал еще чай вечерний — около 9½ час. в кабинете. При таких условиях прислуга была занята почти круглый день; правда, короткий отдых у них был между обедом и дневным чаем. Да вечером они иногда уходили на «село» поболтать с молодежью; присоединялись к ним и горничные (кроме, конечно, немок).

Хозяйством ведали в Беляницах управляющие, но доходов мы почти никогда из этого имения не имели. О причинах этого часто спорили, но факт оставался фактом. В 1903 году, по рекомендации Санди Ребиндера, взяли одного из его приказчиков, который завел в конторе счетоводство по двойной бухгалтерии и в конце первого года объяснил, что имение дало 5000 дохода, но содержание усадьбы (кучера, садовники, сторожа, отопление и пр.) обошлось в 7000, вследствие чего есть дефицит в 2000, который «владелец» и должен «по справедливости» покрыть. В дальнейшем, при Нике, многие отрасли были сокращены и начата более планомерная эксплуатация лесов, после чего некоторый доход стал, видимо, получаться.

Надо иметь в виду, что при довольно большой общей площади имения (3500 десятин) полевое хозяйство было мало развито. Поля, примыкавшие к беляницкой усадьбе, не превы-

шали 160 десятин. Затем велось хозяйство при селе Ивашкове (в 10 верстах проезжей дороги или в 7 верстах, если ехать верхом или телегой пустошами) — 100 десятин, да при двух сельцах в общем еще 150 десятин. Хозяйство было десятипольное, но при двух парах, то есть одна пятая всей земли отдыхала. Странно сказать, наиболее в денежном отношении выгодным была эксплуатация земли отдачей ее крестьянам в годичную аренду под *лен*. Эта культура сильно истощает почву и на своих полях крестьяне ее избегали, мы же сдавали под лен одно поле из десяти (из-под клевера) и получали за это по 50—55 рублей за десятину. Второй крупной денежной статьей дохода была выручка за молоко, которое везлось на сыроварню, устроенную в центре имения, но эксплуатируемую не нами непосредственно, а сдаваемую в аренду крупной молочной фирме Бландовых, принимавшей за то молоко круглый год по установленной контрактом цене: около 40 копеек за ведро. Цена эта была, конечно очень низка, но, при нашем бездорожье и сравнительной дальности от столиц, продавать молоко в натуре мы все равно бы не могли, а сбивать масло или делать сыр самим было бы, пожалуй, немногим выгоднее. Опыт был, кажется, сделан при моем отце и оказался неудачным.

В собственно полевом хозяйстве Беляниц тоже еще сохранялось много черт совершенно архаических. Например, постоянных рабочих было всего десятка два-три; на них лежала вспашка и бороньба озимого и ярового клина и косьба небольшой части клеверных полей. Остальные работы: вывозка навоза из скотного двора и конюшен, косьба остальных клеверов и большая часть жатвы делалась крестьянами окрестных деревень не за деньги, а в виде отработки за право выпаса их скота (или прогона его) в принадлежавших нам лесах и пустошах. (Пустошами назывались у нас сырые, подчас заболоченные слегка луга, заросшие большею частью мелким кустарником — ольхой.) По условию наша контора могла накануне намеченного ею дня послать старосте данной деревни повестку, и на следующее утро вся деревня являлась к нам для выполнения обусловленной работы. В страдную пору бывали дни, когда вызов посылался сразу 6—8—10 деревням, и тогда все поля вокруг усадьбы пестрели красными пятнами работающих мужиков и баб.

Я всегда стремился «интересоваться» хозяйством и обычно утром после чая заходил в контору узнать, где идут работы, после чего отправлялся в поле и старался «проверять», хорошо ли делается работа, нет ли «огрехов» и т.д., не забывая, как мне было сказано, всегда приветствовать работающих крестьян словами: «Бог в помощь». Но склонности к хозяйству у меня не было и, в сущности, я бы с большой охотой провел бы те же часы за книгой в папином кабинете в своей комнате или же бродя по саду и в ягодах. Убедился я в этом окончательно несколько позднее, когда заметил, что *мои* заключения о том, какое поле дошло до зрелости, редко совпадали с решениями наших управляющих, так что хозяйственного чутья у меня видимо не было. Между тем беда беляницкого хозяйства именно была в том, что никто из нас, братьев, не мог им заняться и оно зависело от довольно быстро сменявшихся управляющих. Для успеха же хозяйства необходима *постоянная о нем мысль* его настоящего хозяина.

Но зато мы горячо любили и от всей души наслаждались нашим садом с его широкими и тенистыми липовыми аллеями, полными благоухания в недели, когда цвели липы. Я же лично любил, пожалуй, столько же, и дальнюю часть сада, которая звалась у нас «чернолесьем», хотя фактически среди деревьев преобладали «красные» породы, то есть ель. Это был, в сущности, настоящий лес, местами с лужайками и извилистыми тропинками, местами густо заросший молодой зарослью ельника, так что можно было пройти в 10 шагах мимо человека, его не заметив. Я изучил в нем почти все деревья и мог безошибочно, с почти закрытыми глазами (я это иногда проделывал) выйти к определенному дереву или лужайке.

Из прогулок немного более дальних, но особенно меня увлекавших, была прогулка к «Ошейкинскому ручейку», протекавшему в версте от нашей усадьбы за леском «Псарская роща», где при деде Никите Алексеевиче была большая псарня, земля из-под которой отошла при освобождении к беляницким крестьянам. Ручеек этот, вернее, речку (на карте она называлась «Почеповкой» — от деревни Почеп) я изучил на всем ее протяжении, но наиболее интересной была часть около Беляниц, где она пересекала возвышенный увал, на котором стояли Беляницы, и шла узким каньоном среди обрывистых берегов. Дно ее на этом участке было каменистым, и когда я

бывал там с Соней, мы иногда разувались и испытывали взаимную выносливость в хождении по камням. Позднее я заинтересовался собиранием коллекции камней, так как на обрывах было много-много камней: гранита, кварца, гнейса и др., в особенности же окаменелостей ракушек мелового периода и отпечатков листьев, которых в моей коллекции было несколько положительно интересных экземпляров. Помню один окаменелый древесный нарост, который я, несмотря на его немалый вес, в несколько приемов дотащил до усадьбы. Помню еще, при впадении в ручей бокового оврага, большую ольху среди густой заросли, у которой все ветви были обвязаны тряпочками. Точного значения этого дерева я так и не выяснил: кучера говорили, что это сельские девки весной гадают; почему-то я никогда не спросил об этом самих девок. Должно быть оттого, что был всегда застенчивым.

Более дальние прогулки делались, конечно, верхом. Начал учиться верховой езде я еще в 1894 году, когда мы приезжали в Беляницы из Полтавы, но тогда моя лошадь держалась «на буксире», и только с 1896 года меня пустили самостоятельно. Впрочем, с нами тогда ездил наш конюх Терентий, старик, начавший свою службу в кавалерии еще при Николае I и сохранивший до конца свою старинную кавалерийскую посадку. Надо сказать, что ездить без конюха можно было, только если уметь легко соскакивать с лошади и вновь на нее садиться, так как в полях приходилось по многу раз слезать и отворять ворота в заборах, которыми в нашей местности огораживались не только усадебные пространства каждой деревни, но часто и границы отдельных полей. Оттого по дороге, например к Бежецку, было около 20 ворот; к полустанку — (13 верст) — около 12. В лесах же, где я любил ездить лесными дорожками и тропинками, приходилось разбирать заборы и вновь закрывать их за собою; иначе пришлось бы ездить только большими дорогами, а я именно любил пробираться среди леса, выбирая наиболее живописные лужайки.

В отличие от степной полосы, где преобладали большие села, далеко отстоящие друг от друга, в нашей местности большинство деревень насчитывало всего 30 — 40 дворов, причем маленькие деревни группировались около своего села, куда и ходили в церковь. Так, вокруг Беляниц, насчитывавших в мое время менее 60 дворов, группировались на расстоянии

1½ — 2 верст *семь* деревень и еще *семь* деревень отстояли от них на расстоянии 3 — 5 верст, но входили в наш же приход. В окрестности было несколько сравнительно возвышенных пунктов, откуда можно было видеть до 20 — 30 отдельных деревень, что придавало окрестности довольно живописный вид. Вообще, наша часть Бежецкого уезда была сравнительно малолесной, и наши леса представляли в известной степени исключение. В хозяйственном отношении они представляли то неудобство, что по очертанию образовывали *подкову* шириной в 2 — 3 версты, опоясанную изнутри и снаружи деревнями. Не удивительно, что для охраны их нам пришлось держать около 10 сторожек, при общей площади собственно леса всего в тысячу с небольшим десятин.



НАЧАЛО СЛУЖБЫ

(1906–1910)

ОКОНЧАНИЕ ЛИЦЕЯ. АКТ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРЮ. ПОСТУПЛЕНИЕ НА СЛУЖБУ В ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА С ГЛИНКОЙ В СИБИРЬ, ВОЗВРАЩЕНИЕ В БЕЛЯНИЦЫ

19 мая (1906) состоялся последний в Лицее экзамен — церковное право. Предмет был легкий, и сдали его все более чем прилично, хотя большинство начало готовиться чуть ли не накануне. Помню до сих пор то особое чувство, которое охватило, когда по окончании экзамена и объявлении отметок, в последний раз в жизни услышал «молитву после учения»: «Благодарим Тебя, Создателю, яко сподобил еси нас благодати Твоея во еже внимати учению». Учение кончилось — начиналась служба.

По установившемуся порядку — одна из привилегий Лицея — все окончившие его воспитанники автоматически зачислялись на государственную службу, о чем издавался особый высочайший приказ. Кончившие по первому разряду производились в титулярные советники (чин IX класса), учившиеся хуже получали X или даже XII класс.

Выпускной акт бывал поэтому лишь дней через десять после окончания экзаменов. Обычно кончивший класс являлся на него уже во фраках, и вручение дипломов происходило в торжественной обстановке в присутствии всего Лицея и родителей, с хором музыки. Почему-то, однако, наш 62-й курс заупрямился и стал настаивать на том, чтобы на акте быть в мундирах, так как многие ввиду предстоящего отбывания воинской повинности не обзавелись еще фраками. Откровенно говоря, то же явление несомненно имело место и во все предыдущие годы, что не мешало нашим предшественникам добывать себе фраки ко дню акта, и не нам, всю нашу лицейскую жизнь твердившим о верности традициям, казалось, вво-

дить новшества. Но... мы, видимо, недаром дышали воздухом дней «первой революции». Дух протеста невольно прорывался во всем. Начальство не стало спорить, но заявило, что в таком случае и акт будет носить «домашний» характер в присутствии всего I и II классов без музыки и без посторонних. Родителям, впрочем, разрешено было приехать, но воспользовались этим, кажется, только Мама и мать Соллогуба.

Акт произвел, несмотря на это, довольно сильное впечатление. При чтении высочайшего приказа о производстве воспитанники подходили, по мере оглашения их фамилий, к попечителю и получали дипломы, в которых выспренним стилем начала XIX века излагалось, что «в виду ныне благополучно окончившегося воспитания Вашего... начальство Лицея пребывает в уверенности, что высокая любовь к Отечеству и чистая нравственность, непрестанно отличавшие Вас в Лицее, будут и впредь...».

После вручения дипломов началось вручение медалей: мне была присуждена большая золотая медаль, и Мама говорила, что ей была двойная радость: мраморная доска с именами получивших золотые медали нашего курса оказалась случайно под доской, начатой в 1896 году и открывающейся именем Бори, получившего тогда тоже большую золотую медаль.

Кроме большой золотой, мне была еще присуждена медаль за сочинение на экономическую тему: «Переселение крестьян» (годом перед тем я получил, и, откровенно говоря, с большим основанием, медаль за сочинение на историческую тему «Наказы дворян в Екатерининскую комиссию 1767/68 гг.»).

Из актового зала все поднялись в церковь, и здесь мы были приведены к присяге, повторяя за священником ее старинные слова.

Заключительным эпизодом лицейской нашей жизни был, впрочем, не этот акт, а последовавшее несколькими днями спустя представление Государю в Петергофском дворце, вместе с одновременно окончившими курс правоведами. Представление это было новшеством: целью его было отличить питомцев двух единственных в России высших учебных заведений, прошедших через смутное время революции без перерыва в занятиях. В Петергоф нас доставили на специальном пароходе; все были во фраках при шапокляках (на этот

раз об одежде никто, конечно, не спорил). Погода была, к сожалению, серенькая.

Во дворце нас выстроили длинным рядом по обе стороны небольшого зала. Государь вышел с дежурством и обратился к нам с коротким словом, в котором просто и сердечно благодарил за «этот год, который вы провели так примерно, так отлично» и желал успеха в предстоящей нам государственной службе. После этого Государь начал обход всех, ставя каждому два-три вопроса: кто родители и в какое ведомство выходит на службу.

Должен к грусти сказать, что это представление не оставило по себе того впечатления, которого ожидали, едучи в Петергоф. Покойный государь не был оратором и не имел дара зажигать сердца пламенной речью. В то же время, думаю, было ошибкой рассеивать еще больше впечатление, которое могло создаться в душе каждого от вступительного царского слова последующим обходом 60 человек, представлявших собою аморфную толпу, которым, кроме стереотипных вопросов, других и ставить было нельзя. Отчасти вина лежала и в нас. В необычной обстановке и непривычной одежде мы чувствовали себя связанными и отвечали часто неудачно. Так, по крайней мере, случилось со мной.

В отношении лицеистов, одна из привилегий Лицея, выбор места службы предоставлялся самим воспитанникам. Обычно при этом руководились или семейными традициями, или наличием связей и знакомых в том или ином учреждении; сравнительно реже личными наклонностями. Впрочем, мое время представляло в этом отношении некоторые особенности: мы кончали Лицей в момент полной перестройки всего государственного механизма; в середине выпускных экзаменов состоялось открытие первой Государственной думы; в связи с этим все мы были полны интереса к вопросам внутренней политики.

Лично мой выбор был сделан давно. Выбирая в середине II класса Лицея для сочинения экономическую тему, я выбрал по совету покойного Чебыкина «Переселение крестьян» и в процессе писания этого сочинения, естественно, подошел к этому вопросу довольно близко; вместе с тем надо помнить, что крестьянский и аграрный вопросы вообще стояли в эту эпоху (период первой революции) в центре общего внима-

ния. Поэтому неудивительно, что когда 1905 года появился указ о преобразовании бывшего Министерства земледелия и государственных имуществ в новое ведомство: Главное управление землеустройства и земледелия, — я решил по окончании Лицея поступить в это новое ведомство, которому было, между прочим, передано и входившее раньше в Министерство внутренних дел — Переселенческое управление.

Начальником управления был долгое время Александр Васильевич Кривошеин. Ему обо мне сказала хорошо знавшая его Александра Сергеевна Дубасова, и он велел мне прийти к нему, когда буду кончать Лицей. К тому времени, впрочем, он был уже назначен товарищем главноуправляющего (товарищем министра) и поданное мною ему прошение направил к своему преемнику по Переселенческому управлению Григорию Вячеславовичу Глинке, к которому и велел мне явиться.

Переселенческое управление помещалось тогда на Морской, 36, в небольшой квартире частного дома, так как отведенные ему впоследствии комнаты в нижнем этаже здания Министерства земледелия на Мариинской площади против памятника Николаю I были в то время еще заняты Горным департаментом.

Встретили меня очень ласково. Оказалось, что в первых числах июня Глинка должен ехать в большую служебную поездку в Сибирь. В такие поездки начальники учреждений обычно брали с собой кого-либо из младших служащих; но Переселенческое управление было в то время учреждением крайне малочисленным; работы было масса: весь состав управления был ею завален. При этих условиях Глинке пришла в голову счастливая для меня мысль взять с собой в путешествие — меня. Действительно, в Петербурге от меня, совсем еще неопытного в делопроизводстве, все равно особой пользы не было; в путешествии же я и Глинке мог пригодиться, и сам бы на месте ознакомился с теми разнообразными вопросами, над которыми пришлось бы потом работать в министерстве*. Вопрос был тут же решен, и Кривошеину послан на

* В настоящих записках я везде для краткости говорю: «министерство» и «министр», вместо «Главное управление» и «Главноуправляющий». По существу, эти термины однозначащи. — *Здесь и далее под звездочками примеч. А.А. Татищева.*

утверждение доклад о командировке моей «для сопровождения д.с.[1] Глинки в Сибирь и Степные области». Дня через три я зашел в Управление вторично и получил командировочное удостоверение и довольно крупные прогонные.

Перед поездкой Глинка собирался заехать в свое смоленское имение, и было решено, что я выеду из Петербурга 6 июня и 7-го встречусь с ним в Москве, откуда уже поедем вместе Сибирским экспрессом.

Глинку я застал в довольно мрачном настроении. Тревожили сведения, полученные с мест от переселенческих чиновников, особенно телеграмма из Омска, говорившая о наплыве тысяч переселенцев, требующих отвода земли и чуть ли не грозящих разносом переселенческих пунктов. Сведения эти оказались на деле сильно преувеличенными, но все же не подлежало сомнению, что наплыв переселенцев значительно превысил ожидания и что средств, ассигнованных Переселенческому управлению по бюджету 1906 года, заведомо не хватит.

Сибирский поезд шел в то время через Тулу, где он сворачивал на восток по Сызрано-Вяземской железной дороге. Средняя его скорость была сравнительно невелика: считая остановки, что-то около 35 верст в час. Так что почти сутки ехали до Пензы, первой станции, где был «переселенческий пункт», то есть помещение, где переселяющиеся могли получить горячую пищу, а при нужде и медицинскую помощь. Наш экспресс стоял на станции довольно долго, думаю минут 20, так что мы с Глинкой успели забежать на пункт и познакомиться с заведующей, типичной представительницей старого переселенческого чиновничества, идеалиста-народника, работающего не считая часов за скудное вознаграждение и не мечтающего ни о какой карьере.

Рано поутру проехали Сызрань и тотчас после знаменитый мост через Волгу у ст. Батраки, на которой, помню, продавались по полтиннику за штуку чудные свежепрокопченные стерляди.

В тот же день въехали в отроги Урала, по красоте местности не уступающие, пожалуй, Швейцарии, но гораздо более пустынные, а к ночи, перевалив через хребет, приехали в переселенческие «ворота» Сибири ст. Челябинск — с ее громадным переселенческим пунктом.

---

[1] Действительный статский советник.

Здесь начиналась Сибирская железная дорога — первое звено Великого Сибирского пути, начатого в 1892 году и законченного уже во время Русско-японской войны. Здесь же производилась основная регистрация переселенческого движения. Все переселенцы проходили через этот пункт, а в то время обычно проводили на пункте и довольно много времени — не менее полусуток, — для чего на пункте был построен десяток, если не больше, длинных бараков. Обширные больница и амбулатория принимали заболевших в пути, а в столовой отпускалась горячая пища (насколько помню, женщинам и детям даром, а остальным за что-то вроде двух копеек за порцию). Здесь же регистрировались все документы и делали подробный опрос всех едущих о их семейном составе и имущественном положении на родине (по словам статистиков, ответы на последний вопрос давались заведомо преуменьшенными из опасения, чтобы данные сведения не отразились потом неблагоприятно на размере выдаваемых переселенцам ссуд).

Должен сказать, что первое впечатление от переселенческой массы на пункте было довольно тягостное. В большинстве бараков нар не было, и переселенцы располагались прямо на полу, окруженные своею рухлядью и тряпьем. Довольно много было «самовольных», то есть ехавших с семьями без предварительного зачисления земли, то есть в сущности «наугад» и не имевших, строго говоря, права на переселенческий тариф (¼ билета III класса). Но и у остальных виднелась во всем крайняя бедность, если не нищета. (Надо иметь в виду, что в то время еще не вошли в силу столыпинские указы, давшие крестьянам право закреплять за собою, а в случае отъезда, значит, и продавать причитающиеся им участки общинной земли, так что в 1906 году переселяющиеся могли выручить лишь гроши за оставленное ими на родине хозяйство.)

На следующий день мы тронулись дальше и, насколько помню, в данном нам маленьком вагоне, но товарно-пассажирским поездом, в котором были вагоны с переселенцами, с ними Глинка и провел все время в дороге до Петропавловска, переходя на станциях из вагона в вагон. Ехали мы таким образом весь день: скорость этих поездов, учитывая время проведенное на остановках, определялось расписанием в 9½ версты в час.

В Петропавловске нас прицепили к обычному пассажирскому поезду, и утром на следующий день мы приехали в Омск, центр Степного края (резиденция генерал-губернатора и губернатора Акмолинской области), где нас встретили заведующий Акмолинским переселенческим районом С.В. Резниченко и другие чиновники ведомства.

Первый день ушел на официальные визиты и на обсуждение дел с заведующими. (Кроме акмолинского, в Омск приехали для доклада Глинке заведующие районами Семипалатинским и Тобольским, а также заведующие переселенческими складами лесными и сельскохозяйственных орудий.)

Тут только я понял, насколько малы были приобретенные в Лицее познания в области переселенческого дела и насколько широка и разнообразна была деятельность Переселенческого управления. Я старался аккуратно все докладываемое при мне Глинке записать в свою записную книжку и, кажется, вызвал этим большое любопытство в среде переселенческих чиновников. Но мне лично эта поездка принесла громадную пользу: она сразу ввела меня в курс *всех* вопросов, входивших в круг моего учреждения, и показала их в освещении *местных* работников, непосредственно соприкасавшихся с жизнью.

На следующее утро, когда мы были на переселенческом пункте, Глинку обступила толпа переселенцев, жалующихся, что им отказывают в земле, тогда как тут же, в Омском уезде, есть чудная земля, которую-де «чиновники берегут для себя». Оказалось, что речь идет о площади в несколько тысяч десятин, которые числились «лесной дачей» и в качестве таковой не могли быть отведены под переселенческие участки. Называлась она «Большие Поляны».

«Так это же лесная дача», — пытается уговорить толпу Глинка. «Так яка ж то лисна дача; там сама степа», — возражают переселенцы из хохлов (малороссийских губерний).

Глинка по природе как-то всегда более доверял мужику, чем чиновнику и решил проверить дело на месте, тем более что и из слов своих подчиненных понял, что местный лесничий, несомненно, преувеличивал значение этого земельного участка как лесной площади.

Решили ехать смотреть лесную дачу на месте, а наиболее за нее распинавшемуся хохлу Глинка сказал, что возьмет его с собой на облучке тарантаса.

Выехали на следующее утро. Был чудный день раннего лета. Свежий ветерок умерял жару. Дорога шла степью, и ехали быстро. Кругом ковыль — признак, что земля никогда не видела плуга. (К Омску прилегали земли сибирского казачества, слегка солонцеватые, а потому используемые больше под выпас, чем под распашку.) Хохол на облучке и Глинка в тарантасе — все восторгались земельным простором. Глинка в молодости хозяйничал в Черниговской губернии и сохранил с тех пор нежную любовь к земле. Впоследствии ему пришлось по службе много ездить по России, и, как он мне сказал раз: «Знаете, А.А., там кто где был предводителем дворянства, совсем не помню, а вот какая где *земля*, это запоминаю твердо и никогда не забываю».

К вечеру, должно быть, добрались до большого старожильческого села Павлоградки, там, помнится, заночевали и на следующее утро поехали искать лесную дачу. Надо сказать, что свое название «Большие Поляны» она действительно оправдывала. Среди необозримой степи виднелись отдельные «колки» (группы крупных берез), и лишь кое-где были маленькие острова леса. Было ясно, что сохранить в виде лесной дачи все 16 000 десятин бессмысленно и что подавляющую часть этой площади можно отдать под переселение, сохранив под лесом лишь некоторые участки этой дачи. По глинкинскому лицу наш хохол (звали его Степан Дробот, и был он Лубенского уезда — мой земляк по Снетину) понял, что его дело выгорело, и прямо просиял. По возвращении в Омск Глинка послал телеграмму в Лесной департамент, и тот немедленно дал распоряжение передать «Большие Поляны» в ведение Переселенческого управления. Четыре года спустя, когда Столыпин и Кривошеин ездили в Сибирь, Глинка повез их на Павлоградку, и Дробот, тогда уже староста возникшего поселка, приветствовал Глинку как старого друга.

Из Омска двинулись мы дальше в нашем маленьком вагончике, который прицепили к пассажирскому поезду. За Омском мы въезжали в район Барабы (Барабинской степи), которая в полосе железной дороги представляла в начале

лета почти сплошное, на десятки верст растянувшееся болото с чахлой растительностью. Здесь шла уже собственно Сибирь: Каинский уезд Томской губернии. За Каинском дорога въезжала уже в лесную часть Сибири: степь оставалась южнее — там были земли, принадлежавшие «Кабинету Его Величества», которые только осенью 1906 года было повелено использовать под переселение. Ночью переехали мы через Обь у станции Новониколаевск, в то время незначительного ж.-д. поселка, а десять лет спустя ставшего крупным городом — центром вновь образованной Алтайской губернии, и направились в Томск, где нас встретил заведующий Томским районом В.П. Михайлов. Сам город большого впечатления на меня не произвел; помню только на площади дом железнодорожного клуба, в котором в октябре задохнулось много людей, бывших на митинге. Тогда уверяли, что губернатор (Азанчевский) будто бы запретил пожарным тушить пожар, но, думаю, что это была одна из легенд первой нашей революции.

Из Томска нас возили смотреть строящуюся дорогу от станции Тайга, а оттуда проехали еще в Ачинск (Енисейской губернии), где смотрели переселенческий пункт и дорогу, строящуюся к группе новоотведенных участков у реки Чулым, но дальше почему-то не поехали (первоначально предполагалось доехать до Красноярска), а повернули назад, расставшись с нашим вагоном и сев в сибирский поезд. Вместе с Глинкой доехали мы до Москвы, где расстались: он поехал опять на несколько дней в Смоленск, мне же разрешил взять отпуск и ехать в Беляницы, где в то время жила с детьми Варуся.

НАЧАЛО СЛУЖБЫ. ЗИМА 1906/7 г. И БОЛЕЗНЬ МАМА. ПУТЕШЕСТВИЕ В АФИНЫ И КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ЛЕТО В ПЕТЕРБУРГЕ. СЪЕЗД ПО ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОМУ ДЕЛУ В ХАРЬКОВЕ

Дни были, между прочим, тревожные. Распря между правительством Горемыкина и Думой обострялась с каждым днем. Речи членов Государственной думы становились все резче, и вырабатываемые Думой по собственному почину законопроекты выливались в форму заведомо для правительства неприемлемую. Между тем эти речи и содержание законопроек-

тов становились известны в стране, и правительство сочло нужным высказать и свою точку зрения по наиболее острому вопросу дня — аграрному, опубликовать особенное «правительственное сообщение», подчеркивавшее, что оно никогда не допустит проведения в жизнь принудительного отчуждения частновладельческих земель. Дума, задетая за живое и стоящая на том, что она воплощает волю народа и что «власть исполнительная должна покоряться власти законодательной», решила ответить на сообщение правительства *своим* «Сообщением по земельному вопросу» и приняла текст чрезвычайно резкий. Ответом правительства был роспуск Государственной думы, смягченный, правда, отставкой наиболее одиозных левых министров: премьера Горемыкина и министра земледелия Стишинского. В связи с этим настроение создалось крайне тревожное».

Как известно, большинство Думы, лишенное возможности собраться в Петербурге, поехало в Выборг и опубликовало там воззвание, призывавшее страну не повиноваться правительству, не платить налогов и не поставлять рекрутов. Воззвание это распространения, правда, не получило, но какая-то неуверенность в завтрашнем дне некоторое время держалась. Вспоминается в связи с этим, как в один из вечеров я вышел на крыльцо и был поражен нарастающим гулом голосов за нашим садом. «Идут громить», — мелькнуло в голове, и я стал соображать, где лежат снаряженные патроны (правда, дробовые, для охоты) к ружьям на случай, если бы пришлось прибегнуть к самообороне. К счастью, дело оказалось более мирным: в ближайшей деревне загорелось, и сельские мужики, увидев занимающийся пожар, спешили туда, не ожидая набата с колокольни.

В конце июля я вернулся в Петербург и отправился, не без волнения в сердце, в министерство. Помнится, не зная, дают ли на службе письменные принадлежности, я, по дороге, купил ручку черешневого дерева, ту самую, которая проделала со мною потом всю мою жизнь в России и, по странной случайности, доехала до Парижа.

В министерстве меня отдали под начало одного из старших служащих Алексея Васильевича Успенского, который был занят составлением сметы на следующий год и посадил меня на сводку и обработку материалов, присланных с мест заведу-

ющими переселенческими районами. В данном случае я попадал в наиболее интересный период жизни Переселенческого управления, которое из второстепенного, небольшого учреждения становилось неожиданно одним из модных ведомств, привлекающих к себе всеобщий интерес и, быть может, несколько преувеличенные ожидания.

Составление сметы, то есть бюджета учреждения, вообще всегда интересно как работа, так как бюджет отражает в цифрах деятельность учреждения, а в прилагаемых к сметам «объяснительных записках» обычно дается подробный очерк того, что сделано, и обосновывается план развития дела в предстоящем году.

В отношении же Переселенческого управления я попадал в 1906 году в исключительно благоприятный момент: в общей схеме земельной реформы Столыпина (разрушение общины и создание на ее месте в русской деревне зажиточного класса мелких земельных собственников) видное место отводилось переселению на пустынные земли за Уралом того «избытка» населения, который в отдаленных местностях Европейской России создавал кризис малоземелья и не мог уже наладить на старом месте целесообразного хозяйства. Уходя же за Урал и продавая свои земли, переселяющиеся, с одной стороны, увеличивали земельную обеспеченность своих прежних односельчан, с другой стороны — поднимали общее благосостояние страны введением в хозяйственный оборот пустующих земель Сибири и Степного края.

В связи с этим Переселенческому управлению приходилось широко раздвинуть рамки своей работы. Естественно, что все заведующие на местах просили ассигновать им на 1907 год гораздо больше средств, чем раньше, и когда мы с Успенским подытожили сумму запроса с мест, то получили что-то около 20 миллионов, тогда как бюджет Переселенческого управления в 1906 году не превышал 5 миллионов. Требовалось обосновать наши подсчеты и защитить от урезок, в первую очередь со стороны представителей Министерства финансов и Государственного контроля, в так называемых «сметных совещаниях». И вот мы принялись за составление «объяснительной записки», которая составила целый том (она была напечатана) и в которой подробно объяснялись все недочеты существующей постановки дела,

и указывалось, какие средства нужны для того, чтобы поставить дело целесообразно.

В составлении этой «записки» участвовал еще ряд чиновников Переселенческого управления, и надо сказать, что все относились к этому делу прямо с горением души и работали не считая часов. (Помнится, я провел у Успенского на дому почти весь праздничный день 15 августа, когда министерство было закрыто и мы боялись задержать работу.) Большую роль играло и то обстоятельство, что смета должна была впервые рассматриваться «Парламентом» и чиновничество хотело не ударить лицом в грязь, и выступить с обоснованной программой работы.

В связи с этой работой я впервые встретился в жизни с кругом людей, до того мне вовсе незнакомых: со средой среднего чиновничества — русской интеллигенции. Довольно «левые» в то время по настроениям (и Успенский, и живший с ним на одной квартире Геннадий Федорович Чиркин — оба холостые, примыкали к образовавшейся в 1905 году Партии демократических реформ, впоследствии слившейся с кадетами), поразили меня прежде всего своей начитанностью в области вопросов социальных и знакомством с разными течениями социологии, о которых нам в Лицее почти не говорили. Между прочим они ходили по утрам (до службы, начинавшейся в Петербурге в 12 часов дня и тянувшейся до 6 часов) в университет, так как в то время начальство смотрело сквозь пальцы на посещение университета посторонними. (Помню, и я, увлеченный их примером, был несколько раз на лекциях Петражицкого по энциклопедии права и Туган-Барановского по политической экономии, но затем бросил.) К переселенческому делу оба относились с большой горячностью и, желая ознакомить с его задачами возможно более широкие круги общества, задумали в то время издание периодического сборника «Вопросы колонизации», который должен был субсидироваться Переселенческим управлением. К помещичьему классу относились по «левой» традиции довольно отрицательно, но поддавались обаянию настоящего «барства», и, помню, Успенский искренне восхищался нашим новым министром Васильчиковым, так и говоря про него: «настоящий барин». Надо отметить, что для людей этого миросозерцания Переселенческое управление создавало очень благоприятную

обстановку работы: вопросы внутренней политики отступали на второй план; на первом стояла помощь в переезде и устройстве на новом месте крестьян, не справившихся с хозяйственным кризисом на родине и способствование экономическому развитию Сибири, в которую ежегодно вливались десятки и сотни тысяч новых переселенцев. На почве этих двух задач могли, не ссорясь, сотрудничать и правые и левые, оставив в стороне свои собственные политические взгляды и убеждения.

Лично меня работа очень увлекала. По совету Успенского я составил для «Вопросов колонизации» статью, в которой излагал общие черты проекта переселенческой сметы, за что получил (единственный в жизни) гонорар, кажется 28 рублей. Между прочим, эта статья чуть не навлекла на меня впоследствии неприятности. Много позднее, в первый год III Государственной думы, при обсуждении в Общем собрании проекта переселенческой сметы на 1908 год, один из представителей оппозиции использовал данные моей статьи, в которой честно описывались недочеты прежней постановки дела, для нападок на деятельность Переселенческого управления. Не помню уже, какие объяснения по этому поводу представлял Глинка, но он рассказывал мне, что Васильчиков был довольно изведен такой откровенностью своего подчиненного (хотя, в сущности, мои замечания относились к прошлому, а не к настоящему).

В середине октября работа по смете кончилась, а меня оставили при Успенском в качестве секретаря Ревизорской части, на которой лежало вообще составление всякого рода смет и отчетов. В связи с этим Глинка назначил меня на должность помощника делопроизводителя VII класса и с окладом в 1400 рублей; как начальный оклад и должность это считалось исключительным, и Глинка несколько колебался, боясь, что это вызовет недовольство в среде прочих служащих, но Успенский и Чиркин его успокоили, сказав, что младшие служащие отдают себе отчет, что я и подготовку имею хорошую, и своей работой во время сметы приобрел себе общее признание.

Между прочим, ведь я все еще с точки зрения закона был несовершеннолетним (21 год мне минул в декабре) и помню, что в этот период, совершая какой-то акт у нотариуса, я подписывался так: «несовершеннолетний титулярный советник»,

а внизу Мама писала: «на выдачу этой доверенности несовершеннолетним сыном моим согласна».

В ноябре состоялась свадьба Ники с Дарой Д. Ставилась еще одна точка над моим, лицейской эпохи, прошлым. Конечно, это увлечение было еще полудетским и о возможности брака я ни минуты с самого начала не думал, а все же помню, что накануне 12-го я вышел вечером из дому и, несмотря на слякоть, дошел пешком до конца набережной и пешком же вернулся домой на Шпалерную чуть не за полночь.

Сама свадьба была очень блестящей. (У Дары посаженным отцом был Государь, но в церковь ее ввел адмирал.) В церкви был весь Петербург. Вечером был обед на Сергиевской, после которого молодые уехали за границу, а мы, шафера, получили золотые жетоны Н.Т. и Д.Д.

В тот же день (это было воскресенье перед Филипповым заговеньем — началом Рождественского поста) в Петербурге в кругу более или менее знакомых было еще пять свадеб. Из них помню, что была свадьба Ольги Аркадьевны Шумахер, которой я чуточку увлекся, танцуя мазурку на балу у Тимашевых в Госбанке весной предыдущего года, а затем, главное, свадьба моего товарища Сашки Соллогуба и Эдиты Мартенс. Так как наша свадьба и свадьба Соллогуба были в тот же час, я не мог попасть в Лицейскую церковь и поехал только на поздравление к Мартенсам, где была вся наша компания, все мои друзья. Помню, как ко мне оживленно подошла и очень радостно заговорила только что вернувшаяся из деревни, сильно загоревшая Катя Ш. Начиналась новая страница жизни...

На Рождестве серьезно заболела Мама. У нее сразу обнаружилось сильное воспаление легких, и положение было настолько серьезным, что вызваны были и Катя, и Соня, но Катя приехать не могла, так как она была в последних днях ожидания (Марочка родилась 7 января), и вся тягость ухаживания легла всецело на Сонечку, которая, помнится, дежурила при Мама бессменно и чуть ли не шесть недель спала не раздеваясь, а прикорнув на диване. Раза три положение казалось почти безнадежным (между прочим в ночь на Новый год), и ночью спешно вызывали докторов.

Впоследствии Мама вспоминала, что в одну из этих ночей она почувствовала себя как-то почти ушедшей отсюда, и не раз говаривала, что жалеет, что тогда не умерла, так как все

в семье казалось так счастливо сложившимся: все дети, кроме меня, счастливо поженились и вышли замуж; я, блестяще окончив Лицей, успешно начинал службу; сгустившийся одно время призрак революции разошелся, и жизнь всех близких, ей так казалось, обещала течь гладко и беззаботно, так что только и оставалось самой перейти спокойно в иной мир.

Только в середине февраля можно было считать опасность прошедшей и бедной Соничке уехать к себе в Вильну. Долгое, бессменное дежурство при Мама (она все не хотела доверять Мама сестре милосердия, которую отпускала спать в соседнюю комнату) сильно отозвалось на ее собственном здоровье, и, вернувшись в Вильну, она сама слегла и долго лежала, восстанавливая силы.

Что касается Мама, то доктора советовали поехать на юг, и было решено, что как сил прибавится, Мама поедет в Афины к Боре, который только что перенес сильнейший тиф и медленно после него поправлялся. Я должен был ехать с Мама чтобы помочь ей в пути.

Выехали мы в конце марта чудным одесским поездом (по вагонам лучшим в то время в России), и в Одессе сели на пароход Добровольного флота, шедший в Александрию. Здоровье Мама настолько окрепло, что она советовала мне отпустить ее в Константинополе ехать одной до Афин (около суток), а самому остаться на неделю в Константинополе, чтобы посмотреть город и окрестности. Так я и сделал, тем более что на пароходе познакомился с двумя молодыми людьми, ехавшими путешествовать: Лихаревым и Константином Степановичем Ильяшенко, которые тоже собирались посвятить неделю Царьграду.

Не стану описывать красот Константинополя: их надо *видеть*. Упомяну только, что наибольшее впечатление на меня произвела лазурная мечеть Ахмедие и особенно вид, простирающийся с ее стрельчатых минаретов, на Мраморное море и Стамбул. Я был там в час перед заходом солнца, когда море становится слегка лиловатым, и никогда не забуду того чувства шири и простора, которое охватывает человека, ступившего на балкон одного из этих минаретов.

Как водится, ходили мы смотреть знаменитый крытый базар с его бесконечными проходами и пряным запахом восточных ароматов, ездили на каиках (узеньких лодках с гребца-

ми в расшитых костюмах) к кладбищу Эюб и местам праздничных прогулок константинопольской знати — Eaux Douces d'Europe et d' Asie. В первом из них со мной случился забавный инцидент. Я как-то отбился от моих спутников и моим быстрым шагом ушел далеко в глубь садов и, только выйдя на сухопутную дорогу, по которой кареты возвращались в город, решил повернуть назад. Между тем стало смеркаться и я заметил с удивлением, что кругом никого не осталось. Вдруг навстречу мне турецкий городовой, протянувший мне записку от Ильяшенко, в которой было сказано, что они меня ждали, но что после заката оставаться нельзя и что меня арестуют, но что они постараются меня выручить. Меня усадили в лодку и под охраной еще других полицейских повезли по Золотому Рогу в город. По счастью, еще в дороге мы нагнали лодку с моими спутниками, и благодетельный турецкий бакшиш (чаевые) дал мне возможность перейти к ним и благополучно возвратиться домой.

Забыл упомянуть, что утром того же дня мы были на *Селямлике* (торжественный выезд султана в мечеть). Интересного, впрочем, было мало; сам султан, в то время уже состарившийся, с длинной бородой и неприятным выражением лица, сильно выраженного армянского почему-то типа, мне очень не понравился.

Ходили мы еще смотреть на дервишей: les roulants et les hurlants[1]. Первые часами кружились под медленно свистящие звуки и особенного впечатления на меня не произвели. Вторые, les hurlants, более своеобразны. Они сперва медленно раскачиваются и, выпадая по очереди то на правую, то на левую ногу, что-то выкрикивают. Постепенно темп раскачивания и выпадов ускоряется, лица приобретают дикий характер, возгласы делаются глуше. Мы до конца не досидели, но унесли с собой смутное чувство, что в такие минуты экстаза можно людей подбить на что угодно, а вместе с тем странно, что все это одновременно облечено в форму театрального представления и показывается за деньги.

Проведя неделю в Константинополе, я с очередным пароходом Добровольного флота отправился в Афины. Мраморное море и Дарданеллы прошли пасмурной погодой, но, когда

---

[1] Потешные и горланящие (*фр.*).

приблизились к Пирею, солнце выглянуло и показало берега Эллады в полной их красе. Была, в сущности, еще ранняя весна, и горы были все покрыты зеленью, красиво окаймляющей синеву моря. Материк окаймлен островками, и оттого кажется, что плывешь по непрерывной цепи озер, а отсутствие далекого морского горизонта дает всему пейзажу какой-то мирный, я бы сказал «домашний», характер.

Афины мне очень понравились; особенно, конечно, чарует Акрополь; лично меня всего более поразила вечность и неизменность пейзажа. Впоследствии мне пришлось видеть и Помпею и римский Форум. Но в том и другом случае сознаешь, что видишь «воскресшего покойника», так как столетиями на месте Помпеи и Форума бродили стада и даже не все прохожие догадывались о существовании когда-то на этом месте оживленной жизни. Акрополь же как возник за несколько веков до Р.Х., так и стоял все время непрерывно, паря над раскинувшимися у его подножия Афинами.

Большой жары еще не было, так что, помнится, мы ходили с Варусей и ее знакомыми пешком в Филэ, живописную долину недалеко от Афин (помню, была какая-то гречанка Зоя, которая, как серна, карабкалась по скалистому скату горы), а затем я ездил уже один в Пелопоннес посмотреть Олимпийские развалины знаменитого города святилищ. Холм Кроноса и тому подобные названия живо воскрешали в душе предания Эллады. Что же касается современных греков, то с Элладой они, конечно, ничего общего не имели, да и вообще казались культурности довольно примитивной. Шла Страстная неделя, и оказалось, что службы заутрени Великой субботы — Похороны Господни — носят характер почти веселый. Крестные ходы не ограничиваются, как у нас, обходом Церкви, а идут процессиями по всему городу с духовой музыкой впереди. Рестораны и кофейни открыты, и всюду сидят и пьют кофе с дузиком греки. Зрелище очень живописное, особенно если смотреть с высоты на извивающиеся в ночной темноте огненными змеями процессии, но религиозное чувство и самый смысл обряда утрачены совершенно.

Борю я застал вполне оправившимся после тифа и исправно уже ходящим на службу. Мама решила остаться у них до середины лета, а я в конце апреля отправился обратно в Петербург.

Использовав полагавшийся мне годичный отпуск на поездку в Афины, я был вынужден провести все лето в городе. Летом Петербург пустел: почти все знакомые семьи разъезжались по деревням, так что в гости ходить было почти не к кому. Помню, я усиленно работал на службе (среди лета я заменил делопроизводителя, который уехал в отпуск), а по вечерам же, возвратившись домой около 8 часов вечера (обедал я в ресторане), ложился часа на два, а около 10 часов вечера вставал, и если вечер бывал ясным, то часов в 11½ садился на велосипед и ехал на острова, к тому времени уже пустевшие. Трудно описать, как хороши они бывали в эти часы белых петербургских ночей, слегка овеянные ночным туманом; особенно Каменный остров и Елагин. Домой я возвращался лишь в 3—4 часа утра и заваливался спать по-настоящему.

Из мелочей переселенческой службы помню переписку о Кулундинской степи (в южной части Томской губернии). По какой-то оплошности я дал телеграмму, предписывающую начинать там нарезку участков, тогда как Кабинет, в ведении которого эта степь находилась, соглашался только включить ее в фонд в 1908 году. Помню, что, вернувшись из отпуска, делопроизводитель (К.А. Никитин — милейший человек) был очень взволнован, чтобы не было скандала, но все как-то обошлось, а в результате моей ошибки годом раньше началось заселение этого края. Помню, что в то время на всем пространстве этой степи бродило около 600 киргизских кибиток (хозяйств), а через три года это был густо заселенный район — Славгородский уезд Томской губернии.

Осенью Глинка решил взять меня с собою на съезд по переселенческому вопросу, который созывала в Харькове группа малороссийских земств, желавших принять участие в этом деле, так как главную массу в среде переселенцев составляли выходцы из этих губерний. Строго говоря, закон не знал участия земств, да еще объединенных в этой роли, но и Васильчиков, и Глинка стояли всецело на почве привлечения местных сил к участию в правительственной работе, если только это участие шло в направлении деловой работы, а не политиканствующих речей. Но наряду с этим Переселенческое управление побаивалось, что земства станут стараться стеснить свободу переселения за Урал, стараясь забронировать за

собою лучшие земли, а при случае и вмешиваться в детали переселенческой работы на местах. Поэтому Глинке было интересно знать настроения основных деятелей земства до открытия съезда, и так как я собирался до съезда заехать к Ребиндерам в Шебекино, то он советовал мне съездить до съезда на день в Полтаву — познакомиться с тамошними земцами и земскими работниками по переселенческой части.

К Полтаве у меня навсегда сохранилось какое-то особенное, теплое чувство. Надо сказать, что сам город очень живописен и приятен для жизни своими обсаженными деревьями (пирамидальные тополя и акации) улицами. Я впервые попадал в Полтаву взрослым, и было очень приятно чувствовать себя не среди чужих: в земстве было еще много людей, помнивших моего отца и встретивших меня, как старого знакомого, хотя меня лично они знали только ребенком. Кроме того, ведь я считал себя по праву полтавским помещиком, так как купленное моим отцом незадолго до смерти имение в Лубенском уезде (Снетин) должно было при семейном разделе достаться мне.

Новым знакомым был земский агроном Юрий Юрьевич Соколовский (впоследствии один из министров гетманского правительства), который уже ездил в предыдущем году за Урал и с которым мы подробно обсуждали разные вопросы, связанные с делом переселения. Между прочим выяснилось, что один из членов управы готовит к съезду доклад, в котором, доказывая, что Полтавская и Черниговская губернии являются одновременно и наиболее малоземельными и давшими в предыдущие годы наибольший процент переселенцев, высказывается за предоставление этим двум губерниям чуть ли не всего запаса вновь нарезанных для переселенцев земель. Тезис, с которым Переселенческое управление явно не могло согласиться.

Из Полтавы я проехал к Ребиндерам, а через неделю был в Харькове к моменту открытия съезда. Съезд был довольно многолюдным. Председательствовал на нем харьковский уездный предводитель дворянства кн. Александр Дмитриевич Голицын, впоследствии, естественно, ставший благодаря этому Председателем переселенческой комиссии Государственной думы.

В числе участников съезда видное место занял председатель так называемой Общеземской организации, создавшейся во время Русско-японской войны для помощи раненым и про-

должавшей с тех пор свое существование благодаря оставшимся у ней довольно крупным средствам. Это был столь знаменитый впоследствии кн. Георгий Евгеньевич Львов, злополучный председатель первого Временного правительства. В то время он меня поразил своим умением формулировать резолюции, способные объединить представителей разных течений. В этом отношении он подчас являлся фактически председательствующим, хотя скромно сидел в конце длинного стола президиума.

Деталей прений и докладов я теперь не помню. Помню только, как Глинке пришлось выступить в защиту *свободы переселения* в противовес тем, довольно многочисленным членам съезда, которые хотели, чтобы право переселения принадлежало только крестьянам малоземельных местностей и не иначе, как с согласия Землеустроительных комиссий. Выступая, Глинка напомнил, что вся история Сибири создана стихийным движением русского мужика на восток, движением долгие годы не только не пользовавшимся поддержкой, но встречавшим даже подчас противодействие со стороны властей. Напомнил, что нельзя явления народной жизни зажимать в узкие рамки правительственной регулировки, что нельзя закрывать исход отдельным энергичным хозяевам из многоземельных уездов, которые представляют собой наиболее ценный в колонизационном смысле элемент. Вообще, заступился за право мужика жить по-своему, а не по указке начальства. Речь произвела впечатление, и съезд принял резолюцию, оставлявшую необходимый простор для переселения в Сибирь всех туда стремящихся земледельцев.

ЗИМА И ВЫЕЗДЫ. ПОЕЗДКА НА АМУР В РАЙОН ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. ПОЕЗДКА В УССУРИЙСКИЙ КРАЙ И ПРИКОМАНДИРОВАНИЕ К ИВАНИЦКОМУ. СОВЕЩАНИЕ В ХАБАРОВСКЕ

В декабре мне пришлось в первый раз участвовать в дворянских выборах, но вернулся я сильно разочарованным. Правда, надо сказать, что тверское дворянство в эту эпоху как-то потеряло свое лицо, свои характерные черты. В предыдущие

десятилетия оно считалось одним из наиболее левых в России, «передовых», по старой терминологии. Но пронесшаяся гроза первой революции вернула, видимо, многих в правый лагерь, и в 1907 году собрание делилось почти пополам, но с перевесом в пользу правой его половины. В то же время чувствовалось, что дворянский и помещичий период русской истории, по существу, здесь кончился: среди съехавшихся в Тверь представителей местного дворянства, думаю, меньшинство составляли настоящие помещики, то есть люди, жившие исключительно своим хозяйством и его интересами; большинство принадлежало главным образом к чиновничеству, кое-кто (преимущественно среди левых) к адвокатуре и свободным профессиям. При таких условиях фразы о «благородном дворянстве, опоре престола» звучали довольно фальшиво и среди многих вызывали усмешки. Характерным признаком являлась самая внешность собрания. Традиционный дворянский мундир был исключением, почти половина присутствующих была во фраках, большинство остальных в мундирах своих ведомств или военных. Наконец, самая продолжительность собрания — один день (в 1910 году — полтора) — свидетельствовала, что говорить между собою тверским дворянам не о чем, и все спешили закончить выборы предводителей и других должностных лиц до часа прохождения через Тверь скорых поездов на Москву и Петербург.

В этот раз губернским предводителем был избран Сергей Ф. Головин, а Бежецким уездным единогласно переизбран Ника, так как и левые относились к нему, видимо, с искренним уважением (впрочем, на данном Никой в гостинице обеде они отсутствовали).

На Рождество я ездил в Беляницы, где, кроме Дары и Ники, жила в это время семья Бори и Варуси, которая ждала появления на свет третьего ребенка. Событие это произошло в самый день Рождества и крайне внезапно. Помню, мы были в зале и убирали елку, когда вдруг вбежала в комнату Варусина горничная и позвала Борю, сказав, что уже родился. А через полчаса вышел Боря и сказал, что родилась девочка, но что сама Варуся чуть не умерла и что и акушерка и Мария Николаевна страшно одну минуту испугались и даже выставили окно в спальне, чтобы дать свежего воздуха.

На этих же праздниках мы ездили в Польцо, крупное лесное имение в 30 верстах от Беляниц, которое в 1762 году было куплено вместе с Беляницами, но затем, при моем деде, продано Орлову, отчего в моем детстве часто говорили «Орловский лес». В начале 1900-х годов его купил крупный лесоторговец Цветов (из староверов-беспоповцев) и начал его эксплуатировать. В 1906 году в наших лесах был страшный ветровал и тот же Цветов купил его у нас и познакомился с Никой. Интересного в Польце, впрочем, ничего не оказалось, что, впрочем, неудивительно, так как ни Татищевы, ни Орловы там не живали. Хорош был только самый лес: сосновый, строевой, тянувшийся на 10 верст.

В ту зиму (1907/8) я с еще большим, чем в предыдущий год увлечением предался выездам. Должен, впрочем, сказать, что танцевал я плохо, так как из-за отсутствия слуха никогда не попадал в такт и частенько наступал дамам на ноги. Но неумение танцевать я восполнял entrain[1] и затем любил беседовать с дамой «на темы». А затем был молод, здоров и, будучи влюблен, в то же время флиртовал со многими. Занятый днем службой, я сравнительно мало бывал на приемных днях, которые в то время обычно кончались к шести часам, — и балы и вечера были поэтому единственным местом, где я мог встречаться с выезжавшими девицами.

В эту же зиму я стал бывать у Мейендорфов на Васильевском острове (у так называемых 13, в отличие от живших на Каменном острове 9). У них был свой особенный жанр, так как основным занятием вечера была игра в «платок» (стоящий посредине ловит перебрасываемую окружающими завязанную салфетку), ведшаяся чрезвычайно бурным темпом. Девицы приходили поэтому в простеньких платьях или блузках, мужчины же надевали русские рубахи, имевшиеся у хозяев в изобилии. После игры, часов в 12, садились ужинать, пели песни и под гитару и превесело болтали часов до трех утра. Ужин бывал самый простой: «картошка с луком», холодные битки и т.п. Простое красное и белое вино. Так что хозяева, бывшие, по петербургским понятиям, небогатыми людьми, могли легко собирать у себя каждую неделю человек 30—40 гостей. Началась эта «игра в платок» еще когда выезжали

---

[1] Живостью, воодушевлением (*фр.*).

старшие из 13, то есть лет за 10 до моей эпохи, и держалась, видимо, довольно долго, почти до самой войны, хотя постепенно взрослеющая молодежь стала переходить к картам и просто к разговорам.

Впрочем, конец этой зимы оставил во мне довольно тягостное по себе воспоминание. Мое увлечение К.Ш. очень сердило Мама, которая желала для меня другого человека, и из ее слов я понял, этого недоброжелательства не устранить, и не считал себя почему-то вправе подвергать любимого мною человека оскорбительному недоброжелательству моей матери. Вместе с тем я не был и вполне уверен в ответности чувства с другой стороны. Все это меня очень мучило, и тем не менее я старался каждый день видеться и даже, помню, раз ушел со службы, чтобы пойти кататься на лыжах на острова. Все это разрешилось неожиданно на масленице каким-то паратифом, уложившим меня в постель и, несмотря на кратковременность (помнится, около 10 дней), страшно меня ослабившим, так что я уехал в Беляницы отдыхать. Первые дни я там еле ходил по снегу, но затем быстро оправился и к концу пребывания делал уже большие прогулки по окрестностям. Приближалась весна, наст был такой, что можно почти везде в поле ходить целиной без лыж.

В итоге во мне сложилось твердое намерение переменить обстановку и на время уехать из Петербурга. Обстоятельства мне благоприятствовали, Переселенческое управление организовывало летом 1908 года ряд экспедиций по обследованию незаселенных пространств Азиатской России, и я решил, при поддержке Успенского, просить назначения в состав одной из экспедиций.

Обследование незаселенных пространств для выяснения колонизационной их годности возлагалось в предыдущие годы на старших чинов переселенческих землеотводных партий, и бывали, к сожалению, случаи, когда производители работ этих партий намечали по неопытности под заселение земли, непригодные или мало пригодные для земледелия (главным образом солончаковые почвы в степной полосе Сибири и Степного края). Эти случаи, в общем единичные, были, естественно, подхвачены оппозицией, и деятельность Переселенческого управления подверглась в этой области резкой критике в печати и при обсуждении его сметы в Госдуме особенно

доставалось так называемым «геоботаническим» обследованиям, которые ведомство возлагало часто на лиц, не бывших по специальности ни учеными-почвоведами, ни учеными-ботаниками, что, между прочим, отнюдь не мешало им гораздо лучше разбираться в оценке сельскохозяйственной годности новых земель, чем этим пресловутым почвоведам и ботаникам.

Но так или иначе, а было решено, во избежание новых нападок оппозиции, привлечь к этому делу представителей науки, и зимой 1907/8 года при Переселенческом управлении было созвано совещание при участии почвоведов профессоров Глинки (Константина Дмитриевича), Отоцкого и Прохорова и ботаников Федченко (известного уже своими исследованиями в Туркестане) и Флерова. Совещание это выработало программу обследований (почвенных и ботанических параллельно), причем для торжества принципов научности и общественности план работ должен был сообщаться для обсуждения так называемой Почвенной комиссии Вольноэкономического общества.

Начаться обследования должны были с весны 1908 года, причем предполагалось организовать с самого же начала около 20 экспедиций и направить их в разные места заселяемой полосы Азиатской России. В частности, три экспедиции намечалось послать на Дальний Восток, одну на Камчатку, а две в Амурскую область, так как в это время предполагалось приступить к постройке новой железной дороги к северу от Амура и нужно было усилить колонизацию местностей, к ней прилегающих. Постройка этой дороги вызвала большие споры в печати и в обществе. «Левые» высказывались против этого расхода, якобы связанного с «империалистическими» планами правительства; правительство считало эту дорогу необходимой для прочности нашего положения на Дальнем Востоке; так или иначе, а Переселенческому управлению надо было собрать как можно более сведений о «районе Амурской ж.д.», так как зимой предстояло обсуждение законопроекта ее постройки в Госдуме.

Одно время меня очень интересовала экспедиция на Камчатку, но срок ее был двухлетний, что меня смущало; да и человек, который должен был ею руководить, был не особенно симпатичен. С своей стороны Успенский советовал мне остановиться на экспедиции, которую предполагалось послать

во главе с профессором Томского университета — Сапожниковым в Горный Алтай — южную, пограничную с Китаем часть Алтайского округа Томской губернии. Алтай меня тоже привлекал (это, кажется, наиболее живописная часть Сибири), и, составляя доклад об организации экспедиции (я секретарствовал в совещании почвоведов и ботаников), я вписал в его проект «о командировке в составе экспедиции помощника делопроизводителя А.А. Татищева для собирания сведений о хозяйственно-экономическом быте инородцев Горного Алтая». Однако судьба направила меня в совсем другую сторону. Глинка, в принципе не возражавший вначале против моей алтайской поездки, в последнюю минуту перерешил и, вызвав меня в кабинет своего помощника Павла Ник-ча Яхонтова, сказал, что предпочел бы мою поездку на Амур. Сослался на разноречивые сведения, идущие из правых и левых кругов, в обоих случаях равно пристрастные и соответственно этому прикрашенные или преувеличенные. «Знаете, Алексей Алексеевич, поезжайте просто, не мудрствуя лукаво, и посмотрите, действительно ли там сплошь одно болото или нет. И возвращайтесь честно рассказать, что там увидите». Вот задание, которое мне дали Глинка с Яхонтовым. «А на Алтай попадете когда-нибудь в другой раз».

Я, конечно, подчинился и в результате 15 мая 1908 года выехал во второй раз в Сибирь. Ехал я с попутчиками: в Енисейскую губернию ехали на ревизию дорожный инженер Переселенческого управления Н.П. Рахманов и чиновник особых поручений Розальон-Сошальский Дмитрий Егорович, а при нем молодой причисленный милейший Роман Романович Голике, участник известной в России фирмы художественной типографии. Ехали мы из экономии во втором классе пассажирскими поездами, так как отпускаемых в то время суточных заведомо не хватало и мы наверстывали на стоимости полагающихся нам плацкарт Сибирского экспресса. (Собственно говоря, по закону нам полагались громадные прогоны, по 9 копеек с версты, так как по не отмененному еще старинному закону считалось, что чиновник едет на почтовой тройке лошадей. Но в 1907 году Васильчиков велел для экономии оплачивать поездки по действительной стоимости железнодорожного билета, но установил, к сожалению, недостаточные суточные, не покрывавшие неизбежные в пути расходы.) По-

рядок этот действовал, впрочем, недолго, так как Государственный контроль потребовал его отмены, опасаясь, не без основания, что чиновники смогут обжаловать это, в сущности незаконное, распоряжение министра и тогда казна рискует быть поставленной в необходимость выплатить чиновникам крупные суммы, недоданные им в свое время при командировках.

Надо сказать, что на почве старых, не отмененных законов выходило немало курьезов. Так, например, в эпоху присоединения Приамурья чиновники получали соль из казенных складов, так как на месте ее, видимо, негде было купить. Впоследствии соляные склады были упразднены, но сохранилась выплата служащим рыночной стоимости соли из расчета 1 — 3 пуда в месяц (в зависимости от чина). Так что я получал например, во Владивостоке: жалования 4600 руб. в год и соляных рублей 60 в год. Билет II класса от Петербурга до Сретенска (6700 верст=7200 километров) стоил 52 рубля, а прогонов выдавалось младшим чиновникам (на 2-х лошадей — 400 рублей, а старшим 1200 — 2400 рублей (на 6 или 12 лошадей). Но при небольших поездках чиновникам приходилось доплачивать, так как на путевые расходы выдавались суточные, но в размерах прямо комических: менее рубля в сутки.

Итак, 15 мая наша дружная компания двинулась в далекий путь. Ехали мы на этот раз по вновь открытой Северной железной дороге через Вологду, Вятку, Пермь, Екатеринбург на Челябинск. Езда пассажирскими поездами имела в России свои преимущества: поезд стоял подолгу на станциях, а на узловых — мы имели обычно по несколько часов, чтобы осмотреть город; многие из них были очень живописны. В Вятке смотрели городской сад, описанный Герценом в его «Былом и думах»; в Перми дошли до городских ворот: двух столбов с надписью: «Дорога в Сибирь»; в Екатеринбурге, живописном городе в лесистой котловине, смотрели знаменитую гранильную фабрику: рабочих было немного, и оборудование довольно примитивное; оттого предметы, выпускаемые этой гранильней, выделывались *годами*; нам показали капитель колонны, предназначенную для храма на месте убийства императора Александра II. Закончить ее должны были, кажется, через два года, а временно в храме была установлена капитель лепная, покрашенная.

В Челябинске нас ласково встретила переселенческая семья пунктовых чиновников, посидевших с нами до отхода нашего поезда на Омск. Потянулись опять уже знакомые мне станции — Петропавловск, Омск, Каинск, Новониколаевск, Тайга, Ачинск, пока в Красноярске не наступил черед расстаться с попутчиками и ехать далее в одиночестве. Еще сутки, и чудным весенним утром я оказался в Иркутске — столице Восточной Сибири на быстротекущей Ангаре. Переправился на пароме к расположенному под городом величественному монастырю, где поклонился мощам почивающего там святителя Иннокентия Иркутского (по слухам, при большевиках эти мощи были унесены и скрыты где-то на дальнем Севере). Из монастыря вернулся в город и бродил по улицам до очень мне понравившихся своей надписью ворот у края города, по архитектуре напоминающих имеющиеся в Петербурге и Москве триумфальные арки, но сложенные из дерева и обшитые досками с надписью, величественной в своей простоте: «Дорога к Великому Океану», не «путь», а именно «дорога».

Вечер провел на переселенческом пункте у Сергея Васильевича Резниченко, который в 1906 году был в Омске заведующим Акмолинским районом. Он очень нападал на постановку переселенческого дела на Дальнем Востоке, которую находил «кустарной» и лишенной широты размаха, как, впрочем, и вся постановка дела у Григория Вячеславовича Глинки. Он, видимо, был обижен своим перемещением в Иркутск заведующим передвижением переселенцев с более интересного поста заведующего районом водворения.

На следующее утро я сел в почтовый поезд Забайкальской железной дороги и часов пять не мог отойти от окна. Так живописны и величественны были виды. От Иркутска дорога идет верст 60 вдоль бурлящей внизу Ангары, а затем поезд мчится по краям обрывов, по мостам и через бесчисленные туннели, пробитые в скалах, окаймляющих седой Байкал.

Весь следующий день я ехал Забайкальем. Дорога все время идет по горному берегу реки (Селенги), так что любуешься видом долины и хребтами противоположной стороны. Горы сравнительно невысоки и покрыты редким лесом: оттого горизонт представляется как бы окаймленным щеткой.

Еще ночь, и утром поезд подошел к Сретенску — небольшому казачьему городку на реке Шилке, в том месте, где

последняя становится судоходной. От Петербурга в 6700 верстах. Здесь железная дорога кончалась и пассажиры садились на довольно большие, но мелко сидящие пароходы Амурского общества пароходства и торговли, идущие до Благовещенска (1200 верст). В Благовещенске в то время пересаживались на другие пароходы, с более глубокой осадкой, которые и ходили до Хабаровска (у впадения Уссури — в 900 верстах от Благовещенска и Николаевска-на-Амуре, расположенного уже недалеко от устьев этой реки, верстах в 50 от Татарского пролива, отделяющего Азиатский материк от острова Сахалин.

Пароходы Амурского общества ходили теоретически «по расписанию», но последнее устанавливало, собственно говоря, только день и час отхода парохода от *начального пункта*, приход же в конечный пункт и время прохождения промежуточных станций зависели от уровня воды и погоды (наличие туманов, из-за которых пароходы не могли идти ночью, так как не видно было ориентировочных огней, зажигаемых на берегу (створы). Обычно от Сретенска до Благовещенска пароход шел два с половиной — четыре дня, обратно, то есть вверх по течению, — от четырех до семи дней. Машины топились дровами, и пароход раза два-три в день приставал к определенным местам, где Обществом были заготовлены дрова и начиналась погрузка, во время которой пассажиры часто сходили на берег погулять.

Верхний плес Шилки был, пожалуй, самым живописным. Река идет все время крутыми изгибами, и оттого у пассажиров впечатление, будто плывешь по небольшому озеру, окаймленному зелеными, сплошь заросшими лесом, горами. Но только что приблизишься к зеленой стене, как справа и слева открывается новый изгиб, и пароход начинает круто поворачивать. Нередки перекаты — мелкие места, где пароход окружен бурлящей водой, бегущей по каменистому ложу. Насколько извилиста порою река, пассажиры видят в одном месте (кажется уже на Амуре), где две соседних пристани (рекою около 20 верст) фактически отделены лишь утесом, и большинство пассажиров предпочитает пройтись версты 1½ пешком и ждать затем парохода, огибающего длинный мыс.

Помню еще очень своеобразное место на Амуре — Чачаян. Здесь на поверхность обрывистого берега выходят пласты

бурого угля, почему-то воспламеняющегося при соприкосновении с воздухом. Я проезжал этим местом в первый раз ночью, когда в темноте отчетливо обрисовываются огненные потоки, начинающиеся на довольно большой высоте и медленно скатывающиеся в воду и там потухающие. Днем это место производит меньшее впечатление: огня при солнечном блеске не видно и только кажется, будто весь берег дымится; напоминает обычные пожары торфяных болот.

В 300 верстах от Сретенска Шилка сливается с Аргунью, и с этого места правый берег принадлежит Китаю. В мое время он почти не был заселен, и казаки левого берега свободно ездили туда косить сено и заготовлять дрова. Только против Благовещенска возник незадолго до того город Сахалян, да еще верстах в сорока ниже — довольно большой город Айгунь.

В Благовещенск пароход пришел утром. Город вытянулся длинной узкой полосой вдоль Амура, и группы низких, почти исключительно одноэтажных домов чередовались с довольно большими садами. На улицах — почти никакого движения. Чувствовалась глухая провинция. Наиболее внушительное (но довольно безвкусное) здание в городе — молоканский молитвенный дом, так как в свое время амурская глушь привлекала молокан, искавших здесь прибежища от религиозных притеснений внутренних губерний и вместе с тем возможности широко развить хозяйство на крупных наделах (сто десятин на семью), отводимых тогда на плодородных землях полустепной равнины между Зеей и Буреей.

В переселенческой канцелярии я познакомился с заведующим районом. Сергей Петрович Каффка был с 1900 года заведующим Амурской землеотводной партией и при реорганизации дела в 1905 году получил в свое владение и остальные отрасли дела. Человек глубоко порядочный и чрезвычайно добросовестный, он однако привык работать потихоньку, не спеша и был несколько сбит с толку новыми веяниями, шедшими из Петербурга, в которых чувствовалось безотчетное желание всколыхнуть благовещенскую заводь, но не давалось ясных указаний, что именно делать.

В оправдание Каффки надо сказать, что во многом он был прав и что экономически обстановка не давала в то время возможности быстрого развертывания колонизационных

мероприятий. Заселение новых земель должно идти постепенно, опираясь как на базу на уже заселенную часть. Между тем последняя была в Амурской области очень невелика. Если не считать узкой ниточки казачьих станиц вдоль Амура (вблизи которой переселенческих участков отводить не полагалось, чтобы сохранить землю для казаков), земледельческое население группировалось почти исключительно в небольшом четырехугольнике между Амуром, Зеей и Селемджой, заходя к востоку от Зеи всего верст на 50—70. Остальное пространство области, за исключением отдельных районов в верховьях рек, где были разбросаны золотые прииски, представляло собою пустыню, по которой кое-где бродили аборигены. Промышленности не было никакой. Заработки ограничивались работой у старожилов, которые, будучи многосемейными, не очень нуждались в пришлых рабочих. Почвы были трудные для разработки, и вне Амурско-Зейской низменности изобиловали слегка заболоченные пространства, которым местная землеотводная партия дала своеобразное название: «сырая степь II класса» и считала три десятины за одну вполне годную для земледелия.

При таких условиях, впредь до изменения общей экономической обстановки в крае, заселение его могло идти только постепенно. И принятие мер, искусственно привлекающих сюда поселенцев, вероятно, привело бы к неудаче и вызвало бы вскоре обратный поток не устроившихся крестьян.

Вообще, обратное движение всегда наблюдалось, и в известных пределах оно является неизбежным. Общая обстановка жизни в Сибири сильно отличалась от той, к которой переселяющиеся привыкли у себя на родине. Неудивительно, что часть их не могла примениться к новым условиям и после первых неудач предпочитала вернуться домой, чем продолжать житейскую борьбу в новом месте.

В канцелярии я узнал неожиданную новость. Васильчиков ушел в отставку и главноуправляющим землеустройством и земледелием назначен Александр Васильевич Кривошеин, который ввиду предположенной постройки Амурской железной дороги решил сосредоточить силы переселенческого ведомства на Дальнем Востоке. В связи с этим Каффке было сообщено, что решено немедленно организовать подробное обследование «полосы Амурской ж.д.» и что это дело поручено

специально С.П. Шликевичу. Последний был в 1905/6 годах заведующим Приморским районом, а с весны 1908 года назначен «объединяющим» деятельность двух дальневосточных районов с местожительством в Хабаровске.

На мое имя пришла другая телеграмма, что «Главноуправляющий поручает вам обследовать полосу ж.д. и т.д»., добавляя, чтобы о подробностях моей работы я вошел в соглашение с Шликевичем. Я стал немного в тупик. «Обследовать» незаселенный район можно было, только организуя для этого специальную экспедицию. Да к тому же «технических» данных и сведений для обследования у меня, никогда в жизни не бывавшего в Амурской тайге, явно не было. Каффка посоветовал мне для начала поехать в Хабаровск к Шликевичу, с чем я вполне согласился, и отправился на пристань взять билеты на отходящий под вечер пароход. На пароходе я встретился с кн. Георгием Евгеньевичем Львовым, который тоже собирался в Хабаровск. Оказалось, что свободных мест в каютах I и II класса больше нет; но популярность Львова в то время была такова, что капитан предложил ему ночевать в своей каюте. На нижнем плесе пароходы шли и ночью, но ввиду туманов капитаны обыкновенно проводили ночь на вахте, а Львов очень любезно предложил мне поместиться с ним, «а спать», добавил он, «сможете на моем полушубке».

Я забыл упомянуть, что Общеземская организация, о желании которой принять участие в переселенческой работе я говорил выше, в связи с Харьковским съездом 1907 года, получила разрешение организовать в 1908 году медицинскую и продовольственную помощь новоселам на Дальнем Востоке. Дело в том, что летом 1907 года для поощрения переселения в Приамурье, было разрешено ехать туда без предварительной посылки ходока. Благодаря этому и так как в народе еще держалась память о богатых землях «Зеленого Клина» (так называли крестьяне Южно-Уссурийский край, где, увы, свободных земель почти больше не было), на Дальний Восток хлынули тысячами те, кого считали «самозванцами» и кто составлял всегда заметный процент в составе переселенцев. Результаты получились далеко не блестящие. Несмотря на все усилия переселенческой организации, принять и устроить сразу десятки тысяч людей оказалось трудным. Свободных земель в существующих селах степной полосы, естественно, не хва-

тало, и главную массу переселенцев пришлось направить на сплошь залесенные участки, отведенные в долинах Имана и Ваку к востоку от линии Уссурийской железной дороги. Ко многим из этих участков еще не было устроено хороших дорог, и новоселам приходилось затрачивать немало сил только на то, чтобы добраться до своих участков. К тому же непривычка к новому климату, чрезвычайно сырому из-за выпадающих во второй половине лета почти тропических дождей, вызвала в среде переселенцев (среди которых было много молдаван) широкую заболеваемость. Около пятой части пришедших в 1907 году переселенцев отчаялась устроиться в неприютной окраине и тронулась обратно, но и оставшиеся остро нуждались в помощи, почему предложение Общеземской организации было принято Переселенческим управлением с полной готовностью. Справедливость требует, впрочем, сказать, что кроме врачей и персонала, обслуживающего питательные пункты, с организацией приехало и несколько статистиков, которые были заняты изучением экономической жизни края. Благодаря этому в следующем году появилась книга «Приамурье», изданная Общеземской организацией и представлявшая собою подробную сводку данных о Дальнем Востоке. Упоминаю об этом как о характерном примере того, как эта организация стремилась расширить свои кадры и задачи за пределы, официально ею себе поставленные. Это был прообраз Земского союза эпохи Великой войны.

Но надо сказать, что в среде своих сотрудников Львов прямо вызывал какое-то обожание и преклонение. Правда, обаяния в нем было масса, и за два дня моего с ним путешествия я этому вполне поддался и не отрываясь слушал его рассказы.

Между прочим, он передавал историю переговоров, которые в дни, предшествовавшие роспуску 1-й Думы, вел с некоторыми общественными деятелями Столыпин по вопросу о привлечении их в состав правительства. По словам Львова, эти деятели ставили условием или предоставление им большинства в Совете Министров, или же опубликование, одновременно с их назначением, манифеста или рескрипта декларационного характера с одобрением известной приемлемой для русской общественности программы деятельности нового правительства. Возражая против предоставления им боль-

шинства в Совете, Столыпин по поводу программы будто бы заявил, что с основными тезисами, выставленными его собеседниками, Государь согласен, но что требовать от него письменного согласия нельзя. «Русскому царю надо верить», — заявил Столыпин, а на слова собеседников, что у них этого доверия к Государю нет, сказал, что раз у них этой веры Царю нет, то и разговаривать не о чем. В результате было образовано новое правительство по-прежнему из бюрократов, а «общественности» пришлось отойти и ждать своего часа. (Увы, он настал только в 1917 году и обнаружил неспособность общественности справиться с событиями.)

В Хабаровске я застал Шликевича и узнал, что обследование «полосы» железной дороги от границы Амурской области до района, где уже имелись переселенческие участки, он поручил Борису Спиридоновичу Любатовичу, только что появившемуся в Хабаровске из Аяна. Любатович был очень своеобразной фигурой. Высокого роста (выше меня), черный как смоль, с начинающей лишь пробиваться сединой, он служил перед тем в Лесном департаменте, который использовал его для обследования совершенно пустынных пространств северо-восточного угла России — Якутской области и прилегающих к ней частей Приморской области. Предки его переселились из Сербии в эпоху, когда Россия привлекала засельщиков на юг. Сам он учился, кажется, в Петровской академии в Москве и после каких-то студенческих беспорядков был выслан в Тобольскую губернию, где и обжился. Жена его за ним почему-то не последовала, и он, чтобы развязаться с ней, прибег к своеобразному способу: опубликовал в «Тобольских ведомостях» о «безвестной отлучке», и так как «Тобольских ведомостей» никто не читает, и его жена не откликнулась, то он по прошествии известного срока получил право жениться вновь и действительно женился. После того жизнь его много бросала в разные экспедиции по обследованию сибирских лесов, а с 1908 года он окончательно водворился на Дальнем Востоке. По странной игре случая он «нашел» опять свою жену и последняя переехала к нему (уж не знаю точно, под чьей фамилией она жила, но факт тот, что в 1911 году, когда я приехал во Владивосток, он жил с обеими женами, которые, по слухам, вполне уживались). Первая была интеллигенткой и преподавала в гимназии, вторая, от которой у него были дети, была «из

простых» и занималась хозяйством. Не лишнее добавить, что, будучи человеком по-своему очень щепетильным, он еще ежемесячно из своего жалованья посылал кому-то 25 рублей в Аян (на Охотском море), «на сына» — с усмешкой говорил он. Неутомимости и неприхотливости он был чрезвычайной; вместе с тем обладал недюжинным умом и способностью оценивать обстановку и учитывать хозяйственные и природные особенности изучаемого им района. Лучшего выбора для поставленной задачи Шликевич сделать не мог. К осени Любатович обещал объехать западный участок «полосы ж.д.» и дать схематическое описание этого участка в хозяйственном отношении.

При таких условиях я мог более не волноваться за данное мне поручение, которое с меня, естественно, слагалось. Со своей стороны Шликевич мне посоветовал для приобретения опыта и общего знакомства с краем для начала посмотреть район, где в 1908 году велись работы по нарезке новых переселенческих участков, а затем постараться проехать в район, где велись почвенные ботанические обследования. Так я и сделал. Вернулся в Благовещенск и, проведя несколько дней за изучением разных материалов в канцелярии, выехал (кажется, 15 июня) из города на почтовых лошадях вместе с переселенческим инженером-гидротехником, которому надо было проверить ведшиеся в области работы по рытью колодцев на новообразованных и еще не заселенных переселенческих участках.

Начало пути пролегало по району старожильских селений. Сперва мы пересекли Николаевский казачий округ, на землях которого до 1900 года (год боксерского восстания в Китае) жили маньчжуры, которых здесь застало наше завоевание края в 1860 году. В 1900 году, опасаясь, что восстание перекинется и к нам, благовещенские власти решили выдворить всех маньчжур на китайскую сторону. Как мне рассказывали лица, жившие в то время в городе, мера эта, при всей суровости, не была в идее жестокой, так как уровень воды в Амуре был очень низок и взрослый человек, идя осторожно, мог перейти на ту сторону вброд. Но на беду, когда изгоняемое население двинулось вброд, с китайской стороны раздались выстрелы. Шедшие вброд испугались и повернули назад. Тогда начали стрелять с русского берега, и в результате обезумевшая толпа сбилась с брода и была унесена течением.

Погибли почти все: чуть ли не 2000 человек, вписав мрачную страницу в историю русского Приамурья. На опустелые земли маньчжур были поселены казаки, образовавшие новый (Николаевский) округ Амурского казачьего войска.

За полосой казачьих земель начинались богатые села первых русских засельщиков этого края. Большею частью здесь жили молокане, ушедшие на Амур, так как на старом месте стеснялась их религиозная жизнь. Трезвые и работящие, молокане достигли исключительно высокого уровня благосостояния. Боюсь ошибиться, но помнится, что в некоторых селах средняя запашка достигала чуть ли не 30 десятин на хозяйство и десятками же голов насчитывали скот у среднего хозяина. Неудивительно, что слухи о благодатных землях Амура, доходившие до России, манили сюда мужика. Но надо сказать, что, помимо трезвости и трудолюбия, богатство первых засельщиков объясняется и исключительно благоприятными землями лессовой низменности, прилегающей к Амуру. По мере же продвижения к северу земли делались более сырыми, с глинистой подпочвой, более трудными для разработки и менее благодарными в смысле урожайности.

С спутником моим я ехал около двух дней; доехав до границы заселенной полосы и зная, что поблизости работает землемер по нарезке новых участков, я решил проехать туда самостоятельно. Неопытность моя сказалась сразу. Достав верховую лошадь для себя и вторую под вьюк, я выехал под вечер с проводником из новоселов, взяв с собой в виде провизии хлеба, консервов и крутых яиц: последних мне дали с десяток, которые я уложил в холщовый мешок и приторочил к седлу. Проводник был из новоселов, только что приехавших из России, так что он и местность знал плохо и не умел применяться к местным условиям. Знал, что землемер работает невдалеке, верстах в 20 к востоку за рекой Кунгули (или Горбыль, точно не помню — той, что восточнее). Вечер нас захватил в пути, и мы заночевали в лесу; погода была ясной, и я улегся в походной кровати, решив, что не стоит разбивать палатки. Чаю заварить не могли, так как не нашли воды, а яйца мои, увы, оказались смесью белка, желтка и скорлупы, для пищи непригодны. Выручили консервы и хлеб. Под утро я проснулся с ощущением сырости. Оказалось, что накрапывает и что матрас мой намокает, так как палатки я не раскиды-

вал. Чаю опять не пили и часов в пять утра снова двинулись в путь, причем проводник шел впереди, ведя лошадь с моим вьюком. Местность: степь с березовыми колками, чрезвычайно однообразная. Идем час, два, три... уже полдень, как я, к моему отчаянью, вижу, что мы пересекаем отчетливо видный в высокой траве *собственный* наш след, и понимаю, что проводник, ведя лошадь за собою, незаметно забирал все вправо и описал большую дугу, приведшую нас чуть ли не обратно к месту ночевки. Тут я решил, что надо мне ехать впереди, наметив направление и придерживаясь его от группы берез к группе берез. Расчет оказался правильным, и часу в пятом дня мы выбрели к речке и услышали запах дыма от костра. Оказалось, что этап землемера невдалеке, и вскоре я с наслаждением пил с ним чай после почти 12-часового блуждания по «лесостепи». Ознакомившись с работами землемера я на следующий день двинулся обратно и затем от деревни к деревне добрался до села Канича (или Мазанова) на р. Селемдже, близ слияния с р. Зеей, где должен был встретиться с производителем работ Чембаровым, которому было поручено проектирование новых участков в полосе между Зеей и Амуром. Чембаров считался одним из самых опытных производителей работ Амурской партии. С ним я провел, помнится, четыре дня. Передвигались мы не спеша, небольшим караваном, имея при себе человек пять рабочих, с вьючными лошадьми, палатками и всем необходимым для длительного житья в тайге. За день проходили верст двадцать, не более, так как часто приходилось пересекать заболоченные пространства, где лошади с вьюками завязали. Чембаров делал заметки в своей записной книжке и рассказывал эпизоды из своей землемерной практики. Дня через три мы вышли опять на реку Зею в районе обширного низменного пространства, называвшегося тогда «Кухтерин луг», где я должен был дождаться проходящего парохода на север. На мое счастье, ждать пришлось недолго: через несколько часов послышался шум колес и показался пароход, который спустил за мной лодку. Должен сказать, что «таежная» жизнь меня не прельстила и что я с удовольствием уселся на диван в столовой и заказал себе битки под сметаной.

Пароход шел в город Зею; помню, что был еще период мелководья и что на перекатах пароход замедлял ход и дном

почти касался и даже чиркал по каменистому дну; на одном из перекатов матрос, стоящий на носу и вымеряющий в опасных местах глубину, даже выкрикнул раз: «два» (фута). До города я, кажется, не доехал, а слез с парохода верстах в 20 южнее у села, где жил подрайонный чиновник, и провел там день.

Переселенческий пункт был расположен на большой дороге, построенной или возобновленной незадолго перед тем Переселенческим управлением между городом Зеей и казачьей станицей Черняевой на Амуре. По этой дороге проходил почтовый тракт, но лошадей на нем содержалось немного, и чтобы мне не засиживаться без дела, местный чиновник уговорил почтальона взять меня с собой на почтовой телеге. Строго говоря, это не разрешалось, но в такой глуши правила соблюдались не особенно строго и почта меня быстро довезла до Амура. К сожалению, пришлось часть дороги из-за этого делать ночью; по старинному указу, почту везли «денно и нощно, без малейшего замедления» и ко времени ее прихода содержатели почтовых станций обязаны были держать лошадей наготове. Оттого должность почтальона была незавидной.

Впоследствии мне пришлось немало поездить по почтовым трактам, и должен сказать, что одна из самых неприятных сторон этих поездок в неуверенности, будут ли свободные лошади на следующей станции или же по приезде туда окажется, что все лошади взяты проходящей почтой или же держатся в запасе и не отпускаются со станции в ожидании прихода почты. Правда, на большинстве трактов почта бывала не ежедневной, но периодически путник попадал на скрещение двух почт, и тогда сидение на почтовой станции могло затягиваться на долгие часы. К счастью, удавалось «за на чай» устраиваться с ямщиками, возвращающимися домой порожнем, и таким образом проскакивать через мертвые петли. На Дальнем же Востоке положение осложнялось еще тем, что за исключением *почты*, отпуск лошадей в летнее время прекращался с 9 утра до 5 часов дня из-за оводов и слепней. Извольте при этих условиях продвигаться на дальние расстояния и доказывать содержателю станции, что еще нет девяти или уже есть 5 часов.

Из Черняевой я вернулся почтовым пароходом в Благовещенск и, проведя в городе несколько дней, отправился опять в поездку; на этот раз я взял пароход, везущий груз в район

золотых приисков в бассейне реки Селемджи и доехал с ним до зимовья в устье реки Норы, где надеялся встретиться с одной из почвенно-ботанических экспедиций. На этот раз мне повезло, и вечером первого же дня к зимовью вышел обоз экспедиции во главе с ее начальником Полыновым и ботаником Дохтуровским, так что я мог подробно расспросить их о результатах их обследований. На следующий день экспедиция отправилась обратно в тайгу, а я остался ждать парохода, который бы отвез меня обратно в Благовещенск. Скучно было то, что нельзя было отходить далеко от зимовья, так как пароход не стал бы ждать, если бы в момент его прихода меня не было бы на берегу. На зимовье же делать было нечего. (Забыл объяснить, что «зимовьем» называли тогда в Амурской области заимки с постоялыми дворами на путях к золотым приискам. Дело в том, что завоз продуктов (продовольствие и одежда для рабочих и «старателей» и т.п.) на приисках происходил главным образом по санному пути зимой, когда болота и мелкие речки замерзали и возчикам нужны были постоялые дворы для ночевок. Насколько помню, в то время говорилось, что на каждый пуд добытого золота требуется завезти в тайгу не менее 2000 пудов разного рода груза для приисковых рабочих и что сравнительно ничтожную часть этого груза удается подвезти пароходами примерно до середины пути между Благовещенском и приисками)

Целых два дня провел я на зимовье, слоняясь без дела и играя с ручным молодым лосем, которого хозяин приютил, убив матку. На третий день слышу гудок. Оказалось — пароход идущий наверх; но так как стояли ясные дни, то уровень воды со дня моего прибытия еще понизился и я знал, что выше нашего зимовья пароходу все равно не подняться. Поэтому думал, что пароход выгрузится и пойдет назад. Моя надежда воспользоваться им оказалась, однако, напрасной, и капитан на мое указание, «что воды ведь нет» спокойно ответил, что в конце июля (а разговор шел, кажется, 20 июля) всегда бывают дожди и, стало быть, прибудет и воды и он сможет подняться выше по Селемдже. Со своей стороны он мне посоветовал нанять лодку и спуститься вниз по реке верст на 25, где имеется невдалеке прииск и, по его сведениям, ожидается через день-два пароход, который дальше не поднимется, а, доставив груз, пойдет назад в город.

Так я и сделал. Расчет оказался правильным, и через два дня я уже был в Благовещенске.

В следующую и последнюю поездку мою в Амурской области я отправился через несколько дней, на этот раз непосредственно в район железной дороги, в западный участок, где Переселенческое управление поручило съемку местности частному межевому бюро и непременно хотело, чтобы я посмотрел земли этого участка. Руководителем работ там оказался некий Кириченко, межевой инженер, очень способный и распорядительный, который со мной вместе проехал весь порученный ему район параллельно Амуру, вдоль намеченной трассы железнодорожного пути. Должен сознаться, что это была одна из самых утомительных прогулок за всю мою жизнь, особенно один участок пути, верст около 15, который пришлось идти пешком, ведя лошадь в поводу. Местность была сильно кочковатая, а так как перед тем прошли сильные дожди, то все пространство оказалось затопленным и многие кочки под водой, так что об них невольно спотыкался. К тому же я был уставшим от поездки предыдущего дня и почти не спал ночь, так как Кириченко убедил меня, что не стоит раскидывать палатки, и мы спали под открытым небом, а были уже утренники (небольшие морозы). Но результат был достигнут: я на собственных боках убедился, что если не везде, то в западной части области «полоса железной дороги» хоть и не сплошное «болото», все же сильно заболочена. Надо сказать, что позднее, при постройке железнодорожных насыпей, инженерам пришлось много побиться, пока не нашли способов бороться с заболоченностью. Дело в том, что болота Амурской области отличаются коренным образом от тех, которые я знал в России: это не торфяники и не трясины, а просто поверхностно заболоченный слой, лежащий на грунте, промерзшем и не успевающем оттаять в течение короткого амурского лета. Впоследствии мне рассказывали, будто на следующих участках инженеры сперва подготовляли грунт, снимая совсем верхний слой и давая тем самым возможность оттаять и просохнуть слоям ниже лежащим. Говорили еще, что опыт Амурской железной дороги был впоследствии с успехом использован при постройке во время войны Мурманской железной дороги, пролегающей также болотами с каменистыми подпочвами.

Отдельные площади, благоприятно расположенные, разумеется, могли быть распахиваемы, но для сколько-нибудь широкой земледельческой колонизации края данных в то время не было. Нельзя только забывать, что цель постройки Амурской железной дороги была чисто политическая. Обеспечить связь с нашей дальневосточной окраиной железнодорожным путем, пролегающим *русской* территорией (а не через Маньчжурию).

Тем временем подходил срок моей командировки: при отъезде из Петербурга мне было велено возвратиться к концу августа. Вместе с тем казалось обидным быть так близко от Уссурийского края и уехать, его не повидав. Поэтому я решился попросить разрешения Переселенческого управления отсрочить мне возвращение и дать мне поехать на собственный счет в Хабаровск и Владивосток. Разрешение было охотно дано, и, закончив в несколько дней в Благовещенске мой краткий отчет о поездке, я отправился вновь в Хабаровск, где был очень гостеприимно принят переселенческими чиновниками, которые охотно дали мне возможность посмотреть местности на левом берегу Амура, куда ходил катер по рекам Тунгуске и Куру.

Из Хабаровска я проехал в Иманский уезд (район, где поселилась большая часть новоселов, пришедших в 1907 году), а оттуда во Владивосток, где встретился впервые с заведующим районом Михаилом Николаевичем Савинским, которого судьба заставила меня впоследствии сменить на этом посту. Человек чрезвычайно способный и энергичный, Савинский отличался, к сожалению, крайней резкостью обращения, из-за которой многие его недолюбливали. Вместе с тем он не желал считаться или, вернее, не хотел примириться с тем, что известные мероприятия, быть может целесообразные в экономическом отношении, не осуществимы по мотивам юридического или политического характера, и рвал и метал против «петербургских чиновников», боящихся называть вещи своими именами и идти напролом. Сюда относились, например, вопросы о землях старожилов области — казаков и крестьян; по мнению Савинского, раз правительство желает уплотнить русское население на окраине, нельзя сохранять за старожилами данные им громадные земельные наделы, а надо сравнять их в правах с новоселами, а на освобождающиеся

земли садить новых засельщиков. С экономической точки зрения Савинский был, конечно, прав и этим путем Переселенческое управление могло получить, вероятно, десятки тысяч десятин в лучшей части Приморской области, притом вблизи железной дороги. Но эта мера затрагивала права людей, которые или отцы которых в свое время шли на дальнюю окраину, именно манимые обещаниями «стодесятинного» надела на семью; казаки же тоже знали, что по основному казачьему закону им полагается «30 десятин на душу», не считая запасных земель.

Столь же резко ставил Савинский и ряд других вопросов. Ругал центр на чем свет стоит за неумение получить необходимые кредиты на дело, за неумение отстаивать своих служащих от нападок администрации и т.п. Я все это кротко выслушивал и старался объяснить ему положение центрального управления и оправдать нашу «косность» и «бездеятельность».

Оглядываясь теперь на прошлое, жалеешь, что мы не сумели в свое время поставить этого способного человека в условия, где он мог бы принести максимум пользы и в то же время сохранить свои силы. К сожалению, он любил пить, и поддавался, видимо, соблазну азартной игры, для которой Владивосток, как портовый город, создавал благоприятную обстановку. В начале 1911 года слухи о крупной азартной игре Савинского дошли до Петербурга и, чтобы изъять его из опасной среды, его перевели заведующим же районом в Благовещенск, но и там он оставался, кажется, не очень долго. У него обнаружилось нарушение мозговых центров, и кончил он свою жизнь в сумасшедшем доме. Помню, что я был в Петербурге на его похоронах, забыл только, в каком году это было. Для меня это тягостное воспоминание, так как косвенно я связан был с тяжелым ударом, нанесенным его карьере: перемещение в глухой Благовещенск, и по приезде во Владивосток видел грусть его жены, оставшейся ликвидировать вещи.

Если не ошибаюсь, уже в день приезда во Владивосток меня ожидала телеграмма, предписывающая не уезжать до новых указаний. Разъяснение пришло вскоре: оказалось, что наш товарищ министра Борис Евгеньевич Иваницкий командирован по Высочайшему повелению на Дальний Восток «по переселенческому делу» и мне было велено выехать ему на-

встречу в Иркутск и далее состоять при нем. (Одновременно пришло приятное известие, что васильчиковский циркуляр о езде чиновников «по действительной стоимости» был отменен и что конец моего путешествия будет оплачен «по закону», то есть даст мне возможность покрыть перетрату летних месяцев.)

Приехав в Иркутск и явившись на вокзал к приходу экспресса, я был очень сердечно принят Иваницким; очевидно, Глинка ему меня нахваливал и я оказался в положении «le Benjamen»[1] командировки. При Иваницком ехал для ведения журналов и составления отчета заведующий Дальневосточным делопроизводством Переселенческого управления Владимир Федорович Романов, а для хозяйственных поручений и «представительства» чиновник особых поручений Ожаровский, «камер-юнкер». Романов служил с Иваницким уже давно: сперва в Земском отделе Министерства внутренних дел, затем в Министерстве путей сообщения, и когда Иваницкий сделался у нас товарищем министра, то устроил перевод и Романова. С Глинкой Иваницкий был на «ты»; Романову он говорил «вы», но дружески с ним подчас ссорился и бранился; вообще, отношения у них были скорее дружеские, чем чисто служебные. Ожаровский, бывший правовед, провел года три на челябинском пункте в период усиленного движения; аккуратный и добросовестный, всегда приветливый, он был всеми любим, но к канцелярской работе почти не прикасался. Ехали мы в вагоне первого класса, в котором середина была превращена в большой кабинет, где мы ели, а при случае Иваницкий принимал.

В этом вагоне мы доехали до Сретенска, где нам был дан казенный пароход Министерства путей сообщения и начальник округа, инженер Чубинский <нрзб.>. Быстро доехали до Благовещенска, где на пристани были встречены губернатором со всей областной администрацией и где остановились на день или два для выслушивания докладов местных переселенческих чинов. Затем доехали до Хабаровска. Здесь Иваницкий условился с генерал-губернатором Унтербергером о созыве через несколько дней большого совещания для об-

---

[1] «Бенжамена», т.е. наподобие Вениамина, младшего сына Иакова от Рахили (Быт.), пользовавшегося особым покровительством отца.

суждения всех вопросов колонизационного характера, а до этого решил осмотреть те части области, в которых еще не бывал, и проехать во Владивосток, где была переселенческая районная канцелярия.

Так из Никольска-Уссурийского мы ездили в район старожильских сел (с. Жариково и казачьи станицы Гродеково и Богуславка) на Приханкайской низменности — наиболее богатый район Приморской области, а 6 октября приехали во Владивосток. Губернатор (Флуг) был в отпуску, а заменял его вице-губернатор Омельянович-Павленко (мой и Иваницкого земляк по Лубенскому уезду). В порту стояли между прочим два «крейсера», вернее, судна для охраны рыбных промыслов, состоявшие в ведении нашего министерства: «Командор Беринг» и «Лейтенант Дыдымов», очень небольшого, впрочем, тоннажа (500 и 400 тонн). На первый из них мы сели и отправились в поездку вдоль побережья. Дни стояли чудные, и мы все были очарованы красотою бухт, в которые мы заходили: бухта св. Ольги, где был небольшой поселок и жил переселенческий чиновник, бухта Преображения и залив Америка, в которых были тоже переселенческие поселки, занимавшиеся почти исключительно рыболовством (в тех же бухтах жили китайцы, занимавшиеся сбором «морской капусты», особого рода водорослей, из которых китайцы вываривают лакомое, по их мнению, кушанье). В последней из этих бухт мы были уже под вечер. Стояла тихая погода, и ничто, казалось, не предвещало возможности резкой ее перемены. Следующим пунктом нашего маршрута было урочище Посьет — южная точка Уссурийского края на самой границе Кореи. Предстояло пересечь залив Петра Великого, примерно 5—6 часов нашего хода. Якорь подняли мы, кажется, около 10 часов вечера и легли спокойно спать, как около полуночи погода быстро изменилась и мы оказались в сфере тайфуна. Немедленно мне стало ясно, что я сильно подвержен морской болезни: пластом пролежал я остаток ночи на своей койке, страдая неимоверно и думая об одном: чтобы все это как-нибудь кончилось. Но Романовский и Ожаровский, сохранившие способность стоять и двигаться, выходили несколько раз на палубу и говорили, что море было как кипящий котел. Около 5 утра капитан переменил курс, так как мы приближались к берегам, и повернул в открытое море в ожидании, чтобы буря утихла. Как

часто бывает, тайфун столь же быстро спал, как и появился, и в 11 часов утра мы вошли в бухту Посьет, где на берегу солдаты местного гарнизона выложили из камня громадного двуглавого орла, широко распростершего свои крылья. Мы сошли на берег и осматривали урочище и корейские села, где жили корейцы, пришедшие в Россию в 80-х годах и наделенные у нас землею в долинах речек, впадающих с востока в залив Петра Великого. Должен, однако, сказать, что после ночной качки ноги были у меня не тверды. Не знаю, во сколько баллов оценивали моряки силу ветра, но помню, что капитан жаловался на какую-то книгу, выпавшую из рубки в момент, когда судно делало поворот, и исчезнувшую в море. Крен будто бы достигал 45 градусов.

Вернувшись во Владивосток, мы опять водворились в наш вагон и поехали в Хабаровск, где началось долгое наше, как мы шутили, «хабаровское сидение». Дело в том, что Унтербергер повел заседания с большой методичностью и давал всем возможность подробно высказываться по каждому вопросу. В то же время, дабы не прерывать обычного течения административной жизни края, совещание собиралось всегда пленарно в полном составе, то есть человек 30, если не больше, — заседания устраивались три или четыре раза в неделю, от 2 до 6 часов дня. В итоге, начавшись около 20 октября, заседания затянулись почти на месяц. Правда, благодаря этой системе оказалось возможным параллельно составлять и журнал совещания, который писал В.Ф. Романов (кое в чем я ему помогал и, помню, делал доклад совещанию по вопросам о размерах и характере земельного фонда Дальнего Востока), так что дня через три после заключительного заседания журнал (в печати он составил, кажется, более 200 страниц) мог уже быть оглашен и подписан всеми членами.

В Хабаровске вокзал расположен сравнительно далеко от центра города. Поэтому мы все переехали в гостиницу и оставались там до конца нашего пребывания в Хабаровске. Работали много по составлению журнала и ложились поздно. Среди же дня, когда не было заседаний, мы с Ожаровским всегда ходили к памятнику графа Муравьева-Амурского, присоединителя края. Памятник был на редкость эффектным по местоположению: Муравьев, скрестив руки, стоит на высоком мысу, образуемом слиянием Амура и Уссури; горизонт на

бесконечное пространство расстилается над китайской и заамурской низменной равниной.

Около середины ноября работа наша в Хабаровске закончилась и мы, как в родной дом, вернулись из гостиницы в наш милый вагон, ожидавший нас на запасных путях хабаровского вокзала.

На обратном пути мы останавливались в Иркутске и Омске, где были устроены совещания под председательством генерал-губернаторов, и утром 4 декабря приехали в Петербург.

Таким образом, поездка наша затянулась, вместо предполагавшихся трех месяцев протянулась более полугода. Она надолго связала меня с вопросами Дальнего Востока. Я не вернулся более в Ревизорскую часть, а вошел в 5-е Делопроизводство, ведавшее вопросами Дальнего Востока (и почему-то и Кавказа), став там, естественно, помощником В.Ф. Романова.

В результате поездки Иваницкого возникла мысль объединить руководство всеми отраслями колонизационного дела на Дальнем Востоке в особом центральном комитете, а для выработки программ самих мероприятий послать Амурскую экспедицию во главе с каким-нибудь видным деятелем. Переписка по этому поводу, как водится, тянулась месяцами, и лишь в конце 1909 года состоялось высочайшее повеление об образовании Комитета по заселению Дальнего Востока. К сожалению, в стремлении придать этому делу больший удельный вес переборщили: председателем был назначен Столыпин, а заместителем его (то есть помощником) Кривошеин. При этих условиях представителями отдельных министерств в Комитет вошли сами министры, и Комитет обратился во второе издание Совета Министров, то есть, в сущности, вовсе в качестве самостоятельного органа не создался, если не считать того факта, что управление делами Комитета, то есть возможность подталкивать разрешение некоторых вопросов, было поручено Глинке.

Таким вопросом, живо интересовавшим Переселенческое управление, был вопрос об использовании свободных земель громадного пространства, предоставленного в 1894 году приамурским генерал-губернатором Духовским во временное пользование местных казачьих войск. Общая площадь этого

«отвода Духовского» достигала 14 миллионов десятин, и только небольшая часть ее была занята временными наделами существующих казачьих станиц. Переселенческое управление с самого начала добивалось разрешения образовывать участки в пределах этого отвода, и в 1907 году, когда обнаружился неожиданный наплыв переселенцев, Унтербергер решил в виде изъятия образовать новые участки в долинах Имана и Ваку. Но обещанного разрешения все не давалось, так как была мысль об использовании тех же земель для казачьей колонизации Приамурья. Переселенческое управление с этой теорией яро боролось, указывая, что на границе с Китаем надо стремиться уплотнить русское население, между тем казакам полагается отводить земли более чем вдвое против переселенцев-крестьян. Под давлением Кривошеина, пользовавшегося к тому же поддержкой Столыпина, удалось, наконец, это дело сдвинуть с места и в первом же заседании Комитета Дальнего Востока было решено отказаться от казачьей колонизации Приамурья и, наделив существующее казачье население края окончательными наделами, все излишки «отвода Духовского» обратить под заселение крестьянами.

Большой шаг был, таким образом, сделан. 1910 год ушел на выработку законопроекта о наделении земель амурского и уссурийского казачества, который был затем без изменений принят Государственной думой, но, увы, потерпел в 1913 году крушение в Государственном совете, который законопроект отклонил, как нарушающий якобы права казаков (чего совершенно не было). Так дело вернулось, увы, к исходной точке. А далее последовала Великая война и в 1917 году общее крушение всего строя.

Но я забежал вперед. Возвращаюсь к 1909 году. В служебном отношении он для меня открылся приятной новостью. Оказалось, что ввиду блестящих результатов года, в смысле числа переселившихся за Урал и размеров подготовленного для колонизации нового запаса земель, Кривошеин выхлопотал внеочередные награды для Переселенческого управления. В число представляемых Глинка включил и меня, и 1 января вышел приказ, которым я производился в чин «коллежского асессора» (VIII класс) с двумя годами старшинства, так что весной 1910 года я должен был уже автоматически оказаться произведенным за выслугу лет в «надворные советники»

(VII класс). А через полтора месяца я получил дальнейшее поощрение: назначение чиновником особых поручений Переселенческого управления VI класса с окладом 2000 рублей (при довольно крупных наградах, которые давались у нас к Пасхе и Рождеству, это составляло годовое вознаграждение без малого в 3000 рублей).

В РОДНЫХ МЕСТАХ И В ИТАЛИИ И ПОЛЬШЕ

В течение лета чиновникам полагалось у нас полтора месяца отпуска. Мне давно хотелось поехать в Италию, а потому я решил разделить в 1909 году мой отпуск пополам и, положив месяц на поездку осенью за границу, провести две недели июня в Беляницах с Дарой и Никой.

На мое счастье, июнь выдался в 1909 году чудный; стояли жаркие дни и аллеи нашего липового сада были полны благоухания. После двух лет отсутствия было приятно опять пожить деревенской жизнью, ездить верхом по тем дорожкам в лесах, которые я наизусть изучил и полюбил в годы молодости, сидеть у Минны в ее ставшей совсем уютной комнатке во флигеле с ее столиком с образами и вывезенными из Иерусалима святынями.

Из событий помню, что мы все ездили в Кашин на открытие мощей и прославление княгини Анны Кашинской, которая до того считалась лишь местночтимой. Как ни странно, мне до того ни разу не приходилось бывать в Кашине, который оказался прелестным городком, чрезвычайно живописно расположенным на берегу небольшой речки. Ряд церквей высился на крутом берегу и как-то совершенно затмевал приземистые здания небольшого городка. На открытие съехалось много гостей. Четыре архиерея, и в их числе Преосвященный Серафим (Чичагов), тогда еще Кишиневский, который произнес пламенную проповедь о необходимости любить «нашу Православную, истинную, Русскую (с ударением) Церковь». Была также великая княгиня Елисавета Феодоровна, власти Тверской и соседних губерний и тетушка София Сергеевна Игнатьева, которая, помнится, укоряла Александру Сергеевну Дубасову, что последняя во время крестного хода смотрела откуда-то издали из толпы: «Матушка, мы не кто-нибудь, а

жены генерал-адъютантов, и наше место в крестном ходу, а не в толпе». Очень типичное для тети Сони замечание.

Осенью этого года, во второй половине сентября, я получил заграничный отпуск на месяц и отправился в путешествие. Основной целью была Италия, но по дороге я хотел заехать к Бибиковым, где тогда гостила Варуся с детьми, и к Ребиндерам, а также заглянуть в Снетин, где не был с 1904 года.

Начал с Москвы, где позвонил с вокзала к Трубецким и, узнав, что Соня там, взял извозчика и поехал в Узкое, где оставался до вечера, смотрел усадьбу и церковь начала петровского времени и ездил с Соней верхом по окрестностям, довольно живописным. Вернулся в Москву поздно вечером и сел в ночной поезд Рязанской железной дороги. Весь следующий день ехал по средней полосе восточной России, которую до того почти не знал — восточная часть Орловской и Воронежской губерний — с их бесконечными полями, почти безлесными, но, увы, изобилующими оврагами. В Старой Ивановке у Бибиковых я провел, кажется, два дня, и так как от них до Шебекина было по прямой линии не более 75 верст, а по железной дороге через Купянск нельзя было попасть скорее, чем в 12 часов, то я и попросил Ребиндеров выслать подставы и, выехав от Бибиковых после ужина на ночь, к пяти утра уже был в Шебекине, сменив по дороге лошадей в селе Дегтярном на большом шляху (дороге) и в ребиндеровском хуторе Марьине.

Дальнейший мой маршрут был на Полтаву — Лубны, где меня встретил молодой Протопопов, бывший ученик шебекинской школы, которого Санди рекомендовал нам для заведования Снетиным. Собственно говоря, хозяйства в Снетине не было, а земли сдавались разным арендаторам, и задача Протопопова ограничивалась тем, что он следил за соблюдением арендных условий, за сохранностью усадьбы и сдавал подесятинно некоторые земли, которые не были в долгосрочной аренде.

Должен сказать, что, при всей невзрачности снетинской усадьбы, у меня было к ней известное нежное чувство, и я немножко обдумывал в душе те меры, которые будут предприняты в будущем, когда буду жить там с семейством: подсадить второй ряд сосен вдоль аллеи, идущей к Суле, уст-

роить паром и разбить дорожки в лесочке, прилегавшем к противоположному берегу, где крупные тополя свешивались над рекой.

Как будущий помещик, я ездил еще к жившему в двух верстах кн. Н.Б. Щербатову, в то время полтавскому губернскому предводителю, считавшемуся хорошим хозяином и, по словам Протопопова, помогавшему ему советами.

Объехав в тот же день хутора, я вечером выехал на Киев и оттуда через Волочиск за границу. Провел день в Вене, где пополнил свой гардероб (помню, в первый раз купил серое летнее пальто, которому с тех пор остался неизменно верен), и взял поезд на Венецию, в котором случайно оказался мой товарищ Пустошкин, ехавший в свадебное путешествие. Поздно вечером мы были в Венеции, и я познакомился со странным чувством, которое испытываешь, когда, выйдя из дверей вокзала, неожиданно оказываешься на берегу канала и видишь ступеньки, спускающиеся прямо в воду.

Остановились мы (то есть я и Пустошкины) в Hôtel Luna, где у меня было назначено свидание с Мама, лечившейся в Киссингене и ехавшей оттуда к Боре в Афины. На этой почве произошло, между прочим, забавное недоразумение, так как, когда Мама утром приехала в Luna, швейцар, спутав, кто из ночных пассажиров был с женой и кто одиноким, сообщил ей, что M. Tatistcheff est bien arrive avec sa dame[1], так что Мама долго не знала, стучать ли ко мне в комнату или нет.

В Венеции мы оставались три дня. Смотрел музей и дворцы, ездил на Canale grande слушать вечером музыку, бродил по улочкам этого оригинальнейшего города в мире.

Из Венеции мы выехали вместе с Мама по железной дороге, тянувшейся все время вдоль Адриатического побережья, поездом, идущим в Бриндизи. В Foggia мы расстались и я взял поезд, идущий в Неаполь. В Неаполе оставался, думаю, дня четыре, так как успел побывать на Капри и в его двух знаменитых grottes и подняться на Везувий, откуда потом спустился в Помпею. Всего больше запомнился вид Капри со статуей Мадонны над бездной темно-синего моря; и странное впечатление от grott Bleua, где светится вода темно-синим переливом в абсолютной темноте самого грота.

---

[1] Мсье Татищев явился со своей дамой (*фр.*).

В Помпее раскопки были далеко не так подвинуты, как теперь, но и тогда охватывало какое-то жуткое чувство от мертвого города, с его длинными улицами домов без жителей.

Следующим, более продолжительным этапом — более недели — был Рим. В отличие от других городов, здесь я большею частью был не один. В Риме жил мой товарищ по Лицею Семирадский, сын художника, и из знакомых — Александр Николаевич Евреинов в посольстве и Маруся Врангель (рожд. Руффо). Кроме того, встретил при осмотре, кажется, Форума чету Тимашевых (Николая, племянника Мартенса) и Лили Данзас, путешествовавших, как и я. Благодаря этому можно было обмениваться впечатлениями от виденного.

И тем не менее Рим оставил во мне менее сильное впечатление, чем Венеция или Флоренция. Объясняю это тем, что Венеция, и Флоренция, и, скажем, Перуджия — это в каждом случае одна, определенная эпоха, затмевающая все, что не она, и оттого ярко сохраняющаяся в памяти. Рим же это конгломерат разных эпох — Императорской, Возрождения, Барокко, уживающихся одновременно и чуть-чуть заглушенных XIX веком. Кроме того, хотя и говорится Вечный город, но полной преемственности в нем нет и, например, в Форуме чувствуешь, что это реставрация, которой, например, житель Рима средневекового не знал и только смутно угадывал его существование под лугом городского кладбища.

Поэтому Рим смотришь, как музей, как место сосредоточения дивных произведений искусства (Ватикан и пр.), но духа его, настроения (le climat) проезжий путешественник, остающийся в нем всего несколько дней, уловить не может. Скажу более: Маруся Врангель (полуитальянка по крови и жившая в Риме подолгу) сказала мне, что лишь в это лето, когда она случайно оставалась одна в опустевшем городе, она впервые поняла и почувствовала весь шарм Рима.

Из интересных разговоров помню обед с Евреиновым, за которым я случайно коснулся вопроса о модернизме и в связи с этим узнал, что Евреинов если еще не официально, то в душе убежденный католик, и понял, что основное различие между нами и католиками не догмат о Filioque, а именно вопрос об Infaillibilité[1], который необходимо заканчивает и за-

---

[1] Непогрешимости (*фр.*).

вершает строго логическое построение западной церковности. Помнится, я в Риме купил книгу, излагающую теорию индульгенций, и, только прочтя ее, мог уразуметь, каким образом строго юридическому миропониманию наследников Рима было необходимо понятие «сверхдолжных» заслуг для оправдания мировой справедливости.

Кроме самого Рима, я ездил еще в окрестности по Via Appia и поездом в Narni к Марусе и ее отцу. В Narni дом был приспособлен, кажется, из старинного аббатства, и меня поразило, что Маруся с полным спокойствием смотрела на маленьких скорпионов, бегавших по стенам детской.

Расставшись с Римом и заехав по дороге в Перуджию, я провел потом три дня во Флоренции и по несколько часов в Генуе и Милане. На обратном пути заглянул между поездами в Варшаву и вернулся в Петербург, затратив в общем на эту интересную поездку не более пяти недель. В то время мне казалось, что Запад я всегда успею подробно осмотреть потом, когда состарюсь, и потому следующий мой отпуск я тогда же решил посвятить незнакомой мне части России — Туркестану.

Впрочем, на Рождество мне довелось еще раз поехать на Запад. Ника был летом 1909 года назначен ломжинским вице-губернатором, и когда в ноябре у них родился Федорка, меня пригласили его крестить. Ломжа была тогда одним из немногих городов Европейской России, лежавших в стороне от железной дороги, и на станции Червонный Бор, второстепенной линии, пассажиры садились в экипаж, кажется карету, ввиду зимнего времени, и ехали что-то вроде 15 верст. Город был крохотный (7000[1] жителей, кроме гарнизона), населенный главным образом евреями. Русских считалось 500 человек, почти исключительно чиновники с семьями. Губернское Правление, где была и квартира вице-губернатора, выходила на маленькую площадь Plac Ceruvni в возвышенной части города. И боюсь соврать, но мне кажется, что вода из ванной выливалась просто в шедшую вдоль тротуара канаву. Был еще маленький одноэтажный дом губернатора, кондитерская (цукерня). Вообще, масштаб, скорее, уездного города и, кроме войск и администрации, ничего русского. Даже в разговорах между

[1] По состоянию на 1897 г. в Ломже было 26 000 жителей.

собой местные чиновники говорили: «у нас в Царстве», «он поехал в Россию».

Из Ломжи, помнится, я поехал на юг навестить Варусю, которая с детьми гостила в полтавском имении Горчаковых — Ташань (Переяславского уезда). По дороге осмотрел Люблин с его очень интересными церквами (бывшими униатскими, южнорусского барокко) и, кажется, Холм. В Ташани провел не более двух дней; зима была бесснежная, и прогулки особого удовольствия не доставляли. Охотником же я не был никогда.



СЛУЖБА В ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ

(1911–1916)

В МУГАНИ И СРЕДНЕЙ АЗИИ

Я уже упоминал выше, что в конце 1909 года состоялось Высочайшее повеление об образовании Комитета по заселению Дальнего Востока и что управление делами было поручено Глинке. В связи с этим была образована маленькая канцелярия Комитета, куда вошли из канцелярии Совета Министров — Б.Р. Зейме и один канцелярский служащий для журнальной части, от канцелярии Кривошеина его секретарь Гершельман, а от Переселенческого управления вошел я. Первое время мы занимались в помещении Переселенческого управления, но затем под канцелярию дали комнату рядом с кабинетом Гершельмана, а так как в его кабинете места было много, то я и приютился там же. Вначале дела было много; первое заседание Комитета состоялось в январе 1910 года. В числе решений было поручение Министерству земледелия разработать проект земельного устройства приамурских казаков и утверждение проекта об учреждении Амурской экспедиции. Во главе последней был поставлен томский губернатор Гондатти, начало службы которого протекло на Дальнем Востоке. Управляющим делами экспедиции сделался В.Ф. Романов, начальником ее канцелярии переселенческий же чиновник Федор Васильевич Болтунов.

Если не ошибаюсь, настоящих заседаний Комитета Дальнего Востока было за весь 1910 год только три. Из них одно под председательством Кривошеина было посвящено рассмотрению многочисленных вопросов второстепенного значения; заседаний же по вопросам принципиального характера, в которых принимали участие сами министры, — было два. Во

втором рассматривался очень больной для Дальнего Востока вопрос о мерах борьбы с наплывом желтой расы. Опасения стратегического характера, с одной стороны, а с другой — общая тенденция столыпинской политики — Россия для русских понималась, на мой взгляд, слишком узконационалистически: требовали решительных мер к изгнанию из Приамурья китайских (и отчасти корейских) рабочих, арендаторов земель и т.п. Между тем в экономическом отношении край был далеко не подготовлен к такой мере и фактически рабочий рынок был процентов на 80 китайским, а на землях крестьян и главным образом казаков жили тысячами арендаторы корейцы и китайцы. Часть министров, поддерживаемая Столыпиным и ведомая Кривошеиным, высказалась за немедленное принятие ряда самых суровых мер к очищению рабочего рынка от желтых, не делая даже в этом отношении исключения для корейцев, принявших русское подданство. (Отчасти они были правы, так как например крепостные сооружения во Владивостоке строились вначале почти всецело китайским трудом, что, конечно, сильно облегчало возможность шпионажа.) Противником немедленной и резкой ломки экономического строя в Приамурье выступил Коковцов; вполне отдавая себе отчет, что его точка зрения не имеет шансов быть принятой, он все же с большим подъемом указывал на недопустимость некоторых отдельных мер и вообще на обреченность политики, идущей наперекор естественной обстановке страны и законов экономической жизни. Доводы его, впрочем, успеха не имели и повели только к смягчению или к отсрочке некоторых намеченных мер.

Мне лично доводы Коковцова казались убедительными, но общая тенденция в то время все более усиливалась в сторону национализма. Шла борьба с сепаратизмом Финляндии, а «Новое Время» уже начинало кампанию против засилья немцев.

Сам Столыпин, знаменитый своими яркими выступлениями в Госдуме, здесь почти не выступал и только вставлял отдельные замечания. Правда, в этом втором заседании мысли его были, пожалуй, заняты другим: это был, кажется, день, когда монах Илиодор поднимал народ в Царицыне, и власти не знали, как его унять.

Осенью 1910 года Столыпин вместе с Кривошеиным выехали в служебную поездку за Урал. Поездка была подготовлена Переселенческим управлением. Имелось в виду показать крупный успех, достигнутый за 1906—1909 годы и вместе с тем убедить, что дальнейший рост колонизации Сибири неосуществим без постройки Южно-Сибирской магистрали. Сопровождали министров Глинка и его помощник Иван Иванович Тхоржецкий («золотое перо»), написавший действительно мастерски отчет об этой поездке.

Тем самым дела в канцелярии Дальнего Востока совсем замерли, и я со спокойной совестью решил взять в конце августа отпуск, который на этот раз хотел посвятить Туркестану, о котором уже давно мечтал. Вместе с тем, узнав, что туда же едет помощник управляющего отделом земельных улучшений нашего же министерства Сергей Павлович Максимов и что он попутно заедет осматривать оросительные сооружения в Муганской степи на Кавказе, я сговорился с ним встретиться в Тифлисе и дальше ехать вместе.

По дороге я, как обычно, заехал на денек-другой в Шебекино, а затем поездом на Кавказ, как было условлено, в канцелярии уполномоченного нашего министерства встретился с Максимовым, с которым на другой же день ездил в орошаемое имение нашего ведомства Караязы (невдалеке от Тифлиса), а еще через день поехали на Мугань.

Муганская степь — обширное пространство на нашей границе с Персией — намечалась к орошению из реки Аракса. Проект предусматривал три канала: один из них, нижний, был закончен несколько лет перед тем и на его системе сидел уже ряд русских и татарских сел (Воронцовка, Дашовка и др.). При быстроте роста деревьев и при богатстве почвы орошаемого района русские поселки имели уже вполне обжитой вид и, скажу более, зажиточность населения бросалась в глаза. При нас шли работы, кажется, на среднем и отчасти верхнем канале, но исключительно земляные. Помню, я верхом доезжал до линии границы и даже немножко заехал на ту сторону, чтобы иметь право сказать, что «был в Персии».

Бичом населения была, к сожалению, малярия, единственным способом борьбы с которой была хина; ею переселенческие поселки снабжались бесплатно из устроенных там Переселенческим управлением фельдшерских пунктов. Если

не ошибаюсь, в известные периоды года населению рекомендовалось ежедневно принимать хину; в остальные же месяцы раз или два в неделю. В случае острых заболеваний переселенческий доктор, специально изучавший этот вопрос, рекомендовал в течение недели принимать хину маленькими дозами 7—8 раз в день.

Максимова сопровождал молодой инженер Ризенкампф. Если не ошибаюсь, он не был путейцем, а окончил инженерное отделение Политехникума в Лесном — одно из лучших учебных заведений в России, чрезвычайно талантливо поставленное его первым директором кн. Андреем Григорьевичем Гагариным. Ризенкампф, жгучий брюнет, был полон энергии и в спорах утверждал безапелляционно превосходство над всеми профессиями инженерной, строителей жизни. В то время он только еще вступал в жизнь, но подавал большие надежды. Впоследствии мне удалось с ним встретиться в Туркестане, где он во главе изыскательной партии составлял проект орошения северо-западной части Голодной степи и задумал свой проект чрезвычайно широко и всесторонне, ему хотелось дать план новой страны, предусмотрев все ее нужды. Так, например, на окраине орошаемого района, где лессовые плодородные земли переходили в песчаную пустыню, он проектировал чуть ли не исключительно район виноградников, которые можно разводить на песке. В составе своей партии он имел не только инженеров-техников, но и специалистов по экономическим вопросам. Судя по газетам, он был потом автором одного из грандиозных проектов обводнения северо-восточных губерний Европейской России. Бесспорно привлекающий в большевиках энтузиазм строительства должен был чрезвычайно подойти характеру Ризенкампфа: в инженерной работе его именно привлекала возможность строить новую жизнь, не стесняясь рамками всего существующего, традиционного. Вообще, из всех инженеров Отдела земельных улучшений Ризенкампф был наиболее даровитым и привлекательным.

Покончив с Муганью, наша компания села в Баку на пароход и через 12 часов пристала к Красноводску, начальному пункту Среднеазиатской железной дороги. На этот раз море оказалось ко мне благосклонным, хотя меня пугали, что в смысле качки Каспийское море одно из наименее приятных.

Трудно представить себе город, безотраднее Красноводска. Ряд улиц с низенькими домиками в равнине, окаймленной совершенно безлесными, красноватого цвета, горами. И нигде ни деревца, только перед вокзалом «городской сад», чуть-чуть побольше обычных в России привокзальных палисадников, с низенькими, чахлыми деревцами семейства солянковых, то есть не имеющих листьев, а напоминающих полынь. Дело в том, что ни в Красноводске, ни в окрестностях не удалось прорубить колодца и вся питьевая вода, в том числе и вода для поливки «городского сада», получалась из железнодорожного опреснителя.

Через несколько часов после прихода парохода мы сели в поезд Средне-Азиатской железной дороги, удививший меня своими сплошь белыми вагонами, и мы потянулись по степи, абсолютно гладкой, как стол; в смысле растительности, своего рода репейник, напоминающий наше «перекати поле». Цепь невысоких гор, граница наша с Персией, показалась вскоре с правой стороны и тянулась до Ашхабада.

Первой остановкой нашей было Мургабское Государево имение, Байрам-Али, где Максимов, кажется, во время оно работал при постройке оросительных сооружений. История этого имения довольно своеобразна, и ее стоит напомнить.

В Закаспийской области запас годных для земледелия земель неизмеримо больше той площади, которую можно оросить водою местных рек; тем более обидно, что часть воды, а именно воды паводков, которые наполняют реки в период таяния снегов в горах, пропадают бесплодно, так как ее нет возможности направить в оросительные каналы, а затем, так как ирригационное хозяйство требует известной равномерности полива полей, в продолжение всего вегетационного периода. Между тем если воду паводка направить в специально устроенное в русле реки водохранилище, то можно ее потом постепенно использовать в период маловодья, и тем самым оросить новые районы. По условиям местности долина р. Мургаб позволяла устройство таких водохранилищ и после присоединения края к России (в 1881 году), Государь отпустил из своих средств сумму для устройства хозяйства на землях, орошаемых водою, сбереженною во время паводков. Были устроены две плотины — Султан-Бенд и Иолотань и гидроэлектрическая станция в урочище Гирендукуш.

Отрицательной стороной этого хозяйства было то, что водохранилища сильно заиливались: если не ошибаюсь, лет через 15—20 надо было строить новые, так как существовавшие при мне должны были утратить свою роль (чистить их стоило бы слишком дорого). По условиям местности можно было, по словам инженеров, устроить в верховьях Мургаба еще одно или два новых водохранилища, но когда и эти оказались бы занесенными илом, тогда все хозяйство Байрам-Али должно было бы тоже прекратить свое существование (разве если наука и техника изобрели бы к тому времени новые приемы постройки или очистки водохранилищ). Оттого надо всем предприятием тяготело какое-то чувство временного, преходящего. По той же причине, что плодородных земель гораздо больше, чем воды для их орошения, никто не заботился в имении о сохранении плодородия почв. Когда начинали замечать, что поля данной площади дают меньший урожай, площадь забрасывалась и оросительный канал протягивали далее к еще нетронутому участку. Надо заметить, что собственно хозяйства, в нашем понимании слова, имение не вело. Вся земля сдавалась в аренду туземцам из доли урожая. Кроме того, имение извлекало доход от эксплуатации большого хлопкоочистительного завода, оборудованного по последнему слову тогдашней техники.

Управляющий имением дал нам экипаж, и мы поехали смотреть Гирендукушскую станцию гидроэлектрической передачи, снабжавшей электрической энергией все имение с его заводом и ближайшее из водохранилищ — Иолотанское (верст 35 от имения). Дорога шла вдоль оросительного канала и была обсажена с обеих сторон плакучими деревьями, образующими как бы длинный коридор, по которому быстро и легко бежали наши лошади. И Гирендукуш и Иолотань производили грандиозное впечатление.

Между прочим, в Мургабе меня поразила справедливость поговорки que le monde est petit[1]. В имении все вспоминали уехавшую незадолго оттуда Ольгу Львову (рожд. Штюрмер), муж которой там служил несколько лет и которая сама молодые свои годы провела у нас в Беляницах и Полтаве, а Иолотанской плотиной заведовал офицер, который, оказалось, по-

[1] Как тесен мир (*фр.*).

мнил меня мальчиком, так как учился в полтавском корпусе и приходил к нам на танцклассы.

На следующий день я ездил в так называемый Старый Мерв, обширное пространство между имением и нынешним городом Мервом; почти вся площадь заполнена развалинами; едешь по черепкам и обломкам кирпичей; кое-где виднеются остатки стен, и только по обширности этого пространства угадываешь, что здесь был когда-то значительный город, исчезнувший неизвестно когда и неизвестно почему. В районах орошаемого хозяйства — истребление городов и их населения достигалось в старину без труда: противник отводил воду, и город бывал вынужден сдаться; население избивалось, и стены домов, выложенные из *необожженного* кирпича, быстро разваливались. Вообще древнее население Туркестана, известного еще по походам Александра Македонского, было едва ли не значительнее нынешнего. Местные легенды (правда, по восточному обычаю, вероятно, прикрашенные), например, уверяют, что было время, до нашествия Тамерлана, когда кошка могла пробежать по кровлям домов от Бухары до Самарканда. Теперь же большая часть этого пространства — мертвая степь, по которой бродят стада баранов, и лишь небольшая сравнительно площадь занята оазисами и долиной Зарафшана.

Из Мургаба Максимов и Ризенкампф ехали прямо в Ташкент; я же решил заехать по дороге в Бухару и в Самарканд. Первая не представляла, впрочем, большого интереса: обычный туземный город с домами, окруженными земляными стенами (дувалами), и с окнами, смотрящими во внутренний двор. Самарканд же действительно интересен своими мечетями Тамерлановой эпохи, выложенными лазоревыми изразцами. В Константинополе все мечети следуют замыслу св. Софии, здесь же художественный замысел воплотился главным образом в причудливой и яркой орнаментировке входной стены монументальных размеров. К сожалению, Самарканд находится в сфере землетрясений, и эти чудеса мусульманского искусства, вероятно, обречены на исчезновение.

Из Самарканда я проехал в Ташкент, где с большой радостью встретился с А.В. Успенским, который незадолго перед тем был назначен туда начальником Туркестанского управле-

ния земледелия, и был, кажется, также рад меня видеть. Много рассказывал мне о Туркестане и между прочим повел меня с визитом к живущему в Ташкенте опальному великому князю Николаю Константиновичу, который любил болтать с Успенским и рассказывать ему всякие сплетни про Петербург и великих князей.

Положение великого князя было довольно своеобразное: за ним был сохранен титул, но из военной службы он был исключен и лишен мундира и орденов. История его проступка была довольно темная: видимо, по его приказанию его адъютант заложил бриллианты, выкраденные у его матери великой княгини Александры Иосифовны. Дело раскрылось: адъютант ушел в отставку, а великого князя признали как бы клептоманом и выслали сперва в Тверь, потом в Оренбург. В Оренбурге он тайком женился на дочери полицмейстера, после чего их обоих выслали в Ташкент. Здесь он заинтересовался вопросами орошения: в частности, его прельстила мысль оживить Голодную степь — обширное пространство, сохранившее следы былой оросительной системы. Деньги у великого князя были, он кликнул клич рабочим и повел оросительный канал, которому дал название канала императора Николая I. Одно или два лета он, кажется, даже жил в степи, одетый в туземное платье вместе с женой. Потом он несколько охладел и бросил дело неоконченным. Все же результатом его работы оказалось образование нескольких русских поселков в пойменной части р. Сырдарьи и около линии Среднеазиатской железной дороги. Впоследствии, когда казна начала свои оросительные работы в той же степи, часть его канала вошла в общую схему проекта в качестве распределительного канала, и великому князю в возмещение его затрат дали в собственность, кажется, 2000 десятин у станции Голодная степь, что составляло, в сущности, немалую ценность.

Впоследствии великий князь возобновил еще одну оросительную систему в Ташкентском уезде (Искандер-арык), затем устроил рабочий поселок под самым городом и сдавал выстроенные им дома в аренду, приобрел ряд домов в городе и построил единственный в городе кинематограф «Хива», аренда которого тоже приносила ему немалый доход. Сам он жил в небольшом двухэтажном доме со своей женой Надеждой Александровной, получившей, по его ходатайству, фа-

милию Искандер (Искандер — мусульманское имя Александра Македонского), хотя в городе жила его дама сердца, Чесовитина, от которой он имел тоже нескольких детей и с которой часто показывался, катаясь в коляске по городу или сидя в ложе в кинематографе. Носил он нечто вроде туземного халата, а на голове киргизскую войлочную шапочку.

Официальных актов он, впрочем, не совершал, и денежною частью ведал «состоящий при генерал-губернаторе по делам великого князя Николая Константиновича» полковник Белов. Оригинальной особенностью его было пристрастие к красному цвету. Аллея перед его домом была посыпана красным песком. Красного цвета была «Хива», и в розовый окрашены все принадлежавшие ему в городе дома. Красными же были дома рабочего поселка, с очень своеобразными двумя колонками с каждой стороны (уверяли, что это смягченно фаллическая форма).

Меня с Успенским принимала в его присутствии Надежда Александровна, очень странно одетая: темно-красное бархатное платье с бирюзовыми брошками и колье. Но разговор был, по существу, малоинтересным.

Должен сказать, что, когда впоследствии я сменил Успенского в Ташкенте, мне не удалось снискать с великим князем тех отношений дружеского расположения, которыми пользовался Успенский. По приезде в Ташкент я у него расписался, и он прислал мне свою визитную карточку, но к себе не приглашал. Позднее, встретившись с Мама, он сказал, что хочет приехать с визитом, и был у нас (без жены, которой, впрочем, кажется, не было тогда в Ташкенте), не в халате, конечно, а в старомодном черном, застегнутом на все пуговицы, сюртуке. (Незадолго перед тем, на открытии памятника Кауфману, в походе которого он участвовал, великий князь стоял один в стороне от группы официальных лиц, весь в черном: черный френч и черный тропический шлем. Не очень целесообразно при туркестанской жаре, но чрезвычайно эффектно, особенно при его высокой романовской фигуре.)

После этого визита он прислал мне в подарок фотографию с сделанной для него картины Репина (или Поленова) — Христос, благословляющий людей, орошающих пустыню.

В дальнейшем я часто получал от него записки, главным образом подтверждающие, что он, как ороситель Голодной степи,

«пожаловал» такие-то земли таким-то крестьянам, чем ставил меня в очень трудное положение, потому что его «пожалования» не могли никогда служить юридическим актом для отчуждения казенных земель, а претензии крестьян основанных им поселков очень затрудняли орошение, начатое в последние годы Министерством земледелия. Мне приходилось по этому поводу писать подробные объяснения полковнику Белову. Не знаю, как он их докладывал великому князю, но некоторый холодок на этой почве между нами остался, о чем я очень жалел, потому что личностью великий князь был незаурядною и во всяком случае интересною. При моем отъезде он написал мне, впрочем, сердечную записку с пожеланием дальнейшего успеха и приехал проводить нас с Мама на вокзал.

Из Ташкента Успенский устроил мне поездку в Чимган, горный массив верстах в 60 от города, где лесничий вел довольно интересные лесные посадки, чтобы предупредить в будущем повторение селевых потоков, обрушивавшихся несколько раз на близлежащие селения. Для этого склоны оврага, в котором наблюдались «сели», террасировались и обсаживались деревцами. Идея в том, что залесенные уступы должны были замедлять сток дождевой воды после гроз и тем помешать мгновенному образованию грозных потоков, способных разрушить дома и смыть посевы.

Кроме того, я, помнится, ездил еще в Ферганскую область, где Успенский советовал посмотреть единственный в Туркестане нефтяной промысел около станции Чимион.

Обратный путь в Петербург я проделал по Ташкентской дороге через Оренбург, мимо станции Аральское Море. Дорога идет все время безлюдными степями с зарослями саксаула, своеобразного дерева типа солянковых, без листьев, но со стволами, короткими, очень корявыми, но достигающими довольно большой толщины (до 10 сантим.) и очень тяжелыми. Высохшие стволы саксаула местные киргизы собирают и вывозят к станциям железной дороги, откуда их вагонами везут в Ташкент и другие города Туркестана, где они считаются самым лучшим, хотя и довольно дорогим топливом. Между прочим в этом был главный доход лесничеств Сырдарьинской области. За станцией Аральское Море начиналась совершенно обнаженная от растительности полоса барханов (двигающихся песчаных холмов). Должен сказать, что впечатления обратно-

го пути были у меня несколько испорчены тем, что у меня в Ташкенте начался на руке нарыв, который пришлось по приезде в Петербург вскрывать. Оттого был жар и сильно все время болела голова.

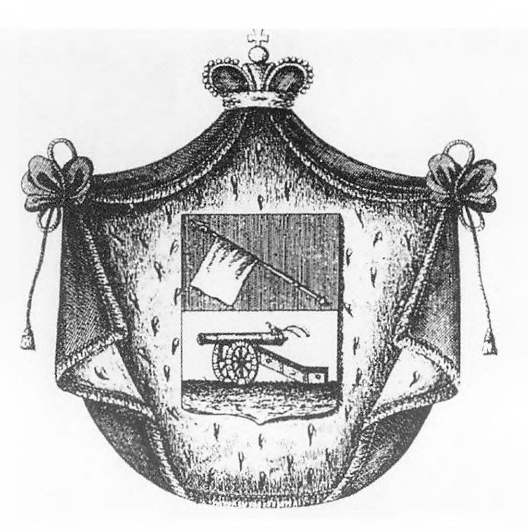
В декабре были опять дворянские выборы в Твери, последние, на которых мне пришлось быть, и оставившие по себе опять неприятное впечатление. Борьба шла вокруг избрания губернского предводителя. Головин стал за последнее время еще хуже видеть и технически явно не годился для этого поста, связанного с председательствованием в Земских собраниях. Он отказался баллотироваться, и никто его даже для вида не просил об этом. Правая группа была численнее левой, но в ее среде не было единодушия. Крайнее крыло хотело провести губернским предводителем Владимира Гурко, бывшего товарища министра внутренних дел, человека чрезвычайно талантливого, но перед тем замешанного в так называемом «деле Лидваля», связанного с закупками зерна во время продовольственной кампании. Суд в свое время признал его виновным в превышении власти, но левая печать, ненавидевшая его за его правизну, сделала все возможное, чтобы набросить на него тень, и до некоторой степени успела, обнаружив, что он поддался советам некоего Лидваля. Поэтому многие и из правого крыла (я в том числе) считали, что человек, хотя бы и лично совсем честный, но вертевшийся в несколько темных кругах, не должен быть избираем на главным образом почетную должность губернского предводителя дворянства, как будто не было в составе тверского дворянства людей абсолютно незапятнанных.

При предварительных подсчетах оказалось, что сторонников Гурко недостаточно, чтобы провести его против объединенных голосов левых и не желавших его правых. В результате собрание уперлось в тупик, так как никто не шел баллотироваться, идя на верный провал. Правыми внешне руководил Штюрмер (впоследствии премьер). Видя безысходность положения, он сделал попытку выдвинуть кандидатуру дяди Сергея Борисовича Мещерского, но в своей речи (среди правых) очень неудачно подчеркнул слова «человек безусловно порядочный», чем поднял на дыбы сторонников Гурко. Часов около 11 вечера левые предложили компромисс: баллотировать короческого предводителя Корфа и Нику. При пробной балло-

тировке этого предложения на собрании правых эта комбинация получила достаточное количество голосов, чтобы вместе с левыми (которые всегда голосовали дисциплинированно) получить большинство в собрании. Но при окончательной баллотировке получился подвох (несомненно, со стороны правых). Корф прошел прилично, но Ника оказался «не избран» (поровну избирательных и неизбирательных голосов), так что пришлось продолжать баллотировку (требовалось по закону избрание *двух* кандидатов, из которых один утверждался Государем, а другой отпадал). Тогда выдвинули кандидатуру бывшего в свое время бежецким уездным предводителем Паскина (члена Госдумы), правого, но менее одиозного для левых, чем Гурко, и при баллотировке он получил неожиданно больше голосов, чем Корф. Видимо, левые за него голосовали, боясь возобновления кандидатуры Гурко. В результате в неприятном положении оказался Ника, совершенно не собиравшийся идти в предводители и согласившийся по совету Штюрмера баллотироваться, только чтобы вывести собрание из тупика и дать пройти вполне приемлемому для обеих сторон кандидату Корфу. У меня от этих выборов осталось очень тягостное впечатление. Было ясно, что Нику положила налево часть правых, голосовавших за него при предварительной баллотировке в группе. То есть была допущена явная провокация в собрании сословия, всегда подчеркивавшего свое «благородство», и со стороны именно той его части, которая особенно любила говорить о «благородном» дворянстве.

Приятным зато воспоминанием этой зимы было назначение меня к 6 декабря (именины Государя и совпадающий с ним день моего рождения — 25 лет), камер-юнкером. Назначение состоялось по просьбе Глинки, но не по Переселенческому управлению (чиновникам Министерства земледелия придворные чины давались редко), а по канцелярии Комитета Дальнего Востока, по письму Столыпина. Придворное звание всегда льстило, и получить его было очень приятно.

Тотчас по назначении сшил себе «малый мундир», весь в галунах, а «большой», весь *в шитье*, я сшил себе только в 1912 году и так ни разу его не надел, так как в провинции его не надевали, а в Петербурге мне не пришлось быть на выходах по случаю романовских торжеств, для которого я его готовил.



Герб графов и дворян Татищевых



Алексей Никитич Татищев
(1846–1896),
Папа

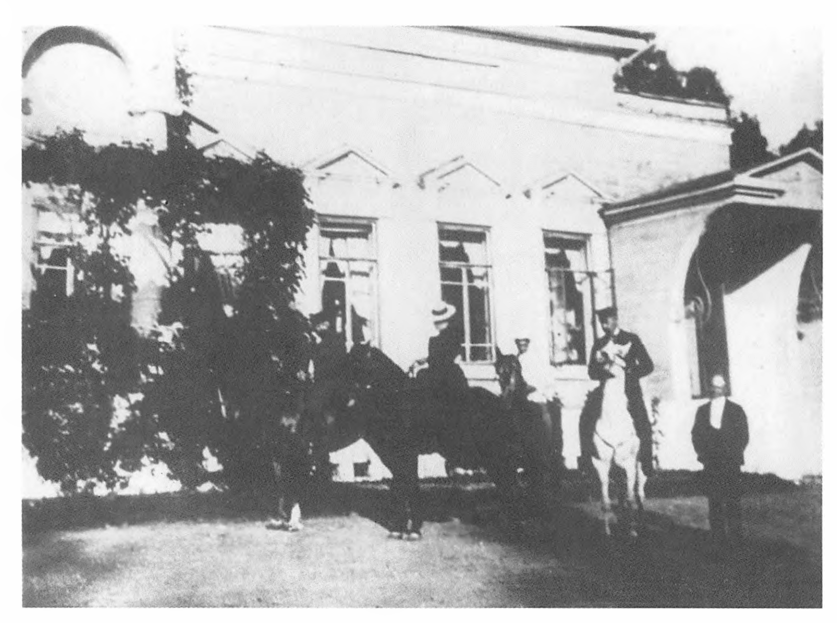


Екатерина Борисовна Татищева
(урожденная княжна Мещерская,
1848–1930), Мама

Леша Татищев в три года



Братья и сестры Татищевы. Сидят: Екатерина и Борис.
Стоят (слева направо): Алексей, Никита, Софья. 1900



В усадьбе Беляницы



Алексей Татищев с товарищем в зале Лицея



Алексей Татищев в Лицее. Начало 1900-х годов

Выпуск Лицея. 1906. В третьем ряду в центре Алексей Татищев



А.А.Татищев с Мама в Ташкенте

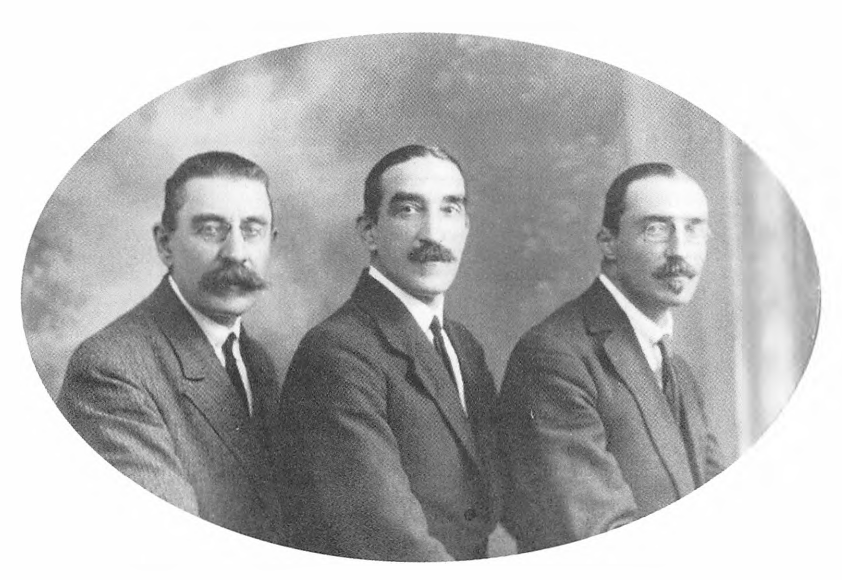


Григорий Вячеславович Глинка
(1862–1934)

А.А.Татищев (шестой слева) и Г.В.Глинка (третий слева) среди коллег



А.А.Татищев и Г.В.Глинка (в первом ряду).
Константинополь, конец 1922 года



Братья Татищевы (слева направо): Борис, Никита и Алексей.
Париж, 1928



А.А.Татищев с женой Юлией Владимировной (урожденной Буторовой) и дочерью Марией. Париж, 1927

6 января 1911 года я был на выходе в Зимнем дворце, но особенного впечатления не вынес: глаза разбегались, а затем камер-юнкеры идут впереди и из-за этого мало видят.

По случаю пожалования придворного звания разрешалось просить представления Государю и императрицам. Императрица Александра Феодоровна, впрочем, не принимала, и запись на представление Ей носила чисто формальный характер.

Представление Государю происходило в Зимнем дворце. Представлялось нас человек сорок, выстроенных длинным рядом в одной из зал дворца. Государь обходил всех и ставил каждому два-три вопроса. Меня спросил, бывал ли я в Сибири и где, и, когда я вкратце перечислил мои поездки, сказал: «Так что вы хорошо знаете Сибирь, это будущее России».

Оглядываясь теперь назад, спрашиваю себя, почему я и при этом представлении, как и при предыдущем по окончании Лицея, не испытывал того чувства трепета перед властью и обожания к монарху, о котором так часто рассказывалось и читалось в отношении наших отцов и дедов. Отчасти это объясняется, может быть, тем, что это чувство вообще исчезло у людей нашего поколения, но только отчасти, потому что в иной обстановке оно проявлялось. Вспоминаю, как приблизительно тогда же, 19 февраля 1911 года, был назначен съезд к обедне и молебну в Казанский собор по случаю 50-летия освобождения крестьян. И когда в конце обедни распахнулись большие (обычно закрытые) ворота собора, и в них появился Государь с Императрицей Александрой Феодоровной — в горле защипало и что-то защемило в груди.

Думаю, что слабое место представлений того типа, в котором я участвовал, было в том, что обход людей, выстроенных длинным рядом, с двумя-тремя словами каждому, лишает церемонию величественности и в то же время не дает обаяния *личного* разговора.

Было еще одно обстоятельство, которое ощущалось в подобных случаях «штатскими», это чувство, что Государю ближе военные. Явление это было вполне естественным. Государь более знал военных, и при представлении бывших военных или сыновей военных как-то естественно была тема для разговора. Но это сознание inférité[1] как-то неприятно ощущалось штатскими.

---

[1] Незначительности (*фр.*).

Вспоминаю по этому поводу рассказ Глинки, который прямо как-то боготворил «Царя» как идею. В начале войны он представлялся Государю (вероятно по поводу назначения Главноуполномоченным по заготовке хлеба для армии). Государь его спросил по поводу некоторых затруднений, которые в первое время происходили на почве соотношений наших чиновников с военными интендантами. Когда Глинка доложил, что дело наладилось, Государь сказал: «Ну очень рад, а то я побаивался, что мои военные в этом виноваты». На что Глинка, по его словам, с некоторой горечью заметил: «А мы-то разве не Ваши, Ваше Величество?» Государь на это мило улыбнулся, но ничего не сказал. В сущности, так и было. Военные были ему более «своими» — результат того, что все Великие князья получали военное образование и несли службу в одном из полков гвардии, и что свита их состояла исключительно из военных. Виноваты, с другой стороны, были мы: обстановка «представлений» как-то связывала и то, что мы говорили, бывало, в сущности, деланно и, может быть, не всегда даже искренне; во всяком случае «непросто».

В конце мая я представлялся Императрице Марии Федоровне в Аничковом дворце. В кабинет Императрицы нас вводили по двое. Я был с Никой Ламсдорфом. Здесь как-то чувствовалось проще и интимнее. Императрица спросила про Мама, которую Она, кажется, любила, а когда зашла речь о моей поездке во Владивосток, сказала: «Vladivostok, mais c'est affreusement loin!»[1]. Не величественно, но обаятельно мило: говорила с вами так, как будто Ее действительно искренне интересует все вас касающееся. Это был именно тот дар, которым Высочайшие могли к себе привлекать сердца подданных.

Весною 1911 года я расстался с Петербургом и в продолжение следующих пяти лет бывал в нем только наездами.

Служба в центральных учреждениях понемногу начала меня тяготить. В декабре 1910 года мне минуло 25 лет, и стало хотеться самостоятельной, ответственной работы, хотя бы и в сфере более узкой по своему масштабу. Я всегда любил пословицу: «Mon verre est petit, mais je bois dans mon verre»[2], и

---

[1] «Владивосток, но он ужасно далеко!» (*фр.*).

[2] Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана. — А. де Мюссе (*фр.*).

предпочитал сделать десять небольших дел, от которых будет хоть небольшая польза; чем работать и отдавать все время составлению справок и записок, по которым когда-то кто-то наверху стоящий, может быть, примет, а может быть, и не примет какое-то решение большого значения. А ведь к этому главным образом и сводилась работа чиновников в центре. «Справка для министра» по такому-то вопросу, это было важное дело, требовавшее большой подготовительной работы. Но само *решение* принималось не вами, а наверху, часто под влиянием разных соображений вам неизвестных, вы же оставались всегда составителем справок, подготовляющим материал.

Наряду с этим нарастало желание переменить вообще обстановку. Светская жизнь утратила прелесть новизны, а с сердечными делами обстояло тогда неважно: шансов на успех у меня не было — я это сознавал отчетливо.

Припоминаю, что в конце 1910 года я поделился моими мыслями с Глинкой и спросил его, не согласился ли бы он назначить меня куда-нибудь помощником заведующего районом (должность заведующего водворением я уже иерархически слишком перерос). Что в противном случае я, пожалуй, попробую пройти в бежецкие предводители дворянства на предстоящих тогда выборах. Глинка отнесся к моим словам с большим вниманием и сердечной теплотой, но сказал, что считает меня вполне созревшим и подготовленным для должности заведующего районом. Поэтому не советует идти в помощники, а ждать, пока где-либо откроется вакансия на район, которую он мне охотно предоставит.

Случай представился даже раньше, чем я ожидал.

В ПРИМОРЬЕ И НА САХАЛИНЕ

В начале 1911 года в Петербург вернулись члены Амурской экспедиции, в том числе и В.Ф. Романов, бывший в экспедиции управляющим делами. Он привез, между прочим, сведения, что во Владивостоке ходят усиленно слухи о крупной карточной игре, которую ведет в клубе наш заведующий районом. В феврале В.Ф. Романов получил по тому же поводу письмо от Шликевича, указывающее на необходимость каких-

то мер к предупреждению скандала. Надо сказать, что в свое время Глинка не хотел утверждать Савинского преемником Шликевича и сделал это только по усиленным настояниям Романова. Поэтому последний считал себя морально обязанным доложить Глинке о своем разочаровании в Савинском и посоветовал переместить его в другой район. Насколько помню, одновременно шла речь о желании ухода в отставку заведующего Амурским районом Каффки. После подробного обсуждения вопроса в Управлении пришли к заключению, что перевод в Благовещенск, где нет соблазнов портового города, сможет удержать Савинского на его наклонной плоскости, с большой к тому же пользой для дела, так как в Благовещенске, после инертного Каффки, требовался именно человек большой энергии, способный всколыхнуть тихую заводь Амурского района. Во Владивосток же заведующим переселенческим делом в Приморском районе предполагалось назначить меня.

На посланный в этом смысле запрос приамурскому генерал-губернатору незадолго перед тем назначенный на этот пост Гондатти ответил согласием, и я стал готовиться к отъезду.

Мама моим планам не препятствовала и только просила меня не отказываться от перемещения в другое место, ближе к Петербургу, если бы это мне было впоследствии предложено, что я охотно ей и обещал.

Выехал я, кажется, на Святой неделе и днем 23 апреля был во Владивостоке.

Первые дни я прожил в гостинице, а затем перебрался в здание переселенческой канцелярии, где заведующему районом полагалась квартира в четыре комнаты с ванной и кухней. Со мной приехал из Петербурга нанятый мной лакей Григорий, который умел готовить недурно несколько блюд.

Здания переселенческого пункта были расположены на окраине города, на так называемом Эгершельде, узком полуострове между Золотым Рогом и Амурским заливом. Выстроены они были в 80-х годах XIX столетия при первом заведующем переселенческим делом в Южно-Уссурийском крае Ф.Ф. Буссе, портрет которого висел в моем кабинете. В то время железной дороги еще не было, и переселенцы приезжали морем из Одессы; поэтому и бараки переселенческого пункта были расположены за городом, но невдалеке от пристани Добровольного Флота. Впоследствии пространство у

берега было занято путями Уссурийской ж. д., а земли по ту сторону дороги, идущей по гребню Эгершельда, отведены под форты Владивостокской крепости, которая в годы, когда я жил во Владивостоке, значительно расширилась и усилилась.

Центром жизни в городе была Светланка, длинная улица, тянувшаяся по скату горы по-над Золотым Рогом, глубоко вдавшимся в материк заливом. Здесь были дом губернатора, дом командира порта, крупные здания универсальных магазинов Чурина и Кунст и Альберса, здания банков, Собор.

Небольшая улица — Алеутская — вела от Светланки к вокзалу и переходила дальше в Эгершельдское шоссе. Налево были церковь и часть казарм 1-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, а затем начинались здания переселенческого пункта: дом заведующего, бараки, больница. Направо от дороги высилась Тигровая гора, на верху которой развевался днем крепостной флаг, а затем шло пустопорожнее пространство, в середине которого выделялся одноэтажный каменный дом начальника дивизии, а затем в «военную территорию» врезывалась обнесенная дощатым забором наша небольшая усадьба с двумя домиками: в большом помещалась канцелярия и жил заведующий переселенческим делом, во втором (кажется, в три комнаты) — его помощник. Сзади к домам примыкал дощатый сарай, а если выйти за забор и подняться еще шагов на тридцать, то перед вами расстилалась внизу синяя вода Амурского залива и виднелись вдали сопки (горы) противоположного берега. Вид был захватывающий. К сожалению, там нельзя было ни строиться, ни ставить беседок: непосредственно рядом с вами, слегка спустясь, была расположена, скрытая с моря зеленым лугом крепости, батарея большого калибра. В дни учебной стрельбы нам приходилось держать окна приотворенными, иначе стекла не выдерживали. В общем, от нашего дома до Светланки было моего хода минут 20. В сухую погоду это создавало возможность приятной прогулки, но в дождь идти было плохо. Тротуар начинался только от вокзала, по шоссе же грязь бывала порядочная.

Из окон канцелярии был красивый вид на изгиб Золотого Рога с его эскадрой: пятитрубным «Аскольдом», небольшим «Жемчугом», на котором обычно держал свой флаг командующий эскадрой, и несколькими миноносцами. Обычно несколько коммерческих пароходов разнообразили рейд. Справа вид-

нелся массив Русского острова, замыкающего вход в бухту, напротив опять лесистые склоны сопок, за которыми лежал Уссурийский залив. Наконец, влево виден был Владивосток с его улицами, вбегающими вверх по склону Золотой Горы.

Занятия в канцелярии начинались, как обычно в русской провинции, в 9 часов утра и длились до часу, когда все расходились обедать. (Надо сказать, что все служащие канцелярии, которых было человек пять или шесть, имели комнаты и жили на переселенческом пункте в здании персонала.) Собирались опять к пяти часам и работали обычно до семи. Исключение составлял мой помощник, Андрей Григорьевич Коровин, который редко уходил к себе раньше 8½ часов вечера, а обычно засиживался до 9—9½. Я же, с моей приобретенной в Петербурге привычкой поздно вставать, обыкновенно приходил в мой служебный кабинет около 10 утра, но и вечером зато работал до 10—10½, прерывая только занятия на полчаса, чтобы около восьми поужинать. По воскресеньям канцелярия не собиралась, за исключением Коровина, который в церковь не ходил, а занимался все утро, нагоняя то, чего не успевал сделать за неделю.

Мне жаль, что у меня нет писательского таланта и что не могу поэтому выпукло очертить облик того удивительного человека, которым был Коровин. Родом он должен был быть из очень бедной семьи и образование получил на казенный счет по стипендии в одном из землемерных училищ, которые по общему правилу давали людей серых, без всякого образования. Когда в Приморской области начались работы по отводу переселенческих участков и образована была Уссурийская землеотводная партия, Коровин был назначен в ее состав, сперва, кажется, землемером, потом производителем работ. В качестве такового он изъездил и исходил весь Уссурийский край, во всяком случае весь прилегающий к железной дороге район, в котором после 1900 года стали отводиться переселенческие участки. Война 1904—1905 годов прервала на время его землеотводную работу, так как он был призван прапорщиком и провел войну в Маньчжурии (помню, что на его шпаге был красный Анненский темляк, первая на войне награда). После войны его назначили заведующим водворением на Иман, откуда он перешел во Владивосток и при Савин-

ском стал помощником районного, а фактически cheville-ouvrière[1] всей организации.

Как я уже упоминал, трудолюбие и усидчивость его были удивительны. Почти все свое время он проводил в канцелярии и, кажется, только первый день Рождества и первый день Пасхи позволял себе, в виде исключения, проводить у себя.

Роста он был среднего, довольно плотный, он был не словоохотлив, сидел всегда слегка насупившись, но подчас усмешливая улыбка пробегала по его лицу. Невозмутимость его была предметом ряда анекдотов. Рассказывали, например, что, когда он был подрайонным, происходила такая сцена: переселенец из нехозяйственных просил ссуду. Коровин, выслушав и рассмотрев его дело, ему в ней отказывает и, обращаясь к своей работе, начинает что-то писать. Тот возражает, настаивает, умоляет, наконец начинает ругаться, а Коровин все пишет, как будто того и нет в комнате, наконец мужичонка не выдерживает: «Да ты хоть слово скажи, идол проклятый», а Коровин невозмутимо продолжает писать, пока тот, махнув рукой, не уходит из комнаты. Но где была действительная нужда, где дело шло о переселенце старательном, Коровин всегда делал все возможное, чтобы ему помочь.

Знал он всю область, чуть ли не все переселенческие участки. Вместе с тем был недурно начитан, в курсе вопросов общей политики, и по развитию значительно выше обычного уровня провинциальных чиновников, к сожалению, не имел внешнего лоска и как будто примирился с тем, что в выигрышных местах его обходят. По крайней мере я ни разу не уловил в его словах горечи и обиды, что после ухода Савинского заведующим районом назначили не его, а юнца из Петербурга.

Отношение его ко мне было не только корректным: он искренне и добросовестно мне *помогал*, нес всю черную работу канцелярии, в том числе всю ответственную часть бухгалтерии, но вместе с тем никогда ничего от меня не скрывал и в случаях принципиальных всегда предупреждал меня о том, что им сделано.

Женат он не был, но, кажется, жил со своей экономкой. Душевную же его сторону лучше всего обрисовывает следую-

---

[1] Главный двигатель, душа (дела) (*фр.*).

щий случай: года за три до моего приезда дорожный инженер района Коротков проиграл в карты казенные деньги. Проигрыш был крупный — около 6000 рублей, то есть примерно двухлетнее жалование этого инженера. Покрыть было немыслимо. Предстоял суд, опозорение человека. Коротков пришел к Коровину. «Что ж, Андрей Григорьевич, осталось стреляться?» Коровин задумался: «Жизнь человеческая дороже 6000 стоит, — буркнул он. — Я вам дам деньги». И дал *своих* все 6000, думаю, все, что он к тому времени за свою трудовую жизнь скопил и отложил на старые годы. Растрата была таким образом покрыта, инженер спасен. Но и тут характер Коровина сказался, по-моему, особенно своеобразно: он как бы взял инженера в опеку: поселил его в своей квартире и, кажется, даром кормил его, когда он приезжал из командировок, а из жалованья давал ему столько, чтобы он мог жить, но не кутить, а разницу брал в погашение долга. И, если не ошибаюсь, ко времени моего отъезда из Владивостока долга оставалось тысячи полторы, не более, а инженер, под строгой ферулой Коровина, держался и в клуб не заглядывал*.

Младшие служащие канцелярии были менее интересны. Это были скромные работники, проводившие почти весь день в канцелярии, по праздникам кое-кто, вероятно, попивал, но не сильно. Жалованья были маленькие и компенсировались даровым помещением и дешевым столом на фельдшерском пункте.

Часть служащих переселенческой организации — землемеры — работали, впрочем, в городе, где мы нанимали большое помещение под чертежную. Это было царство моего помощника по землеотводной части межевого инженера Галактионова, который занимал с семьей при чертежной маленькую квартиру. Зимой в чертежной работало человек тридцать;

---

* Похожий случай произошел в Приморском районе в 1914 году. Один из старших служащих проиграл около 800 рублей, захотел отыграться и, взяв бывшие у него случайно на руках казенные деньги, проиграл еще более 5000 рублей. Временно заткнув их новым авансом, он обратился за помощью ко мне. (Я уже был более года в Ташкенте.) Коровин, которому я написал, ответил мне: «Человек хороший, надо бы помочь». Помня Коровина, я дал деньги. Была уже война. Дальнейшего не знаю.

летом они разъезжались на работы, и там оставалось только два-три чертежника. Низшим служащим канцелярии был Анастас, который мел комнаты, ходил за почтой и ездил с бочкой за водой (питьевой воды на пункте не было). В царские дни он запрягал ту же лошадь в маленькую пролетку и возил меня в собор к обедне и на молебен. Савинский, видимо, пользовался им вообще и когда ездил по визитам, но я избегал пользоваться им не для «казенной» надобности.

Первые дни моего пребывания во Владивостоке ушли на ознакомление с делами в канцелярии и на необходимые визиты в городе.

Военным губернатором был тогда М.М. Манакин, человек очень порядочный и с лучшими намерениями, но, к сожалению, как многие военные, совершенно незнакомый с юридическим укладом русской жизни. В частности, по казачьему вопросу он придерживался взглядов не только прямо противоположных точке зрения моего министерства, но вообще трудно совместимых с каким-либо государственным укладом. «Казаку нужен простор», — говорил он мне при первом же нашем свидании, тогда как мы считали очередной задачей отвод казакам постоянных наделов, чтобы на излишки водворить новых засельщиков — крестьян. Уж не знаю, как бы пришлось вести при нем казачье землеустройство, если бы дело до этого дошло. С генерал-губернатором он был на ножах. Подчиненные относились к нему с усмешкой, вполне отдавая, впрочем, должное его нравственным качествам. В последний раз я с ним встретился в Государственной думе (он был тогда начальником Азиатской части Главного штаба), в секретном заседании, где выступал Керенский с заявлением по поводу восстания туземцев в Туркестане. Манакин сидел рядом со мной в ложе правительства.

«А ведь ничего не возразишь, правду говорит», — шепнул он мне в середине речи Керенского, которая на этот раз, правда, была сдержанная по тону и обильно документированная. Как я сказал выше, достоинством Манакина были его безусловная искренность и правдивость.

Вице-губернатором был Н.В. Мономахов, человек пожилой, вполне разбиравшийся в делах, работать с которым было легко. Старшим советником областного правления был А.В. Суханов, дошедший до этого места с самых низов: начал он службу воло-

стным писарем и постепенно прошел все этапы. Человек ума незаурядного, он за свою службу изъездил все углы Приморской области и был живой летописью края.

Через несколько дней после моего прибытия во Владивосток приехал генерал-губернатор, которому я представился в его вагоне и был принят им самым ласковым образом.

Николай Львович Гондатти был личностью несомненно интересной, воспитывался он в Нижегородском дворянском пансионе, после чего поступил на естественный факультет Московского университета и студентом принял участие в научной экспедиции, предпринятой московским купечеством для изучения шелководства в Китае. После возвращения из этой экспедиции он был назначен на должность анадырского окружного начальника — нечто вроде исправника в этом отдаленном уголке России (Чукотский Нос), где русское население исчислялось сотнями, а остальное население — чукчи да приплывающие из Аляски золотоискатели. Сообщение с Россией происходило раз в году пароходом на Владивосток и раза четыре на собаках на Якутск, около 3000 верст. Гондатти бросился изучать этот край и на собаках изъездил его, забираясь заодно в смежные части Якутской области. Следующей службой его была должность заведующего переселением в Уссурийском крае, потом в канцелярии иркутского генерал-губернатора при Кутайсове, который, будучи стар, имел неприятную привычку вызывать к себе управляющего канцелярией на доклад в 5 часов утра. Оттуда он был назначен губернатором сперва, кажется, в Тобольск, потом в Томск и, наконец, пройдя через этап начальника Амурской экспедиции, был в начале 1911 года назначен первым гражданским генерал-губернатором Приамурского края, с производством в шталмейстеры.

Таким образом он являлся в полном смысле слова selfmade man[1], а Дальний Восток знал отлично еще с давних лет. Отличался он еще исключительной памятью на лица и на имена и отчества, так что, раз встретив человека, в дальнейшем его всегда узнавал и обращался по имени-отчеству, чем, естественно, очаровывал всех младших служащих края.

---

[1] Человек, сам себя сделавший (*англ.*).

Недостатком его было искание популярности, которую он и без этого бы, верю, имел, а это привело, скорее, к потускнению его популярности. У него был принцип — никогда с самого начала не разочаровывать человека отказом, и эту систему он мне усиленно рекомендовал.

«Никогда, — говорил он, — не убивайте, Алексей Алексеевич, в людях энергию. Даже если вы знаете, что в данную минуту то, о чем просят, неосуществимо, не говорите этого просителю. Скажите, что вы постараетесь сделать все возможное, и что надеетесь на успех. Тогда у него сохранится надежда и он будет работать и, может быть, чего-нибудь сам достигнет. Указавши же сразу на неосуществимость желания, вы убьете в человеке энергию и желание работать». Должен сказать, что лично меня эта теория не убедила. Ему она, правда создала вначале громадную популярность и общий подъем деятельности в крае. Но уже в конце моего пребывания на Дальнем Востоке я начал улавливать признаки разочарования, когда люди убедились в том, что многие его обещания остались словами, не претворившись в дело.

Работоспособности он был громадной и времени своего не жалел. Помню, как на состоявшемся в Никольске съезде сельских хозяев он сам председательствовал в общем собрании и часами слушал доклады и прения по сравнительно второстепенным вопросам. Мне лично приходилось у него сидеть с докладами по два часа и более, причем он подробно вникал во все стороны дела.

Одной из первых моих поездок — был объезд переселенческих поселков по реке Иман. Предыдущей осенью наводнение погубило в этих селах почти все посевы, и на почве отчасти недоедания, отчасти сырости жилищ среди населения появилась и получила широкое распространение цинга (скорбуть), болезнь, характеризуемая распуханием конечностей и десен, а при острой форме и выпадением зубов. Для борьбы с цингой в Иманском подрайоне были открыты дополнительные фельдшерские пункты и организовано усиленное питание больных и детей.

На станции Иман меня встретил заведующий переселением Тарасенко со своими сотрудниками. Со времени моей первой поездки в 1908 году Иман сильно разросся и стал напоминать небольшой уездный город. Три года спустя он и

был таковым сделан. Переселенческий пункт, расположенный при станции, был в то время самым крупным в области: больница была рассчитана на 120 коек, и много зданий было занято под канцелярию и квартиры служащих.

На пункте были свои лошади, так что передвигаться можно было быстро, не теряя времени в каждом селе на ожидание очередной подводы. Погода была довольно свежая — стояло всего начало мая. Начало пути было мне знакомо с 1908 года, но затем мы свернули влево на деревни Гончаровку, Вербовку, Котельное и до деревни Табаровой в 75 верстах от Имана. По внешнему виду большинство поселков было похоже друг на друга. Все они вытянулись длинными лентами вдоль большой дороги (инструкция по образованию переселенческих участков отводила под усадьбы около полудесятины); избы были малороссийского типа, но лишь немногие обсажены деревьями, отчего, в противоположность малороссийским селам, вид переселенческих деревень был довольно унылым и неприятным.

Надо, впрочем, сказать, что и старожилые села выглядели немногим веселее, только там дома и усадьбы были более и лучше застроены и надворные постройки обильнее. Но скудость растительности наблюдалась и там: думаю, причину этого надо искать в суровости климата и сыром лете в Приамурской области, где фруктовые деревья не зрели, почему переселенцы и заботились меньше о застраивании усадеб.

Общее настроение переселенцев было, как и следовало ожидать, подавленным. Правда, цинга шла на убыль и число больных быстро уменьшалось, но оставался налицо основной факт гибели почти всего урожая предыдущего года.

Меня поразил при этом один факт: несмотря на громадную площадь наделов, большинство сел занимало участки по 6000—8000—10 000 десятин, посевы сосредоточивались на сравнительно небольшой полосе земель, вдоль самой реки. Объяснялось это тем, что почвы этого приречного увала были, естественно, и более плодородны, и легче распахивались, чем залесенные и подчас каменистые земли остального пространства, удаленного от реки и более возвышенного. Другой причиной, почему крестьяне не распахивали этих дальних земель, была трудность сообщения с ними; действительно, почти во всех случаях между террасой, на которой располагались усадьбы,

и основным массивом земель участка находилась более или менее болотистая падь (низина).

При этих условиях единственным, на мой взгляд, выходом являлся перенос крестьянских пашен на возвышенную часть поселковых наделов, для чего, однако, понадобилось бы устройство дорог внутри этих наделов, что переселенческими сметами до того не предусматривалось. Я написал обо всем этом в Петербург, прося разрешения включить необходимые для этого средства в проект переселенческой сметы 1912 года.

Другим недочетом, бросавшимся свежему человеку в глаза, была удаленность административного центра. Со всяким делом, требовавшим помощи или вмешательства переселенческого чиновника, переселенцу приходилось ехать на Иман. То же в случае серьезного заболевания, требовавшего лечения в больнице. Поэтому я поставил себе задачей децентрализировать, так сказать, Иманский уезд и создать в нем внутренние административные центры, которые постепенно сделались бы и центрами экономическими. Такими центрами были намечены село Котельное на левом берегу Имана и село Ракитное на р. Ваку, оба примерно в 60 верстах от железной дороги и верстах в 30—40 от наиболее удаленных переселенческих поселков подрайона. Со следующего года в этих пунктах началась постройка больниц и подрайонных канцелярий, а также, насколько помню, постройка церквей и причтовых домов.

Следующая поездка моя была в так называемый Посьетский район, узкий «язык» вдоль китайской границы и соприкасающийся на юге с границей Кореи. Расположенный в непосредственной близости от Владивостока — центральный пункт урочища — Славянка был морем в полутора часах езды от Владивостока. Район этот не привлекал до того русских засельщиков: морские туманы, заползающие в глубь речных долин, казалось, препятствовали произрастанию здесь привычных русскому человеку злаков: пшеницы и ячменя. В 80-х годах пришли в этот район выходцы из Кореи (там была в тот год смута, нарушившая всю экономическую жизнь этой страны), которым позволили обосноваться и принять русское подданство. Из них были образованы две волости: Адими и Янчих. Большинство приняло православие и училось в шко-

лах русскому языку. Старосты, старшины — все были корейцы; особенно много было по фамилии Пан, Цой, Ким. Областной землемер, по распоряжению генерала-губернатора, отвел им временные наделы из расчета 15 десятин на семью. Но в границы этих наделов были включены лишь узкие полосы долин, где были расположены корейские фанзы (дома) и посевы. Склоны же сопок, охватывающих эти долины, остались вне наделов, теоретически во владении казны, но без возможности их использовать, так как от них не было доступа к речкам. Таким образом, большие пространства земли фактически пустовали в районе, близком к крупному экономическому центру, каким был Владивосток. Между тем в северной части этого района возникло и процветало несколько частных хозяйств, основанных на разведении скота. Отсюда родилась мысль произвести в Посьетском районе новое распределение земель, позволяющее ввести в экономический оборот пространства горных склонов, а не одних только долин. Работа эта была поручена Любатовичу, о котором я уже упоминал выше. Должен сказать, что он отнесся к ней с большой вдумчивостью, стараясь возможно менее затрагивать жизненные интересы корейцев и в то же время получить свободный земельный фонд, пригодный для ведения самостоятельных хозяйств. Я уже упоминал, что «временные» наделы корейцев представляли собой узкие полосы земли, охватывающие нижние части речных долин и впадающих в них падей. Любатович, в виде общего правила, оставил за корейцами основную долину и те из падей, в которых было расположено наибольшее количество корейских фаз, и прирезывал к ним соответствующие склоны с таким расчетом, чтобы площадь нового надела обеспечивала 15 десятин на каждую коренную корейскую семью поселка. Не принимались к учету корейцы, уехавшие из села со времени отвода «временных» наделов, а также многочисленные корейцы, проникшие годами через границу и севшие на землях сородичей без формального на то права, так как они, в сущности, даже не были русскими подданными. Разумеется, новые наделы были менее ценными по сравнению с предыдущими и не давали корейцам возможности, как прежде, продолжать вызывать к себе сородичей из Кореи. Для отдельных семей это было также равносильно переселению из одной долины в другую с переносом фанз. Но, к моему

удивлению, корейские общества не заявляли особенных претензий против предъявленных им проектов Любатовича, хотя в каждом селе были люди, вполне разбиравшиеся в обстановке и знавшие о способах обжалования действий переселенческих отводных партий. Допускаю, что одной из причин этого было то обстоятельство, что при корейском способе земледелия (ручная обработка земли грядками и посев главным образом проса и бобовых растений) и новые наделы обеспечивали полную возможность существования всего *легального* населения корейских деревень. Отказ же в наделении землею их японскоподданных сородичей они не могли не признать законным, хотя бы в жизненном отношении и жестоким.

Вообще, кореец очень неприхотлив и трудолюбив. Рабочего скота у них за редкими исключениями не было, и работы производились ручным трудом. Благодаря тщательной обработке земли и удобрениям (свои естественные потребности корейская семья производила в камышовом закуте, периодически передвигаемом по полю), урожаи были сравнительно велики при ничтожности площади обработки. Зная, что отдельные корейские селения имеются и на севере в Хабаровском уезде, мы проектировали разрешить корейцам, которые соглашались бы выехать из Посьетского района, получать земли в известных местностях таежной полосы. Чтобы сделать для них это переселение более заманчивым, я проектировал отводить им земли наравне с русским населением, то есть по 15 десятин на душу (около 50 десятин на семью). Гондатти, однако, не согласился с этой частью моего доклада и не разрешил отводить им более 15 десятин на семью. Не знаю, получил ли этот проект, представленный мной в конце 1912 года, осуществление на практике. Мне в то время казалось, что ограничение надела той же нормой, что на старом месте, лишает переселение всякого смысла, но Гондатти настоял на своем, не входя особенно в объяснение своего взгляда.

Надо сказать, что с другой стороны он имел разговор с Любатовичем (наедине) и высказал ему желательность «не слишком теснить» корейцев. Разговор этот, кажется, происходил в селении Энчихэ, где Гондатти осматривал местную школу и ученики-корейцы проделали перед ним соколиную

гимнастику и отвечали на вопросы отнюдь не хуже детей русских крестьян, что произвело на всех присутствующих сильное впечатление и заставило в душе усомниться в целесообразности проводимой в то время узконациональной политики. Действительно, провозглашенный в эпоху Столыпина лозунг «Россия для русских» принимал в то время на Дальнем Востоке формы несколько уродливые. В соответствии с решением, принятым Комитетом по заселению Дальнего Востока, наше министерство не только повело борьбу против годами укоренившейся в Приамурье аренды земель китайцами, но и против использования желтых в качестве сельскохозяйственных рабочих. Между тем последнее являлось совершенно невыполнимым, и, если казна или крупные подрядчики могли привезти из Европейской России рабочих-специалистов (каменщиков, плотников и т.д.), то нельзя было ожидать того же со стороны сельских хозяев в крае, где каждый русский мог получить *даром* казенную землю, а не делаться сельскохозяйственным рабочим. Тогда как в контракте по сдаче в аренду казенных земель мы обязаны были включать требование, что арендатор имеет право пользоваться трудом «русских рабочих белой расы».

Ненормальность такого требования особенно ярко бросалась в глаза благодаря тому, что сдача земель в аренду, а тем более наем китайских и корейских рабочих, не будучи воспрещен никаким законом, продолжали процветать на землях крестьян и частных собственников. Естественным результатом явилось только то, что, узнав о стеснительных условиях аренды казенной земли, местные жители к ней совершенно охладели и из образованных в Посьетском районе новых оброчных статей удалось сдать лишь единичные, да и то, думается мне, людям, которые считали, что новые правила не продержатся, а будут вскоре отменены.

Что касается переселенческих участков, то в северной части Посьетского района при мне началось заселение и, насколько помню, на вредное влияние туманов не жаловались. Правда, что эти участки были нарезаны по проектам Любатовича в долинах, укрытых от моря, куда туманы не заходили.

Интересной достопримечательностью района являлось хозяйство Михаила Ивановича Янковского. По происхождению из ссыльных поляков (после мятежа 1863 г.) он поселил-

ся во Владивостоке и, присмотрев себе для хозяйства, снял у казны в аренду довольно крупную площадь (около 7000 десятин) против города в Посьетском районе. В то время местность эта изобиловала еще оленями (изюбрями), рога которых чрезвычайно ценятся китайцами как лечебное средство (панты). У Янковского явилась мысль устроить у себя заповедник оленей, воспользовавшись благоприятной конфигурацией имения, которое образовывало полуостров, связанный с материком перешейком шириной менее версты, который легко можно было перегородить забором из проволоки. Не очень знаю, каким способом были загнаны туда первые олени, но проволока оказалась достаточной преградой, чтобы их там задержать и, охраняя, дать размножиться. В мое время стадо было порядочным и давало Янковскому довольно крупный доход. Панты можно срезать весною, не убивая животного, и они вырастают вновь, хотя, правда, такие срезанные панты ценились дешевле пантов, снятых с убитого животного (в доказательство последнего панты продавались вместе с лобовой костью убитого животного, из которой они начинались. По высочайшему повелению земли, арендованные Янковским, было разрешено отвести ему в собственность за очень дешевую плату. Я видел старика в 1908 году, когда был при Иваницком. В 1911 же году там хозяйничал его сын Юрий с женой. Оказалось, что старик начал недомогать и врачи предписали ему сухой климат. Михаил Иванович поступил весьма своеобразно. Изучив карту, нашел, что одно из наиболее сухих мест России — Семипалатинск, и на старости лет переселился туда, кажется, с одной из дочерей.

Совершенно другой характер носили земли, расположенные много севернее Хабаровского уезда. Здесь преобладали леса, главным образом хвойные, но кое-где и лиственные. Открытых площадей было мало, и в большинстве случаев переселенцу приходилось почти сразу приниматься за раскорчевку своего будущего поля: работа чрезвычайно тяжелая и утомительная, и нужна была любовь к земле русского мужика, чтобы эту работу выполнять. Правда, что в эти лесные части края преимущественно тянулись и выходцы из лесной полосы Европейской России. Помню, как-то при объезде дорожных работ в Хабаровском уезде я проехал мимо новосела, занятого корчевкой леса. «Что, тяжеленько?» — спросил я

его. «Тяжело-то, тяжело, — ответил он, — да зато у детей сколько земли будет...» Оказалось, что у него четверо мальчиков, так что считая с ним в семье было пять душ, которым, следовательно, причиталось 75 десятин земли — земельная площадь, о которой он на родине, очевидно, не мог и мечтать. Вот такими-то земельными тружениками и охватывались ежегодно закраи Сибирской тайги.

Большим препятствием к заселению этих лесных пространств служила дороговизна постройки к ним дорог. Без дороги переселенцы даже не могли попасть на свои участки; в то же время постройка дорог к участку, который переселенцы еще не видели, сопряжена была всегда с риском: если бы участок в течение года-двух не привлек к себе новосела, деньги были бы истрачены бесплодно, так как запущенная дорога года через два зарастала травой и кустарником, канавы заплывали и т.п. Кроме того, новоселы иногда селились не в той части участка, где землемер проектировал разбить усадебные места и дорога, в сущности, никуда не вела. В особом положении находился участок, образованный к северу от Амура в бассейне рек Кура и Биры. Для связи с ним переселенческая организация имела небольшой пароход, который совершал еженедельные рейсы, обслуживающие эти поселки. Помню, когда я в первый раз приехал в Хабаровск, заведующий водворением А.К. Григорьев был очень озабочен вопросом об установлении связи с группой новых участков, образованных на правом берегу Амура севернее Хабаровска, близ озера Синда. Вести туда дорогу от Хабаровска стоило бы слишком дорого, между тем пароходом можно было добраться к этим участкам в 2—3 часа времени. Мы и поехали туда на нашем пароходе. Оказалось, что можно удобно пристать у самого берега. Местность же казалась очень заманчивой: сухие почвы, заросшие дубняком и другими лиственными породами. Поэтому я охотно разрешил Григорьеву включить эти участки в расписание рейсов нашего парохода в надежде, что найдутся ходоки, которые решатся там зачислить за собой землю. Расчет оказался правильным, и, помню, как полтора года спустя, когда я в последний раз перед моим отъездом докладывал дела в областном присутствии, одним из вопросов на повестке было ходатайство об отпуске ссуды на постройку школы в первом переселенческом поселке, возникшем весной того

года на одном из синдинских участков. И помню, как приятно было сознание, что в местности, где два года перед тем был совершенно пустынный берег, началась жизнь, живут и работают люди и что в этом творчестве есть и твой маленький вклад. Вот этим-то чувством своего участия в *реальном творчестве* и привлекала к себе работа в переселенческой организации, и ему было обязано ведомство своим действительно исключительным подбором служащих, трудившихся не за страх, а за совесть, подчас за самое скромное вознаграждение.

В июле во Владивосток приезжал помощник Глинки Тхоржевский; вскоре после его отъезда я решил поехать ознакомиться с районом казачьих станиц и хуторов, в котором наши землемеры вели съемку земель для последующего землеустройства казаков. По плану работ 1911 года работы должны были охватить центральную часть земель Уссурийского казачества, расположенную между линией железной дороги и рекой Уссури от ее начала до впадения реки Бикин на севере. Начал я мою поездку с юга, со станции Донской вместе со старшим заведующим технической частью В.Н. Галактионовым. По условиям сообщения выходило, что наиболее удобно ехать лодкой, высаживаясь в попутных прибрежных станицах.

В казачьих станицах я был впервые. Конечно, они сильно уступали по зажиточности станицам Европейской России, но даже по сравнению с богатыми селами уссурийских старожилов местные станицы поражали хорошей стройкой и обилием надворных построек. Характерной особенностью казачьих поселков были деревянные вышки у въезда в селение — пережиток тех лет, когда край был только что присоединен и надо было сторожко смотреть вдаль и через границу, нет ли чего необычного, проникновения разбойников и т.п. В одной из станиц я разговорился со стариком, бывшим еще участником первого «сплава». Казаки ехали лодками, и через каждые 20—25 верст две лодки отставали от каравана и клали основание новому поселку. Так искони создавались в России казачьи «линии». Условия были очень тягостные. В лодках был предположительный запас муки на год и необходимый хозяйственный инвентарь. В дальнейшем казаки должны были сами разобраться и устроиться на новом месте. «Что было горя тогда хвачено...» — закончил свой рассказ старый хозяин и

даже рукой махнул. Но зато через 50 лет этим казакам могли бы позавидовать многие. Думаю, впрочем, что благосостояние их стало повышаться особенно после проведения железной дороги.

Самое передвижение наше оказалось довольно медленным. Образуемая слиянием двух рек — Даубихе и Улахе (переселенцы по русской привычке называли их Долбиха и Волуха), Уссури делает бесконечные петли и течет почти без уклона среди заросших камышом берегов. Помню, как в одном месте мы шестами умудрились протолкнуться из одной петли прямо в соседнюю, сэкономив тем несколько верст пути по фарватеру. Старались держаться, впрочем, середины реки, чтобы не страдать от комаров. Но раз как-то пришлось заночевать между двумя станицами, должен сказать, что от этих насекомых прямо житья не было. Раскинув палатку, зажгли траву внутри, чтобы выгнать оттуда комаров, и только тогда могли расположиться и заснуть. Но когда под утро надо было сниматься, то те десять минут, которые заняло свертывание палатки и укладка вещей в лодку, были одними из самых мучительных в жизни, и я буквально заплакал, пока лодка не отъехала к середине реки. Надо вообще сказать, что наличие комаров и мошек (сибирский крестьянин объединяет их всех общим названием «гнуса») отнимает всю прелесть у пребывания в тайге и путешествия бывают, в сущности, приятными только ранней весной и поздней осенью, когда ночные заморозки убивают мошкару. Я, кроме того, страдал в начале лета и сенной лихорадкой, настолько сильной, что прикалывал носовой платок к френчу, чтобы не лезть за ним ежесекундно в карман, когда приходилось ездить в луговых или таежных местностях во время цветения трав.

Ночь, проведенная мною в палатке на берегу Уссури, памятна мне еще иным: воздух был душным и вдали слышались частые раскаты грома и виделись отблески зарниц. Мы были недалеко от впадения в Уссури Имана, и было ясно, что в верховьях Имана и Ваку идут страшные грозы, могущие, как год перед тем, вызвать снова сильные наводнения. Действительно, с появлением в долинах этих рек многочисленных переселенцев началась усиленная вырубка лесов и сток воды после обычных в конце июля — начале августа ливней начал протекать более бурным темпом, чем во время оно. Некото-

рые лица утверждали, кроме того, что при постройке железной дороги не знавшие местных условий инженеры не дали достаточных отверстий стоку вод и железнодорожная линия явилась своего рода дамбой, подпирающей воды и усиливающей затопленность прилегающих пространств.

Предчувствия наши оправдались. Когда я через три дня приехал на Иман — там уже стояло наводнение и по улицам города ездили на лодках. Что происходило в поселках, не знал никто, но по бурному виду Имана было ясно, что без беды не обошлось. В первый день мы не могли ничего делать. Шел сильный дождь, дорога была размыта, а прилегающая местность залита водой. Течение же Имана было таким, что никто не решался спустить лодку.

Только на следующий день Тарасенко достал ороченов (местных туземцев — аборигенов края), которые согласились везти нас на двух лодках инородческого типа, узких, выдолбленных из стволов. Взяли с собой необходимые вещи и около 11 часов утра отправились, придерживаясь берега. Течение было, однако, еще столь сильным, что мы еле передвигались и только около 4 часов дня добрались до ближайшей деревни на берегу Ваку, от которой уже оказалось возможным идти дальше пешком. Уныние у крестьян было всеобщее. Чудная пшеница с почти дозревшим колосом лежала на земле, полузанесенная речным илом. Здесь, как и в поселках на реке Иман, до которых я добрался на следующий день, картина разорения была полная, и крестьяне, которых я при первом посещении весной обнадеживал видами на новый урожай, разводили руками и спрашивали: «И что ж, ваше благородие, теперь делать? Ведь все опять погибло». (А между тем опять уцелели посевы инородцев: чумиза и бобы от наводнения почти не пострадали)

Надо было срочно что-то делать. Зимой предстояла, очевидно, новая продовольственная кампания: по закону население неурожайных мест получало муку из расчета пуда в месяц на взрослого и ½ пуда на ребенка. Но хотелось, кроме того, дать людям заработок, и, вернувшись во Владивосток, я написал в Переселенческое управление, прося об отпуске из продовольственного капитала средств на организацию в Иманском уезде общественных работ по восстановлению размытых наводнением дорог. Ответ пришел очень быстро, и осенью

мы могли развернуть довольно широко работы по ремонту, вернее сказать, по перестройке головного участка дорог Иманского подрайона от железной дороги до села Веденки. Здесь требовались главным образом земляные работы и можно было, следовательно, дать немедленный заработок большому числу пострадавших от наводнения.

Кроме того, я решил сразу же осуществить мое предположение децентрализации Иманского подрайона и еще до зимы перевести в село Котельное заведующего водворением, чтоб раздача продовольственной ссуды мукою могла производиться на месте, не вынуждая каждого крестьянина ездить за мукою в Иман. Наладив в общих чертах вопросы об организации общественной работы в Иманском уезде, я отправился в мою последнюю до зимы поездку по району: в часть области, где до того еще бывать не приходилось, а именно в районе рыбных промыслов в устье Амура. Вернуться же во Владивосток решил морским путем с заездом, если удастся, в пост Александровский на Сахалине.

Остановившись ненадолго в Хабаровске для доклада Гондатти очередных дел, я сел на пароход Амурского общества. Если верхний плес амурской магистрали напоминает плавание по небольшим озерам, последовательно друг за другом открывающимся взгляду путешественника, то нижний плес, особенно осенью, когда только что кончился период дождей, тоже напоминает немного плавание вдоль возвышенного берега большого озера, противоположный берег которого как бы сливается с линией болот налево и впереди. Громадное водное пространство, изобилующее островами с еле виднеющейся вдали линией лесов, направо: возвышенный берег, сплошь заросший лесом; от времени до времени, верстах в 20 — 30 друг от друга береговая тайга уступает место небольшому пространству, занятому избами и сараями, окруженными огородами; сразу за огородами снова тайга. Это селения амурских старожилов, занимающихся почти исключительно рыбной ловлей и поставкой дров на пароходы. Короткое и суровое лето не дает возможности развить здесь земледелие; вместе с тем рыбная ловля дает за короткие периоды хода рыбы возможность заработать достаточно, чтобы жить на это круглый год. Сильно развито также было здесь пьянство, оправдываемое тяжелой работой в холодной, подчас ледяной воде.

Чем дальше к северу, тем суровее становилась природа. Постепенно и левый берег стал приобретать гористый характер, у города Николаевска Амур течет одной протокой, как говорится, «в трубы» — с расстоянием около четырех верст между берегами и со страшно сильным течением.

В Николаевске меня встретил наш чиновник Власьев, человек уже немолодой, бывший офицер, очень энергичный и толковый, но немножко с оттенком «дельца». Поселки, находившиеся в его ведении, занимались исключительно рыболовством и засолкой рыбы, частью у себя, частью на засольных участках, арендуемых у казны местными рыбопромышленниками. Я попал как раз в момент осеннего хода «кеты» (род лососины), и каждый вечер в город передавались по телефону с рыбалки сведения о количестве рыбы, пойманной за день. Столько-то десятков тысяч у того-то, столько-то десятков тысяч там-то и т.д. Весь город охватывала в эти дни горячка, так как уловом осенней кеты (а длится он обычно всего около недели) определяются хозяйственные результаты всего года. Весной и летом по Амуру поднимаются менее ценные виды рыб (горбуша — весной, летняя кета — в июле), идущие на местный прокорм, тогда как жирная рыба осеннего лова (по 8 — 12 фунтов каждая) шла на заграничный экспорт. Азартный оттенок придавало рыбному лову то обстоятельство, что нельзя было заранее предугадать, какое направление примут в этом году рыбные стаи. Бывали случаи, когда почти вся масса рыбы шла каким-нибудь одним фарватером, в иные годы ход рыбы совпадал с грозами, которые разводили в лимане волну, разбивавшую установки рыболовов. (По правилам рыболовства можно было загораживать сетями до одной трети ширины данного фарватера) В распоряжении Власьева находилась купленная Переселенческим управлением для обслуживания поселков моторная шхуна, на которой он меня и повез по поселкам, разбросанным по обоим берегам лимана.

Дело в том, что ниже города Амур расширяется и переходит в лиман, ширина которого в самом устье около 30 верст. Но шхуна, несмотря на крайне мелкую осадку, могла следовать только по одному из двух амурских фарватеров. Помню, вечером возвращался в Николаевск после осмотра поселков южного берега лимана, возник вопрос, нельзя ли заехать в оставшийся не осмотренным поселок левого бе-

рега. По прямой линии до него было не более 7 — 8 верст, фарватером же пришлось бы идти не менее 25 верст. Но наша попытка пересечь лиман по прямой линии кончилась подлинным фиаско. Винт запутался в водорослях, и хотя матрос дважды лез в воду его очищать (из чего видно, насколько дно было близко), стоило двинуться, как длинные водоросли снова его захватывали и лишали нас возможности двигаться дальше.

Помню еще, что Власьев водил меня на расположенное недалеко от города золотопромышленное заведение, где работала «драга», но кажется, что работы в тот день почему-то не производились, и поездка запомнилась больше потому, что с прииска виднелся вдали морской залив Охотского моря.

Переселенческое дело носило здесь совсем своеобразный характер. Вопрос о землепользовании, в сущности, даже не возникал, и лес переселенцы рубили для своих нужд где хотели, естественно, не уходя далеко от своих усадеб. Гораздо сложнее был вопрос с рыбалкой, то есть о местах, где рыбаки могли загораживать реку и ставить сети, и о праве их устраивать засольни, так как их интересы сталкивались с интересами казны и крупных рыбопромышленников, которые платили первым большие деньги за годовую аренду рыболовных и засольных участков. Не помню, в этот ли приезд или в следующий, осенью 1912 года, мною было устроено в Николаевске совещание с управляющим государственными имуществами в Приамурском крае и представителями Рыболовного надзора и выработаны новые правила, устанавливающие порядок отвода рыбалок переселенческим поселкам — первые попытки подойти к определению норм «рыбного» наделения новоселов, как в другие моменты определились нормы земельного обеспечения.

Покончив с делами, я отправился на пароход Добровольного флота, который стоял на якоре посреди реки и должен был под утро выйти в море. Собственно говоря, пассажирам полагалось приезжать к шести вечера, когда от пристани отходил специальный катер, но я как-то не придал этому значения и решил, что найду лодку, которая меня доставит на пароход. Дело оказалось, однако, гораздо сложнее, так как лодки не рисковали пуститься в путь к пароходу, который стоял на фарватере с его сильным течением. На мое счастье, Власьев

увидел шестерку (лодку с военной канонерки), возвращавшуюся домой, и попросил офицера подвезти меня. И только так, видя, с каким трудом шесть дюжих гребцов пристали к трапу «добровольца», я понял, какой опрометчивостью было отказаться от катера, доставлявшего пассажиров на борт парохода. Не встреться нам случайно военная лодка — не знаю, уехал ли бы я с этим пароходом.

Следующий день мы были в море, Татарском проливе, а на следующее утро стали перед пристанью Александровского поста, административного центра, оставшегося в наших руках после войны северной части Сахалина. Остановив машину, наш пароход начал усиленно вызывать катер с берега, но было рано (около 5 часов утра), и пока на пристани зашевелились люди и стали заводить мотор на катере, увы, поднялся или, вернее, усилился ветер, дующий с моря на остров.

— Опоздали, — со злостью заметил наш капитан, и, к общему нашему отчаянию, наш пароход стал поворачивать и ушел на расположенную по ту сторону пролива бухту Де Кастри, где простояли в бездействии весь этот день. Как объяснил капитан, при ветре с моря приставать к Александровскому посту опасно из-за скал. Оттого пароходам приходится часто выжидать в бухте Де Кастри перемены ветра. Осенью 1910 года пароходу, шедшему последним рейсом, пришлось будто бы потратить 14 дней в ожидании возможности высадить пассажиров и принять пассажиров и почту в Александровском посту (зимой же сообщение происходило гораздо регулярнее, так как пролив замерзал и почта доставлялась на Сахалин по льду на собаках).

На наше счастье, ветер за сутки переменился, и на следующее утро удалось благополучно высадиться на берег.

Что наиболее странно — все неудобства высадки могли бы быть свободно устранены постройкой мола, стоимость которого определялась всего в 1300 рублей, но против постройки этого мола решительно возражало Морское министерство, исходя из странной теории, что при наличии мола полуостров будет в случае войны с легкостью захвачен японцами, забывая, однако, что отсутствие мола совершенно не дает возможности экономического развития острова. Достаточно сказать, что именно южнее Александровского поста было расположено урочище

Дуэ с залежами великолепного угля совсем близко к поверхности. Но как же можно было вести эксплуатацию рудника при условиях морской погрузки, аналогичной той, которую я описывал выше. Случаи, когда погрузка парохода углем брала 7—8 дней, не составляли, как говорили мне, исключения.

Стоянка парохода в Александровском посту длилась всего несколько часов, и я мог лишь в общих чертах переговорить обо всем с местным агрономом Михаилом Алексеевичем Никольским, исполнявшим одновременно обязанности крестьянского начальника, и с вновь назначенным на Сахалин губернатором Григорьевым.

Общее впечатление от Сахалина было чрезвычайно странным. Надо иметь в виду, что по окончании Русско-японской войны, во время которой Сахалин был захвачен японцами, все жители сохраненной нами половины острова получили разрешение его покинуть. Разрешением этим большинство ссыльных воспользовалось, и в результате из примерно 30 000 человек в северной половине острова к 1909 году осталось не более 7000 (в том числе 2000 инородцев айнов). В 1909 году по соображениям престижа на Сахалине было восстановлено губернаторство и командировки для новых чиновников, в том числе и агрономов из Министерства земледелия. Вопрос помещений разрешали более чем просто: в Александровском посту три четверти домов стояли пустыми, неизвестно кому принадлежащими, и Никольскому пришлось только решить, который из пустых домов ему больше других нравится. Должен сказать, что это обилие пустых домов действовало на свежего человека чрезвычайно угнетающе. В следующем, 1912 году мне удалось проехать в глубь острова, и по дороге была одна небольшая деревня, совершенно пустая, а в другой из 20 домов пустовало 16. И странно было сознавать, что, кроме немногочисленных чиновников, все встреченные — или бывшие каторжники, или дети каторжников (по местному выражению «сынки», в моральном отношении, увы, едва ли не худшие, чем родители). Даже старосты сельских обществ, и те были, естественно, из бывших каторжников.

Климат острова был крайне суровым. Я приехал 6 сентября и, помню, был поражен, что утром выпал снежок, а между тем овес в поле был еще зеленым. Внутри острова, в долине реки Тыми, условия земледелия были, правда, лучше, и

в двух больших селах — Рыковском и Дербинском — запашка достигала в общем 500 десятин. Но характерно, что земельной единицей считалась не десятина, а «пуд», то есть площадь примерно в десять раз меньшая, могущая быть засеянной пудом зерна.

Что росло пышно — это растение, внешним видом напоминающее наш лопух. Лес — преимущественно лиственница — рос в изобилии. Поражало обилие леса, употребляемого на постройку мостов. Было ясно, что рабочая сила была раньше даровою и ее не экономили. По рассказам, даже подвозка бревен делалась часто не лошадьми, а людским трудом. И подумать, что при всем этом не выстроили в Александровском посту мола. А может быть, боялись, что легче будет бежать с этого проклятого места.

В следующем, 1912 году Переселенческое управление командировало на остров землемеров для отвода постоянных наделов оставшемуся населению, и я опять был на Сахалине.

Не могу забыть характерного случая: близ села Рыковского была расположена богатая заимка с довольно крупным хозяйством некоего Синеокова, высокого человека с очень красивым лицом. Я у него ночь был, и когда зашел разговор о наших землемерах, сказал Синеокову, что мы ему отведем, как обычно, 60 десятин, что приблизительно совпадало и с размерами его хозяйства.

— Вы ведь числитесь в Рыковском? — спрашивал я его.

— Нет, я выписался и опять приписался на Кубани к своей прежней станице, — ответил он.

Я стал в тупик. Мы вели землеустройство сахалинцев, и отводить землю даром я мог только лицам, числившимся юридически в составе местных сельских обществ, «посторонним» же, которым с точки зрения закона являлся мой хозяин, можно было только брать казенные земли в аренду, и притом в виде общего правила, с торгов и только в исключительном случае без торгов, испрашивая на то каждый раз Высочайшее повеление. Я подробно объяснил все это Синеокову и, учитывая ценности его хозяйства, в которое им было вложено столько труда, советовал ему вновь приписаться к соседнему селу. Но он остался при своем.

— Мне-то что, — сказал он, — я все равно останусь здесь, но сын мой сейчас учится в реальном училище. Сейчас

он сын казака, а тогда станет сыном сахалинца, «сынком». Не хочу на него на всю жизнь клеймо класть.

По-своему он был прав. Как я узнал потом, Синеоков был на родине из богатой семьи и на каторгу попал за убийство на романтической почве. Я обещал ему доложить его дело генерал-губернатору и постараться провести через министерство сдачу ему его зимовки в долгосрочную аренду на льготных условиях и без торгов. Гондатти с моим докладом согласился, и думаю, что в этом смысле дело Синеокова впоследствии и разрешилось.

Но это все происходило в 1912 году. При первом же моем посещении Сахалина я на нем провел всего лишь несколько часов и тем же пароходом выехал во Владивосток. По дороге мы заходили в Императорскую Гавань, где работало крупное лесопильное предприятие. По размеру бухты здесь мог бы поместиться в укрытом месте целый флот, но зимой она, думаю, замерзала и потому экономического развития получить не могла.

Заходили еще в бухту Святой Ольги, где я уже был в 1908 году с Иваницким, теперь же обревизовал во время стоянки парохода канцелярию заведующего водворением Ландезена. Это был довольно дельный и старательный молодой человек, к сожалению, кичащийся своим университетским значком, и муж сварливой жены. На этой почве вечно происходили ссоры между ним и врачом переселенческой больницы Кирилловым, так что я решил при первой возможности перевести Ландезена в другое место.

Вернувшись с Сахалина, я съездил еще на Иман и так закончил круг моих поездок первого года. Наступила зима — время сводки итогов и подготовки новых планов следующей кампании. Меня очень увлекала мысль устроить в декабре съезд всех заведующих подрайонами, чтобы дать им возможность ознакомиться друг с другом, поделиться каждому своим опытом, своими сомнениями, выработать, наконец, общий согласованный план работы. При таких условиях меня очень неприятно поразила телеграмма, полученная от Глинки, относительно желательности моего приезда в Петербург, и я ответил решительной просьбой не прерывать моей работы во Владивостоке, на что, впрочем, немедленно последовало согласие. (Много позднее я узнал, что телеграмма Глинки была им по-

слана после свидания его с Мама, которая, кажется, боялась, что loin des yeux, loin du coeur[1] я потеряю возможность устроить свою жизнь, и поделилась своими страхами с Глинкой, сердечное расположение которого ко мне она знала.)

Уж не знаю, не этому ли обнаружению мной преданности работе обязан я неожиданному служебному повышению: в начале 1912 года я был сделан чиновником особых поручений V класса, что, не меняя моих прав, ни денежного оклада, считалось, однако, поощрением, ибо сравнивало в классе должности с начальниками отдельных частей областного или краевого управления. Надо, впрочем, сказать, что большого значения эта перемена класса должности не имела: переселенческая организация и без того занимала совершенно исключительное положение в круге местных учреждений, благодаря, главным образом, обилию средств, которыми она располагала и которыми могла влиять на развитие экономической и культурной жизни края. Достаточно сказать, что дорожный кредит был раз в десять больше того, которым располагало местное земское хозяйство, что на средства Переселенческого управления ежегодно строились десятка три школ, ряд церквей, причтовых домов и т.п.

Летом я мало бывал в канцелярии, по примерному подсчету на неделю, проведенную во Владивостоке, приходилось три в разъездах по району. Зато зиму я провел почти сплошь в городе и совершенно сжился со своим маленьким служебным кабинетом, в котором проводил большую часть дня. Из четырех комнат моей квартиры я тогда же отдал две под расширение канцелярии, вполне довольствуясь своей спальней и столовой.

Обедать я ходил днем в город в ресторан при гостинице, а затем делал прогулку (по светлым или по боковым улицам, вползающим к верху горы). Среди зимы, когда Золотой Рог у берега замерзал, я ходил кататься на коньках, хотя со льдом из морской воды это большого удовольствия не доставляло.

В гостях я бывал сравнительно редко. Бедой моей — при расслоении владивостокского общества — была моя чрезмерная молодость. В «своем» кругу, то есть среди владивосток-

---

[1] С глаз долой, из сердца вон (*фр.*).

ского чиновничества, у меня ровесников не было. Губернатор и вице- годились мне в отцы, судейские — члены Владивостокского окружного суда — тоже. Молодежь с образованием всегда стремилась в столицы и в крупные центры и возвращалась в «губернию» уже женившись. Офицеры жили довольно обособленно, и большинство их притом жило не в самом городе, а на так называемом Русском острове, образующем передовой форпост крепости. Особняком же держались почему-то и моряки, и на вечерах у Манакина я встречал только командира эскадры и командира порта, адмиралов, с которыми сидеть было скучно. Был еще мир коммерсантов и адвокатов, но с ними я как-то долго не находил точек соприкосновения. Постепенно это, вероятно, бы изменилось, но надо иметь в виду, что летом я был вечно в разъездах, а в начале второй зимы уже должен был расстаться с Владивостоком. Флиртов, строго говоря, не было вовсе, если не считать дочери управляющего государственным банком, но она еще кончала гимназию и на вечерах не появлялась.

В конце зимы пришлось еще раз быть на Имане, посмотреть, как идут дела у нового заведующего Котельническим подрайоном. Туда был мною назначен бывший помощником у Тарасенко — Михаил Семенович Чубинский, из кубанских казаков. К сожалению, на самостоятельных ролях он оказался не вполне на высоте. То есть в смысле обычных функций заведующего водворением ему нельзя было сделать ни одного упрека, но в данном году велась продовольственная кампания, и на руках у него оказался крупный продовольственный склад. При проверке наличности оказалась крупная недостача муки. Честный Чубинский стоял вне сомнений, но, видимо, он не был достаточно аккуратен при проверке наличности зерна, доставляемого на подводах с Имана, а может быть, и при отпуске муки являющимся за ссудой. К тому же, если не ошибаюсь, кроме муки, раздаваемой в ссуду, в том же складе держалась и мука, раздаваемая переселенцам сельскохозяйственным складом, контрагентом которого являлся теперь Чубинский. Чтобы не подводить человека, в честности которого я был убежден, я не составил тогда акта о проверке склада, а сказал Чубинскому, что даю ему время для приведения в порядок отчетности по продовольственной кампании, после чего поручу Тарасенке произвести опять

проверку наличности. И что готов ему одолжить необходимые деньги, чтобы покрыть нехватку. Бедный человек был страшно подавлен всем происшедшим, и мне его было глубоко жаль. Последующим подсчетом обнаружена была нехватка на сумму до 3000 рублей, которые я Чубинскому одолжил и которые он мне менее чем через год полностью вернул. В письме он сообщал, что продал часть земли на Кубани и благодарен мне, что я дал возможность ему избежать предания суду. В глубине души у меня, однако, осталось тяжелое чувство. Перед казною я был прав, но, по существу, остался наказанным человек, попавшийся по своей неопытности, а не по злому умыслу. И боюсь, что настоящий мой долг был, не скрывая дела от Петербурга, настоять, чтобы эта нехватка была с Высочайшего соизволения списана со счетов, а дело велено предать забвению.

С чем пришлось еще повозиться зимою — это с редактированием обширного труда «Старожилы стодесятники Приморской области», который на основании статистического обследования, произведенного еще в 1910 году, писал переселенческий статистик А.А. Меньшиков. По требованию Переселенческого управления издание должно было выходить «под редакцией» заведующего районом, но так как во Владивостоке типографии были крайне плохи и крайне дороги, то Меньшикову было разрешено печатать его труд в Саратове, где у него были знакомые и связи с тем, что он будет посылать мне по мере составления отдельные листы «на редакцию».

Одним из сложных вопросов крестьянского хозяйства того времени был вопрос о переходе от общинного пользования землей к единоличному. В условиях сибирских вопрос был одновременно и проще и сложнее. Собственно общинного землевладения там еще не сложилось, и поначалу благодаря обширности надела каждый пахал, что ему казалось удобно, а когда земля начинала обнаруживать признаки истощения, переходил на другой участок незанятой земли. Скот же пасли вместо всего села в пространстве, непосредственно окружающем усадьбы и огороженном по-местному «в поскотине». Такой полухаотический порядок мог тянуться десятилетиями, то есть до тех пор, пока в пределах отведенного обществу надела находились свободные, никем не занятые наделы. Но к

началу 1910-х годов земель этих стало не хватать, и крестьяне, в первую, конечно, очередь старожилы, ощутили потребность навести какой-то порядок в пользовании землей и, естественно, склонились к мысли разделить полевые участки между отдельными домохозяевами. Переселенческое управление, в целом занятое образованием новых участков, не имело в первые годы возможности заняться вопросами внутринадельного размежевания крестьян, и дело это в Приморской области попало в руки группы частных землемеров, которые за известную плату с десятины брались разверстать общественный надел или, во всяком случае, полевую часть его, на участки единоличного пользования. Работа эта бывала довольно сложной и ответственной. Нельзя забывать, что при стодесятинном наделе село в 150 дворов имело общей площадью (включая каменистые земли и болота) около 20 000 десятин. Земли бывали неодинакового качества, что затрудняло проектирование равноценных участков или заставляло отводить каждому хозяину землю в нескольких кусках в разных концах надела, что считалось с точки зрения хозяйственной нецелесообразным.

Обычно возникало еще затруднение юридического характера. Как делить земли: «по номерам», то есть по сто десятин каждой первоначальной семье, или пропорционально численности каждого семейства в момент размежевания — «по душам». Последний принцип более отвечал мировоззрению общинных крестьян, выходцев из Европейской России, первый — коренился в воспоминаниях о времени водворения в крае, когда каждому обещалось сто десятин казенной земли — номер. За пятьдесят лет, прошедшие со времени возникновения многих сел, некоторые семьи сильно разрослись и для них раздел «по душам» был гораздо выгоднее раздела «по номерам», для других было предпочтительно решение противоположное.

По закону вопрос о выборе того или иного способа наделения землей и способа разбивки участков предоставлялся решению сельского схода, большинством двух третей голосов. Понятно, какие распри это вызывало на практике и как трудно было подчас достичь требуемого большинства. Жалобы недовольных разбирались в уездном съезде крестьянских начальников и могли затем в случае недовольства перено-

ситься в областное по крестьянским делам присутствие, где докладчиком по этим вопросам являлся заведовавший переселенческим делом в районе.

Мне лично пришлось принять близкое участие в разрешении двух дел. Первое было довольно простым. Село Кневичи пригласило частного землемера, который произвел съемку земель и составил проект размежевания, но затем не привел его в исполнение и уехал, забрав авансами почти всю стоимость работ. Крестьяне обратились ко мне с просьбой дать казенного землемера, на что я, ввиду исключительности положения, согласился, но при условии, что проект будет пересмотрен в техническом смысле. Дело в том, что по проекту частного землемера каждый домохозяин получал землю в семи местах надела, не считая права на участок в оставляемых в общем пользовании леса и выгона. Я объяснил, что такой проект не допускается правилами землеустройства, и если они хотят воспользоваться технической помощью казенного землемера, то должны постановить новый приговор об ином способе разбивки земель. Требование мое вызвало много возражений. К противникам «землеустроительного» способа нарезки участков присоединились противники размежевания вообще, и, когда я приехал в село, сход шумел, спорил и никак не мог прийти к решению. Каюсь, что в данном случае я, что мы в шутку называли, «изнасиловал» сход, то есть не распускал его до тех пор, пока число подписей на составленном проекте приговора не достигло двух третей всего числа домохозяйств в селе. Но кончилось это, кажется, около часу ночи. Вышло, что я «пересидел» крестьян.

Другой случай был гораздо серьезнее. Дело шло о селе Астраханке, одном из первых в крае, основанном еще в 1860 году. Здесь работал очень толковый частный землемер, составивший проект, основанный на принципе раздела земли «по номерам». Между прочим обнаружилось, что потомков двадцати четырех из первых хозяев в селе нет. Причитающиеся им 2400 десятин были отбиты в отдельном куске и оставлены по проекту «в распоряжении казны». Постановление приговора вызвало в свое время много споров, но требуемое большинство в пользу раздела земли «по номерам» было формально достигнуто, и зимой 1911/12 года землемер составил проект новых подворных участков.

Наступила весна, и возник вопрос: где пахать? По-старому или по-новому, так как формально проект еще не утвержден, то принят сходом не был. Крестьянский начальник, человек, не имевший среди крестьян большого авторитета, не знал, что делать, и прислал губернатору длинную телеграмму, прося ответить, как крестьянам пахать, добавляя, что он считает лучше оставить пока по-старому. Я переговорил с вице-губернатором (Маканин был почему-то в отъезде), и крестьянскому начальнику было разъяснено, что решение вопросов землемежевания предоставлено законом не властям, а сельскому сходу, и что для решения, где пахать весной 1912 года, то есть на старых участках или на вновь запроектированных землемером, ему надо созвать сход. Ответ пришел неожиданный по телеграфу же: «Распоряжение Вашего превосходительства исполнено, результат — трое раненых, двое умерло, испрашиваю дальнейших указаний. Пагирев».

Телеграмма пришла кстати, во время заседания областного присутствия. Было ясно, что дело серьезно и надо его авторитетно на месте разрешить. Решили, что я немедленно поеду в Астраханку и постараюсь привести стороны к согласию. Случайно во Владивостоке был Гондатти, и я зашел к нему в вагон, доложил дело и испросил его согласия, если бы это могло помочь разрешению дела, пустить в раздел часть земли, оставленной «в распоряжение казны».

Выехал я в тот же вечер, переночевал на переселенческом пункте в Никольске-Уссурийском и на следующее утро выехал на почтовой тройке в Астраханку. Чувствовал я себя неважно, так как простудился перед отъездом, и, задремав в тарантасе, проснулся на первой почтовой станции совершенно без голоса, чрезвычайно некстати, когда едешь на сход. К счастью, дорога была дальняя: от Никольска до Астраханки было около ста верст, дорога же была отчаянная, весенняя распутица, и один перегон я ехал сплошь водою. Поэтому пришлось еще раз заночевать в дороге, и выпитый перед сном горячий чай с красным вином оказал свое действие: на следующее утро голосовые связки пришли в порядок и, приехав в Астраханку, я мог сразу начать совещание с крестьянским начальником и уполномоченным схода.

Как я и думал, крестьянский начальник оказался человеком, совершенно неспособным разбираться в сложных вопро-

сах землепользования и вообще не очень знакомым с крестьянским законодательством. Получив телеграмму, он созвал сход и объявил, что губернатор велел пахать «по-новому» (что было неверно, но Пагирев, лично стоявший за сохранение старого порядка, понял из телеграммы только одно, что с ним не согласились, и заключил, что начальство велело «пахать по-новому»). В результате на сходе произошли бурные ссоры, а ночью часть «душевиков» оказалась кем-то зверски избитой. Раньше чем что-либо предпринимать, я решил подробно ознакомиться с проектом раздела и главными пунктами недовольства, для чего выехал вместе с уполномоченными в поля Астраханки.

В результате оказалось, что наиболее слабым местом проекта является решение раздать новые участки по жребию: при этой системе хозяева, имевшие на старых участках «заимки» с хозяйственными постройками, их теряли и поля, которые они пахали десятилетиями, переходили в новые руки. Была также группа хозяев, особенно сильно затронутых принципом раздела «по номерам». В одной семье — фактически распавшейся на три, но ведшей испокон веку хозяйство сообща — насчитывалось, кажется, 30 душ, и в результате жеребьевки громадная принадлежавшая им заимка уходила в другие руки. Было ясно, что эту группу хозяев надо было поддержать во что бы то ни стало, и я воспользовался полученным мною от Гондатти разрешением пожертвовать частью земельного запаса, оставленного в Астраханке в распоряжение казны. Начали с того, что этим разросшимся семьям предоставили дополнительные участки из состава «запашных земель» — в общем, кажется, 14 номеров, а затем стали склонять крестьян, получивших жребий в «заимках» этих «многосемейных», обменять свой новый участок на тот дополнительный, который я отводил «из запаса». Думаю, что хозяева, получившие свой жребий на заимке старожилов, были сами не очень этому рады, понимая в душе, что им на этом месте будет не житье, и охотно шли на обмен, что облекалось мною в форму полюбовного акта об обмене участков, который должен был быть приложен к проекту общего разверстания. В результате после долгих переговоров мне удалось почти восстановить первоначальные землепользования группы недовольных и добиться почти единогласного принятия проекта всем селом. Остался один недовольный, некто Волк, на старом его участке рос ле-

сок, чрезвычайно ценный в безлесной местности Приханкайской равнины, но все село единогласно утверждало, что лес — естественный, а не выращенный им, и раз жребий на этот участок выпал другому, то он должен подчиниться. Все попытки мои склонить нового собственника лесного участка к обмену ни к чему не привели, и я решил, что «лес рубят — щепки летят»: придется Волку расстаться с привычным местом. Формального повода для закрепления за ним его леска не было, и когда проект разверстания поступил бы на рассмотрение уездного съезда, последнему осталось бы только оставить жалобу Волка без последствий.

Так или иначе, большое дело — разверстание одного из крупнейших сел с наделом в 20 000 десятин — казалось налаженным почти что к всеобщему удовлетворению, и крестьяне дружелюбно со мной расстались.

На обратном пути я заехал еще раз в Никольск и подробно осветил все дело председателю уездного съезда, умнейшему крестьянскому начальнику Холодцову, который вполне одобрил принятый мной способ решения дела. Не знаю, к сожалению, чем дело кончилось: окончательный проект, с разбивкой в натуре, должен был рассматриваться на съезде только на следующий год, когда я уже был в Ташкенте. На беду мою, дело было еще раз сильно испорчено. В июле, когда я выехал встречать Глинку, Манакин делал объезд области и был в Астраханке, где к нему обратился с жалобой Волк. Человек непосредственного чувства, Манакин, не расспросив подробно, в чем дело, не справившись, какие уполномочия ему предоставлялись законом, громогласно заявил, что он «этого разверстания не допустит», и тем, думаю, бесполезно, но пробудил опять утихшую было распрю крестьян.

КАНИКУЛЫ В ЯПОНИИ

Но рассказом об Астраханке я несколько забежал вперед, и надо сказать несколько слов о моей поездке в Японию. Близость Японии, в которую чуть ли не дважды в неделю отходили из Владивостока пароходы, меня, естественно, соблазняла, и я решил воспользоваться пасхальными праздниками, чтобы побывать хотя бы в главном центре этой страны.

Выехал я на пароходе добровольного общества в Страстной четверг днем и после очень спокойного перехода утром в субботу высадился в Цуруге. В дороге я познакомился с ехавшим тоже на праздники в Японию редактором владивостокской газеты Пантелеевым, очень милым и интересным молодым человеком, с которым дальше мы ехали вместе. Погода была еще свежая, но довольно ясная, и было интересно смотреть, как аккуратно разделаны поля, громоздящиеся на склонах гор, но гордость Японии вулкан Фудзияму с его снеговой вершиной мы, насколько помню, из-за тумана не видели. Поезд шел очень быстро. Из Цуруги до Токио около 300 километров, которые проехали, кажется, в 9 часов, включая и время пересадки в Киото. Вагоны поражали своей чистотой и заботливостью о пассажирах, о которой в России и не думалось. Достаточно сказать, что после каждого посещения ЦС пассажиром туда отправлялся проводник вагона, наводил порядок и вешал чистые полотенца. Пассажиры сидели, конечно, с ногами на сиденьях, но тоже поражали своим опрятным, а женщины нарядным, видом в красивых национальных костюмах.

В Токио мы приехали к вечеру и остановились в чудном номере в привокзальной гостинице. На мою беду, свойственная японцам аккуратность почему-то сдала, и оказалось, что на пересадке мой багаж от меня отстал. Пришел он, правда, на следующее утро, но результатом было то, что к пасхальной заутрене я попал в помятом сереньком пиджачке и чувствовал себя очень неловко среди нарядной незнакомой толпы.

Следующие два дня мы с Пантелеевым посвятили осмотру города и его ближней окрестности и покупанию бесконечных мелочей, поражавших своей дешевизной вазочек cloisonne, металлических коробочек, изделий из слоновой кости, вышивок по шелку и так далее. Сам город поражал больше всего своей чистотой и опрятностью, объясняемых, я думаю, в значительной степени отсутствием лишнего. Способы передвижения, если не пешком, — рикша, автомобили были редки, трамвая, кажется, только одна линия. Должен, однако, сказать, что езда на рикшах мне лично не нравилась, неприятно слышать тяжелое дыхание бегущего человека, везущего вас с усилием (в виде общего правила, европеец гораздо тяжелее японца, и усилия рикши соответственно напряжены), и чтобы не про-

студиться, часто бегущего с платком, прикрывающим открытый рот. Рассказывали, что все рикши рано умирают, обычно от чахотки.

Особенно понравились мне сады, окружающие город, и красочная толпа детей, за малым исключением, прехорошеньких и нарядно одетых: девочки с бантами в волосах. Японцы любят детей и очень о них заботятся. В смысле времени года начинался период цветения вишни, к которому в Японию приезжает много иностранцев, главным образом, конечно, англичан и американцев (второй период наплыва иностранцев — осенью, время цветения хризантем, потом же групп туристов бывало гораздо меньше). Поэтому все сады были полны розовым цветом. Как водится, осмотрел многочисленные храмы с причудливыми божками, но особенного впечатления они на меня не произвели. Чувствуется наличие культуры совершенно нам чуждой, особенно же в области религиозного восприятия. Был также в православной церкви на пасхальной вечерне. Храм довольно величественный, выстроен на самой возвышенной части города и виден оттуда почти отовсюду. Служба меня удивила своей продолжительностью, по-видимому, это объясняется свойственной японскому языку длиннотой слов. Даже слово «я», почти везде односложное, у японцев (витакуси) берет четыре слога. Знаменитого епископа Николая, просветителя японцев и основателя Японской православной церкви, уже не было в живых, он скончался в предыдущем году, кстати, искренне оплакиваемый своей паствой, которая к 1910 году превышала 50 000 человек. Популярность его, совершенно исключительная, выдержала даже искус Русско-японской войны, которую святитель провел не отлучаясь от паствы и совершал свои служения, как обычно. Кажется, я заходил познакомиться с его преемником, но особого впечатления от этого посещения не вынес

Времени и у меня и у Пантелеева было мало, и осмотреть Японию сколько-нибудь подробно мы не могли, оттого решили ограничиться поездкой на север в Никко, место погребения японских императоров, и даже не останавливаться по дороге в Иокогама, через которую шел наш поезд и где, кстати, приходилось пересаживаться, а только бросить беглый взгляд на ее порт, важнейший на Тихоокеанском побережье Японии.

Никко стоил того, чтобы мы поехали его смотреть. Но не столько самими храмами, которые следовали обычному стилю, сколько удивительным сочетанием архитектурных форм с топографией. Общее впечатление было — крайняя живописность целого. Другой достопримечательностью была громадная статуя Будды, казалось, уснувшего в блаженном покое среди розового парка вишневых деревьев. Это стоило видеть.

На обратном пути меня поразили на ряде станций многочисленные группы японцев, носивших отличительные повязки на руках и следовавших за какими-то руководителями характерной для японской толпы рысцой с позвякивающими по камням сандалиями. Мне объяснили, что это группы туристов, которые в праздничные дни путешествуют по стране, пользуясь установленными для этого крайне дешевыми тарифами, так как считается полезным, чтобы подданные знали не только свой город, но немножко и всю страну. Теперь в Западной Европе такие excursions de vacances[1] вошли в обиход, а тогда, думаю, были редкостью и в Европе, а в России об установлении для этого особых тарифов не думал, кажется, никто.

Другой вещью, меня живо заинтересовавшей, был обычай ежегодно созывать в столицу губернаторов всех японских провинций, которым премьер излагал программу деятельности правительства на предстоящий год, чтобы они знали, чем руководствоваться в отправлении своей должности. Такой съезд проходил в дни, когда я был в Токио. Надо полагать, что это был период, когда Америка вела яростную борьбу с иммиграцией желтых и принимался ряд резко запретительных мер. Премьер подробно осветил этот вопрос в своей речи губернаторам и говорил, что для Японии крайне важно, чтобы люди европейской культуры признали японцев равными себе по культурности, и что одним из способов к ускорению усвоения этой идеи является вежливое и внимательное отношение к туристам, на что обращается особое внимание губернаторов. Читая про это в газетах, мне невольно думалось, насколько японцы опередили нас, несмотря на сравнительно столь недавнее начало у них эры реформ.

---

[1] Экскурсии на каникулах (*фр.*).

На обратном пути я останавливался еще на два дня в Киото, бывшей столице страны. Смотрел старинные дворцы, почти, впрочем, пустые, пошел на танцы девочек-гейш по случаю праздника вишневого цветения; очень пластично, но опять ничего как-то моему ни сердцу, ни уму не сказали, и вернулся во Владивосток уже в начале недели.

ПРОЩАНИЕ С ДАЛЬНИМ ВОСТОКОМ

Лето 1912 года, как и предыдущее, прошло почти целиком в разъездах. Покончив благополучно с Астраханкой, я сделал большую поездку по переселенческим участкам, вкрапленным среди старожильских селений Приханкайского района, а затем, в июне, отправился в Анучинский подрайон, куда как-то не удалось попасть предыдущим летом. В коммуникационном отношении этот подрайон считали «отработанным», то есть в нем не отводилось новых участков для переселенцев, так как существующим поселкам были отведены все годные для распашки земли в двух долинах: Даубихе и Улахе. Долины эти были сравнительно узкими и замечались возвышенными массивами, сплошь занятыми вековым лесом, с преобладанием могучих кедров. Наиболее удаленной была долина Улахе, где уже довольно давно жили староверы, между прочим широко занимавшиеся пчеловодством. Коровин считал эту долину лучшим местом Уссурийского края, укрытым горами от холодных ветров и благодаря этому всегда с урожаями. Места, однако, были глухие, в лесах водились еще тигры, и рассказывали (будто бы не анекдот) про переселенческого землемера, который пошел на охоту за оленем, вдруг увидел крупного тигра, целящегося на него прыгнуть. Землемер будто бы упал на землю, и тигр, прыгнув по ошибке через него, сконфуженно ушел, но землемер тотчас свернул свои пожитки и инструменты и, вернувшись во Владивосток, подал в отставку, не желая рисковать во второй встрече со зверем, которая могла кончиться не столь благополучно. Передаю рассказ, как я его услышал, между прочим впоследствии мне пришлось читать, что тигр, промахнувшийся в прыжке, действительно никогда его не повторяет и уходит в сторону. Должен сказать, что в мое время тигры в район селений заходили чрезвычайно ред-

ко. Только раз в Хабаровском уезде я был поражен, увидев в одном поселке все стадо на улице, и на вопрос о причине этого мне объяснили, что в леске, прилегавшем к «поскотине» (выгону) накануне видели тигра. Признаюсь, что ехал потом мимо этого леска с чувством неуютным, но думаю, что тигра там уже не было, иначе лошади бы его зачуяли.

Но в долине Улахе дел больше никаких не было, и я ограничил свой маршрут долиной Даубихе. Подрайонный жил в урочище Анучино — верстах в ста от Никольска почтовым трактом. Между прочим, эта поездка запомнилась мне обилием светлячков (была вторая половина июня). Ехал я поздно, солнце зашло, и в темноте мелькали мимо тарантаса сотни огоньков. В самом тарантасе их было не менее десятка.

Наиболее крупным селом была Яковлевка, от которой шла большая дорога, выстроенная переселенческой организацией к линии железной дороги. Но я решил проехать долину до конца и двинулся дальше от поселка к поселку. Скучна была только медленность передвижения. Шел сенокос, и в поселках оставались лишь стар да млад, оттого, приехав куда-нибудь утром, приходилось иногда сидеть без дела весь день в ожидании, чтобы в село вернулись мужики и староста нарядил мне очередную подводу до следующего поселка.

Помню еще курьезный случай, как я искал дорогу, выстроенную переселенческой организацией года за три до моего приезда. Дорогу, вероятно, проектировали до заселения участков, между напроектированными местами будущих поселков; общее протяжение ее было, кстати, шесть верст. Между тем крестьянам почему-то понадобились для усадеб другие места, и два поселка возникли вблизи друг от друга, верстах в полутора. Сперва я не мог понять, почему мосты на этой дороге, соединяющей оба поселка, не похожи совсем на тип, усвоенный переселенческим управлением, почему нет канав и т.д., и только потом понял, что эта фактически дорога не та, которую я хотел видеть. Не без труда нашел я затем «нашу» дорогу. За три года она совершенно заплыла и заросла, и мосты, за ненадобностью их, очевидно, растащили. Обидно было затраченных зря средств и совестно за то, что не уследили за дорожным техником, строившим дорогу в стороне от тех поселков, которые она должна была обслуживать.

Должен сказать, что ожидание подвод в поселках меня под конец сильно извело, и когда в одном из последних поселков очередной возница предложил вывезти меня к железной дороге лодкой, я с радостью согласился. Поездка была довольно приятною. Мы спустились по Даубихе до того места, где, сливаясь с Улахе, она образует Уссури, а затем по этой последней до пересечения ее с линией железной дороги.

Оттуда, помнится, поехали в расположенный неподалеку Шмаковский монастырь, славившийся своим благоустройством и хорошо поставленным сельским хозяйством. Работали и сами монахи, и рабочие, преимущественно корейцы. Постройки были каменные, солидные. Везде чувствовался хозяйственный глаз.

В июле через Приморскую область проехал Глинка вместе с Чиркиным. Я выехал к ним навстречу в Хабаровск (они ехали по «времянке» — дороге вдоль строившейся тогда железнодорожной магистрали). Глинка был, как всегда, страшно сердечен и, против обыкновения своего, чрезвычайно снисходителен. Правда, что я честно возил его в некоторые места, где сам до того не бывал, что, вообще говоря, практика чиновников не рекомендовала, но я слишком знал Глинку, чтобы пытаться втирать ему очки. Насколько помню, мы ездили смотреть дороги от станции Бикин в Хабаровском уезде, а затем от Имана до села Ракитного, где только что была закончена новая больница и проектировалось открытие подрайона. Я выбрал этот маршрут, потому что Глинка проделал его в 1907 году и ему было бы интересно видеть, как устроились переселенцы, которые тогда только что прибыли. Проехали, между прочим, мимо кладбища села Тавалазы, где Глинка в 1907 году, по рассказам Шликевича, вышел из тарантаса и, сняв фуражку, положил земной поклон. Среди детворы этого села тогда вспыхнула эпидемия дизентерии, и на кладбище только что основанного поселка уже был лес детских крестиков. У Глинки вообще было страшно сильно развито чувство моральной ответственности перед переселенцами. «В Америке, — говаривал он, — тратятся миллионы на дело колонизации. У нас этих миллионов нет, и русский мужик своими костями строит Сибирь». Оттого он считал, что чиновник должен, прежде всего, заботиться о переселенцах. Он прочитывал почти все просьбы, поступавшие в Переселенческое управление, а в делопроиз-

водство они передавались испещренные резолюциями Глинки, особенно если по стилю можно было предполагать, что писал сам переселенец, а не какой-нибудь грамотей-писарь.

Жизнь в реальных ее проявлениях — вот что более всего увлекало Глинку, ко всяким «планомерным колонизациям» он относился более чем скептически, хотя, уступая духу времени, и соглашался на постановку их в виде опыта в некоторых местах Сибири.

После Имана я провез еще Глинку в северную часть Посьетского района, и день он провел во Владивостоке, где к нему присоединился почему-то отставший в пути Чиркин. Чтобы поговорить еще о делах, Глинка предложил мне проехать с ним в поезде до Харбина, на что я тогда с радостью согласился, а потом жалел, так как как раз в эти дни Манакин отправился в объезд области и напортил мне в Астраханке дело, с таким трудом только что налаженное.

Расставшись с Глинкой, я вернулся во Владивосток, чтобы вскоре выехать в северную часть района, где оставались недосмотренными в прошлом году переселенческие участки и поселки Бирского района. Район этот на том берегу Амура относился, строго говоря, к Амурской области, но так как экономически он тяготел к Хабаровску, откуда еженедельно ходил рейсом наш пароход, то он был передан в Приморский переселенческий район. Земли там были неплохие, но очень сырые и много было болот. Поселки с трудом устраивались и жили надеждой на скорый приступ к строительным работам, так как они прилегали к запроектированной линии Амурской железной дороги, к конечному ее участку, пересекающему Амур у самого Хабаровска, где должна была быть смычка ее с Уссурийской железной дорогой. Впоследствии этот район вместе с прилегающим к нему с запада бассейном реки Биджан образовал при большевиках Биробиджан, где было решено создать автономную еврейскую республику. Вышло ли что-нибудь из этой большевистской затеи, по газетам судить трудно. С проведением Амурской магистрали вся экономическая обстановка должна была в этом районе коренным образом измениться, но при мне он считался одним из наиболее трудных для заселения.

В конце августа мне пришлось опять поехать в Николаевск-на-Амуре. Были жалобы на Власьева, и губернатор про-

сил меня поехать туда на ревизию. Сведения оказались сильно преувеличенными, но у меня осталось впечатление, что в основе их была привычка Власьева распоряжаться самовластно, не всегда соблюдая некоторые формальности. Я доложил всю обстановку Гондатти, и, если не ошибаюсь, было решено перевести Власьева в другой подрайон, более доступный постоянному наблюдению.

Из Николаевска я, как и в предыдущем году, проехал на Сахалин, где оставался около недели, и вернулся во Владивосток на крейсере Министерства земледелия вместе с Гондатти. Подробности этой поездки я уже описывал выше, добавлю только, что мы на себе опять испытали неудобства от отсутствия в Александровском посту мола. Мы сидели за обедом у губернатора, когда пришли сказать от имени капитана, что поднимается легкий ветер с моря и что если мы не хотим застрять на Сахалине, то он просит немедленно вернуться на крейсер. Еле докончив наспех обед, Гондатти распростился с хозяевами, и мы все торопливо отправились на пристань, где, к счастью, успели сесть на катер и благополучно пристать к нашему крейсеру.

За два лета я успел хорошо изъездить все уголки Приморского района и знал последний лучше многих чиновников, живших там годами. В начале ноября в городе Никольске-Уссурийском проходил впервые созванный в области съезд сельских хозяев. Председательствовал Гондатти, товарищем председателя был Николай Степанович Веденский, местный помещик, бывший в 90-х годах заведующим переселенческим делом (между Буссе и Гондатти). Мне пришлось несколько раз выступать с пояснениями о роли и задачах переселенческих организаций. Гондатти терпеливо высидел почти все заседания и остался очень доволен сознательностью участников съезда, среди которых преобладали крестьяне-старожилы. Между прочим вечером, после одного из заседаний, я в компании нескольких человек немного кутнул и после бессонной почти ночи, должно быть, задремал на утреннем заседании. Сидел же я в первом ряду, а Гондатти за столом президиума на эстраде. А после заседания Гондатти не без ехидства сказал: «Удивителен все-таки интерес, проявленный крестьянами к съезду, и заметьте, ведь несмотря на длинные заседания, ни один из них ни разу не задремал». Упрек был не

в бровь, а прямо в глаз. Должен сказать, что этой второй зимой работать приходилось мне уже меньше, чем вначале. Много вопросов было подготовлено, и работа приобретала более спокойный, будничный характер, давая возможность несколько чаще бывать в гостях. Были и перемены в составе владивостокского общества. В соседнем со мною военном доме появился новый начальник дивизии Нищенков с очень милой семьей (годом спустя он трагически погиб вместе с дочерью и, кажется, сыном, объезжая в автомобиле крепостные укрепления). Назначен был новый вице-губернатор Ладыженский, которого я знал по тверским выборам, бывший улан.

Но эти перемены на моей владивостокской жизни уже не сказались. В начале ноября я вдруг получил из Петербурга шифрованную телеграмму, в которой Глинка сообщал, что Успенский оставляет Ташкент и, ввиду значения, которое эта должность приобретает для будущего переселенческого дела в крае, он хочет выставить мою кандидатуру, и испросил на это мое согласие. Чувство, которое эта телеграмма во мне пробудила, было очень двойственное: с одной стороны, предлагаемое назначение было крупным служебным успехом, этап вице-губернаторства был бы обойден, так как начальники Управления земледелия лично назначались губернаторами. Кроме того, Туркестан приобретал в то время особое значение: осенью 1911 года был денонсирован наш торговый договор с Соединенными Штатами, и, чтобы сделаться возможно менее зависимыми, было признано первоочередной государственной задачей — всеми мерами развить в России собственное хлопководство, главным районом которого являлся Туркестан. Весной 1912 года Кривошеин ездил сам в Туркестан, и написанный Тхоржевским отчет об этой поездке (который заведующие подрайонами получили для ознакомления) давал ясно понять, что Туркестан становится в центре интересов нашего ведомства.

С другой стороны, было жаль оставлять во Владивостоке дело, которое только что успел досконально изучить и в области которого был ряд проектов, которых не удалось осуществить в первые два года, но была надежда наладить в дальнейшем. Затем, что ни говори Глинка, а переселенческое дело играло в Туркестане роль второстепенную, а с этим делом была связана вся моя служба с самого первого дня, и даже

отчасти в лицейские годы. В чисто житейском отношении Туркестан давал преимущества более приятного климата, а главное, сравнительной близости Петербурга (четверо суток пути вместо семи), и вспоминалось, что я обещал маман, когда ехал во Владивосток, не отказываться от перемещения на более близкое место, если бы таковое было предложено.

В результате я телеграфировал Глинке, что глубоко тронут его предложением и не считаю себя вправе отказываться, хотя не без сожаления расстанусь с любимым делом во Владивостоке, и в общем был бы рад там остаться. Ответа на мою телеграмму я не получил и около двух недель оставался в неуверенности относительно дальнейшей службы, как вдруг получил из Хабаровска от бывшего моего сослуживца Болтунова (состоявшего при Гондатти секретарем по делам Б. Амурской экспедиции) телеграмму, поздравляющую с новым назначением, а через день узнал, что 26 ноября состоялся высочайший указ о моем назначении начальником Туркестанского управления земледелия и государственных имуществ. Владивостокский период моей жизни был кончен. Из Петербурга мне дали знать, что желателен скорейший мой приезд и что мне незачем ждать моего заместителя (бывшего заведующего Тобольским районом Клепинина, назначенного, кажется, по просьбе Гондатти), а предлагается сдать дела Коровину.

Последние дни ушли на прощальные визиты. Сослуживцы устроили мне обед и поднесли очень скромный, но симпатичный бювар с надписью «От Приморского переселенческого района и Уссурийской землеотводной партии» с очень трогательным адресом внутри. Говорились на обеде милые речи, и было впечатление, что, несмотря на кратковременность моего пребывания, сослуживцы (во всяком случае, те, которым приходилось со мной соприкасаться) меня оценили, если даже не полюбили. По крайней мере, один из старых землемеров (Саша Лужин, как его шутя называли, «горький пьяница», но недурной работник) сказал, обращаясь ко мне за прощальным обедом, несколько теплых слов, которые меня глубоко тронули.

В первых числах декабря я поехал в последний раз в Хабаровск представиться перед отъездом генерал-губернатору и проститься с сослуживцами.

Гондатти простился очень тепло, желал успеха в Ташкенте, не скрывая, что считает это место очень ответствен-

ным, на котором легко и провалиться. Не уверен, что он считал меня для него подходящим. Отдавая, вероятно, должное моей трудоспособности, Гондатти, думаю, предпочитал в душе людей иного склада. В основе его системы лежал принцип «всегда всем обещать», против которого я неизменно возражал и не считал себя обязанным поддерживать иллюзии, пробуждаемые словами генерал-губернатора, но заведомо для меня неосуществимые. Поэтому он, вероятно, был даже доволен перемене заведующего переселенческим делом, хотя, как передавал мне Болтунов, бывший ко мне искренне расположенным, Гондатти, узнав о моем уходе, сказал: «У Татищева было одно несомненное достоинство: он массу ездил и заглядывал во все уголки своего дела».

Думаю, что эта оценка была справедлива. Самому трудно оценивать свою деятельность. Конечно, никаких особенных результатов за полтора года моей владивостокской службы я не достиг, и вопрос, сумел ли бы внести заметный вклад в местную жизнь, если бы остался там дальше. Но одно могу сказать: работал я не за страх, а за совесть и сил и времени своего не жалел. Вместе с тем я всегда старался поддержать интерес к делу у своих подчиненных, всеми мерами показывал, что сам глубоко заинтересован их работой. Со многими из них я сохранил переписку и далее, до самой войны, когда они были призваны и покинули район.

Отрицательной стороной владивостокского моего пребывания было, если так можно выразиться, полное отсутствие личной жизни. Я уже упоминал, что в среде старшего чиновничества мне не было ровесников, круги же военные и морские держались как-то особняком. Не вполне все же понимаю, почему я не сделал попыток завязать более тесные отношения хотя бы с тем же Пантелеевым, после поездки в Японию, или, например, с несомненно интересным человеком, которым был английский консул Ходжсон (впоследствии первый английский посол в Москве). Думаю, с течением времени это, может быть, сделалось бы само собой, но тогда, в 1911—1912 годах, у меня, должно быть, просто не было времени где бы то ни было бывать.

Помню, например, что все собирался бывать у Бринеров, так как знал, что сам Юлий Иванович, один из руководителей Ялусского лесопромышленного предприятия, был хорошо ос-

ведомлен о событиях, предшествующих Русско-японской войне, и так и не удалось пойти дальше одного-двух визитов.

Живя во Владивостоке, я часто мечтал, когда получу перевод в другое место, воспользоваться случаем и совершить путешествие вокруг Азии. Но когда состоялось мое назначение в Ташкент, Петербург потребовал возможно быстрого моего приезда, и все, что я смог для себя урвать, это съездить на несколько дней в прилегающую часть Китая.

Время года такому путешествию тоже не благоприятствовало, стоял декабрь, и довольно суровый, так что всякого рода прогулки для осмотра достопримечательностей делались поневоле краткими.

В Харбине я вылез из сибирского поезда и пересел в направлении на Мукден. В Куаньчжендзы, вернее, в смежной станции Чаньчунь начиналась японская ветвь бывшей нашей железной дороги, с вагонами японского образца. В Мукдене я провел день, смотрел бывший дворец династии Минов, ворота города и какой-то древний храм, от которого мало что осталось в памяти.

Дня три провел, думаю, в Пекине, где останавливался в посольстве у покойного Владимира Граве. Запомнились ворота посреди города в память карательной экспедиции европейцев 1900 года. Надпись была по-китайски и по-немецки: «Ob des Zornes des Kaisers»[1]. И тогда уже думалось, что за такую надменность по отношению к местному народу европейцам придется в свое время поплатиться. Поражали марки своими надписями: «In commemoration of the Revolution»[2] (с портретом Сунь Ятсена) и «In commemoration of the Republic»[3] (с портретом Ли Хунчанга, бывшего маршала, ставшего первым президентом).

Из Пекина ездил на день в Дальний и в Порт-Артур, но стояла метель, отчего еще тягостнее было на душе, когда объезжал окрестные высоты, названия которых в то время еще живы были в памяти по военным сводкам. В Дальнем еще оставались кое-где русские вывески, но было ясно, что все это отошло навеки в прошлое.

---

[1] Из-за гнева императора (кайзера) (*нем.*).
[2] В ознаменование Революции (*англ.*).
[3] В ознаменование Республики (*англ.*).

ТАШКЕНТ

В Петербург я приехал в сочельник и водворился опять в своей комнате на Шпалерной, но, к некоторому моему удивлению, я почувствовал себя в Петербурге чуточку чужим. Порвались какие-то нити, связывавшие с некоторыми из знакомых, появились новые молодые люди и товарищи, которых я помнил почти детьми. Одним словом, я понял, что вышел из круга «танцующих молодых людей», которым всегда везде все рады, и что в будущем надо найти свой кружок и его держаться, забыв о былой привычке «порхать» повсюду. Весь былой «монд» пришлось увидеть на двух свадьбах: свадьбе Юрия Барановского с Катей Чичериной в лицейской церкви (в один день со свадьбой Ольги Б. с Шабельским), на которой я был шафером, и свадьбе Кати Ш. с Бадой Мейендорфом в церкви Шереметевского дома на Фонтанке.

Впрочем, особенно ездить в «свет» мне не пришлось и по другой причине. Кривошеин, когда я ему представился, выразил непременное желание, чтобы я как можно скорее выехал к новому месту службы, что меня несколько огорчило, так как лишало возможности присутствовать на придворных выездах по случаю Романовских торжеств (300-летия Дома Романовых), предстоявших в феврале. Припоминая теперь разговор мой в министерстве того времени, совершенно не могу понять, почему надо было гнать меня спешно в Ташкент и что вообще беспокоило мое начальство в туркестанских делах. Кривошеин на приеме сказал, что он «отнюдь не желает внешнего «оказательства», но что если надо, чтобы я не стеснялся и удалял всех, кто будет мешать или противодействовать». Но когда я приехал в Ташкент и ознакомился с делами, то никаких среди местных служащих стремлений противодействовать петербургским указаниям я не увидел. Думаю, что в данном случае во время или после кривошеинской поездки в Туркестан были какие-нибудь сплетни или взаимные наговоры, оставившие у Кривошеина впечатление, что на местах кроется какая-то «оппозиция». Во всяком случае, мне лично ни разу не пришлось воспользоваться правом «удалять нежелательных».

Но круг вопросов, с которыми надо будет иметь дело, оказался действительно чрезвычайно обширным и разнообраз-

ным, и весь январь я бывал каждый день в министерстве, знакомясь в разных департаментах с теми вопросами, которые стояли тогда на очереди, и уясняя себе самый строй Туркестанского управления земледелия и государственных имуществ.

Туркестанское генерал-губернаторство охватывало пять областей: Сырдарьинскую (главный город — Ташкент), Семиреченскую (город Верный — ныне Алма-Ата), Самаркандскую, Ферганскую, Закаспийскую (город Асхабад), раскинувшихся, таким образом, на протяжении почти 3000 верст от Каспийского моря до озера Балхаш на севере Семиречья. Но, конечно, большую часть этого громадного пространства занимала пустыня, и экономически жизнь сосредоточивалась в сравнительно небольшом числе районов, подчас, однако, весьма населенных и богатых (Фергана и др.). Основу населения составляли: в Закаспии — туркмены, в коренном Туркестане: на юге — оседлые сарты и отчасти таджики, севернее — кочевые, местами начинавшие оседать киргизы, в Семиречье — киргизы. Русские образовали в Семиречье цепь крестьянских и казачьих селений, в коренном же Туркестане сосредоточивались, главным образом, в городах. Переселенческие же поселки насчитывались не больше чем десятками. Но на очереди стояло орошение на казенный счет новых пространств, кстати, по проекту министерства должны были заселяться исключительно коренным русским людом.

В отличие от остальной России, Туркестан был в ведении Военного министерства, а не Министерства внутренних дел, и в областях были военные губернаторы, а помощники губернаторов (не вице-), между прочим, несли обязанности, возложенные в Европейской России и в Сибири на управляющих государственными имуществами, сносясь по вопросам более важным с генерал-губернатором через ташкентское Управление земледелия. Таким образом, это последнее, начальником которого я был назначен, являлось одновременно «высшей инстанцией» по отношению к областным управлениям, состоявшим в ведении помощников губернаторов, и самостоятельным учреждением, ведавшим вопросами общей политики ведомств в крае, и докладчиком по всем этим вопросам у генерал-губернатора, и наконец, учреждением, непосредственно заведовавшим в административном отношении

некоторыми учреждениями полунаучного характера, как опытные сельскохозяйственные станции, гидрометрические центры и так далее. Вместе с тем, поскольку ряд функций министра земледелия принадлежали в Туркестане генерал-губернатору, последний являлся фактически моим ближайшим начальником, и от отношений с ним зависела вся моя деятельность.

В этом отношении судьба мне очень благоприятствовала. Туркестанским генерал-губернатором был в 1912 году Александр Васильевич Самсонов (впоследствии трагически погибший со своей армией при Сольдау), который, в отличие от многих военных, не менее интересовался гражданской частью, чем делами военного округа. Перед Ташкентом он был несколько лет войсковым наказным атаманом на Дону и успел там изучить общие начала гражданского управления и законодательства. Экономические вопросы его тоже живо интересовали, а совпадение его общих взглядов с основными началами, проводимыми в жизнь нашим ведомством, значительно облегчало мою роль как посредника между местной властью и Петербургом. Вначале Самсонова очень смущала моя молодость, и, кажется, он скрепя сердце дал свое согласие на мое назначение, уступая горячей рекомендации Глинки. Но в дальнейшем относился ко мне вполне доброжелательно и, кажется, без всякого предубеждения. (Если вспомнить, что, когда зашла речь о моем назначении, он мог узнать, что я родственник и ровесник Сашки Оболенского, бывшего при нем веселым, но беспутным младшим адъютантом, естественно сомнение увидеть юнца — 26 лет — в роли руководителя одной из весьма ответственных отраслей местной жизни.) Отличием от дальневосточных обычаев было, однако, обязательное присутствие на моих докладах начальника канцелярии генерал-губернатора, но по существу дела я не мог не признать этого целесообразным, так как деятельность Управления земледелия близко задевала почти все стороны местной жизни, и надо было следить за тем, чтобы, преследуя интересы своего ведомства, я не нарушал слишком резко интересов туземного населения. К счастью, с Николаем Васильевичем Ефремовым у меня установились самые лучшие отношения, полные взаимного доверия.

Что касается наших областных учреждений, то еще до моего назначения было в принципе решено, что помощники губернаторов будут освобождены от обязанностей по заведованию государственными имуществами, и эти функции переданы в каждой области одному из старших чиновников ведомства. Реформа эта состоялась уже при мне, кажется, с 1 января 1914 года. Обязанности управляющих государственными имуществами были возложены в трех областях на местного ревизора, в Самарканде — на заведующего оброчными статьями, в Семиречье — на заведующего переселенческим районом. При этом ферганский губернатор, однако, настоял, чтобы вопросы общего характера вносились впредь управляющими государственными имуществами на рассмотрение областных правлений. Фактически эта процедура свелась к чистой формальности, но формально, однако, сильно связывала наше ведомство, почему я пытался сперва против не возражать, но в этом не успел, и Самсонов присоединился к мнению губернаторов и состоявшего при нем совета.

Приехал я в Ташкент ранним утром 6 февраля 1913 года.

Помню, что день был солнечным и что вид бегущих вдоль улицы ручейков произвел на меня радостное впечатление начинающейся весны (впоследствии я понял, что это было заблуждением и что виденные мною ручейки были просто оросительными канавами, текущими круглый год). На вокзале меня встретил мой помощник в форменном пальто с треуголкой, производивший при своем низеньком росте довольно комичное впечатление.

Остановился я на первое время в гостинице и в первое же утро успел представиться генерал-губернатору и губернатору и расписаться у великого князя, так что часам к 12 приехал уже в свое управление.

Управление земледелия помещалось в довольно большом, но, как все почти в городе, одноэтажном доме на углу Пушкинской и Хивинской. Из довольно большой передней, ожидальной, в которой дежурило в присутственные часы три курьера, дверь вела налево в мой кабинет, большую комнату в два окна, где к письменному столу примыкал второй длинный стол для совещаний. Другая дверь вела в коридор и комнаты, где занимались довольно многочисленные служащие управления, с которыми я и начал знакомиться.

Надо сказать, что положение мое было немного щекотливым в том отношении, что все мои ближайшие сотрудники были гораздо старше меня, и не только годами, но и чином по государственной службе. Наиболее ответственные обязанности лежали на чиновнике по сельскохозяйственной части, Станиславе Валентиновиче Понятовском, ведавшем всеми агрономическими мероприятиями в крае. Давний житель Туркестана, он хорошо знал местные условия, и притом не только теоретически, но и житейски, так как купил землю недалеко от Ташкента и вел там небольшое хозяйство. Как все поляки, отличался невероятной обидчивостью, потому вести с ним дело бывало подчас нелегко. Назначение мое его больно задело, так как он, видимо, считал себя естественным кандидатом на это место в момент, когда главное внимание уделялось развитию в крае хлопководства, и он нередко старался нарочито подчеркнуть свое значение как агронома, а не чиновника (например, на заседания с посторонними приходил в штатском сюртуке, а не в форме, как каждый день в управление). Но за всем тем должен отдать ему должное, что к делу своему относился не только добросовестно, но преданно и с любовью. Раза два или три подавал мне прошения об отставке, но каждый раз удавалось довольно легко убедить его взять это прошение обратно, и насколько помню, за три года совместной работы ни разу между нами не возникло сколько-нибудь серьезного разногласия.

Совсем в другом стиле был мой помощник по лесной части Лев Андреевич Мустафин. Значительно старше Понятовского (Мустафину, думаю, было лет 50, и он при мне получил «генеральский» чин действительного статского советника), Мустафин отличался, наоборот, исключительной щепетильностью в чиновничьем смысле. Всегда по форме одетый, требовал к себе уважения от низших, держа себя с большим достоинством и вместе с тем чрезвычайно корректно со старшими. Он воплощал в себе очень ярко своеобразные особенности чиновников Лесного ведомства, которые до конца сохранили некоторую кастовую замкнутость, подчеркиваемую и особой формой. «Корпус лесничих», инспектором которого состоял по должности директор Лесного департамента, состоял из вице-инспекторов, лесных ревизоров, лесничих и лесных кондукторов. Вместо шпаги при обыкновенной форме носили

кортик, рукоятка которого заканчивалась соколиной головой, и чины корпуса отличались всегда замечательной служебной выправкой. (В качестве начальника Управления земледелия я был тоже по установившемуся обычаю приказом по ведомству зачислен в состав корпуса лесничих.)

В условиях Европейской России главной задачей лесничих было, естественно, извлечение в пользу казны максимального дохода от казенных лесов, и эта задача наложила, естественно, известный отпечаток на деятельность всех чинов ведомства. В условиях туркестанских задача эта, однако, значительно усложнялась, так как там не было в виде общего правила отдельных казенных лесов, а лесничие ведали извлечением дохода из обширных земельных пространств в горной части края, где туземное население привыкло выпасать в летние месяцы многочисленные бараньи стада, так как эти пространства, используемые лишь небольшую часть года и поросшие редким лесом или кустарником, не были отведены в собственность оседлого населения. Но тем самым получалось, что земли, числящиеся формально казенными, входят неотъемлемой частью в хозяйственный оборот населения, и вопрос о характере и размере сборов, взимаемых лесничими, слишком тесно затрагивает интересы местных жителей, чтобы разрешение его могло рассматриваться исключительно с точки зрения доходов казны.

Поэтому между лесничими, стремящимися повысить доход лесничества, и местной администрацией, призванной отстаивать интересы населения, шла всегда глухая борьба, доходившая в конечном итоге до генерал-губернатора. На мне как начальнике Управления земледелия лежала поэтому задача следить за тем, чтобы местные чины нашего ведомства не упускали из вида основной их задачи: увеличения дохода казны, в то же время считались с особыми условиями жизни местного населения и не перетягивали струны обложения. В этом отношении Мустафин отстаивал, естественно, в первую очередь интересы казны, и мне приходилось нередко по соображениям общей политики нашей в крае умерять его ведомственный пыл.

Если Понятовскому было под сорок, а Мустафину 50, то третьему моему сотруднику Матвею Петровичу Псареву было

добрых 60, потому что он окончил Институт путей сообщения одновременно с дядей Лелей Мещерским, братом моей матери. Псарев числился старшим чиновником по ирригации и теоретически должен был руководить гидротехническими работами в Туркестане. Но фактически жизнь прошла мимо него, так как Министерство земледелия предпочло держать непосредственно в своих руках тот персонал, который был призван осуществить крупную программу намечаемых ведомством крупных оросительных работ, и на долю чиновников по ирригации, включенных в штат Управления земледелия, осталось только рассмотрение технической стороны оросительных сооружений, производимых на местные средства, задача по объему скромная, а в сущности, даже недостаточная, чтобы занять силы двух инженеров (кроме Псарева, был еще младший чиновник по ирригации Андрей Андреевич Матисен, человек неглупый, но уж решительно ничего не делавший).

Был затем прикомандированный к управлению горный инженер, который занимался выдачей так называемых «Дозволительных свидетельств» на разведку полезных ископаемых. Во время оно Горный департамент, ведавший недрами земли, входил в Министерство земледелия, но при образовании последнего в 1905 году передан в Министерство торговли и промышленности, но выдача разрешений на поиски полезных ископаемых осталась по закону на управлениях земледелия. Горный инженер мой был милейшим человеком и старательным работником. К сожалению, законы, которыми он должен был руководствоваться, были писаны для Европейской России и применение их в Туркестане, где обширные площади не были нанесены на точные карты, вызывало ряд затруднений, из которых мы не знали, как выкарабкаться.

Непосредственно в моем ведении оставалось так называемое по старой памяти «оброчное» делопроизводство, то есть разрешение вопросов, связанных с хозяйственной эксплуатацией казенных земель, а в связи с этим и всех вообще вопросов общей земельной политики в крае. Делопроизводителей этой части было при мне последовательно два очень способных молодых человека, незадолго перед тем кончивших Петербургский политехнический институт в Лесном по экономическому отделению и работавших со всем пылом моло-

дости и холостых людей, заинтересованных и увлекающихся своим делом. Обычно это делопроизводство, да еще частная бухгалтерия работала по вечерам, когда «специалисты» оставались дома.

Личным составом заведовал тоже бывший политехник Космачевский, вполне вошедший в роль «секретаря» учреждения и впоследствии согласившийся взять на себя и заведование бухгалтерией.

Особое положение занимал мой «официальный» помощник Леонид Николаевич Благовидов. По штату в управлении такой должности не было, и он числился, кажется, чиновником Департамента земельных имуществ, откомандированным в Туркестан. Предыдущая служба его прошла по судебной части, и он хорошо знал законы, но особенностью его была какая-то исключительная душевная чистота и невероятная кротость. Немножко он был не от мира сего. Поэтому если с его мнением никто серьезно не считался, то все его сердечно любили, и когда в периоды моих частых разъездов он вступал в должность начальника управления, можно было быть спокойным, что нормальный ход работы будет продолжаться, и возникающие между «специалистами» разногласия будут если не разрешены, то миролюбиво отложены.

Но, помимо чиновников собственно Управления земледелия и прикомандированных к нему специалистов разного наименования, в Ташкенте был еще ряд других учреждений нашего министерства, более или менее (скорее, менее, чем более) связанных со мной как старшим представителем ведомства в крае.

На первом месте назову заведующего Сырдарьинским переселенческим районом Анатолия Матвеевича Сахарова. Человек большой работоспособности, он думал после ухода Успенского добиться полной самостоятельности, о чем писал Глинке, но получил определенную отповедь, что он подчинен мне как начальнику Управления земледелия и будет, как Глинка надеется, дружно со мной работать. Поняв из этого письма, что борьба со мной бесполезна, Сахаров в дальнейшем был чрезвычайно корректен и осведомлял меня обо всех своих работах. К тому же еженедельные доклады его генерал-губернатору происходили в моем присутствии. Надо сказать, что в момент моего приезда в Туркестан роль заведующего

переселенческим районом была совершенно второстепенна. Число переселенцев было ничтожно, и деятельность организации сводилась к устройству уже живших в некоторых уездах «самовольцев» или устройству спорадически остающихся в Туркестане по окончании военной службы нижних чинов, уходящих в запас. Положение это, впрочем, вскоре изменилось, так как с осени 1913 года должно было начаться заселение вновь орошаемых земель в Голодной степи. Лично очень неказистый, Сахаров был мужем очень красивой жены, за которой многие приударяли, но, кажется, безуспешно. Она была простенькой хохлушкой, кончившей гимназию, вероятно, из мелкопоместных. Очень музыкальная, она привлекала, кроме того, своей простотой, и моя мать к ней очень за это благоволила, а Любовь Николаевна, в свою очередь, отвечала ей искренней привязанностью.

По ведомству Лесного департамента в Туркестане работало две организации, которые должны были согласовывать со мной только программу своих работ, ибо получали через Управление земледелия переводимые им из Петербурга средства. Это были, во-первых, лесоустроительные партии, которые составляли описания туркестанских лесов и намечали для них план хозяйственного использования, поскольку соображения сохранения водных запасов края не заставляли признать те или другие площади «защитными», то есть не подлежащими рубке ни при каких условиях.

Вторая организация — «пескоукрепительная», под руководством ученого лесовода Готшалка — начала работать, кажется, только в 1914 году и на первое время занялась укреплением песков в Ферганской области. Надо сказать, что начало работам по укреплению песков было положено Управлением Среднеазиатской (в то время Закаспийской) железной дороги. Мне рассказывали, что в первые годы бывали места, где приходилось расчищать путь ежедневно, иначе рельсы заносило песком. Железная дорога привлекла к этому делу некоего Палецкого, который изучил этот вопрос всесторонне и поставил дело на широкую ногу. В мое время он уже был стариком, но с увлечением показывал мне свое опытное поле, где он изучал условия применения разных растений. В Европейской России и в Западной Европе облеснение песков делается посадками сосны или ивы. И то, и другое не годи-

лось в сухом Туркестане. Кроме того, здесь пески были движущимися, и в некоторых местах высокие холмы, барханы, «проходили» в год несколько метров, закрывая собою все, что встречали по пути: поля, дома... Помню, на линии Наманганской железной дороги поезд пересекал кишлак (селение), который оказался на пути бархана, и с одной стороны виднелись усадьбы, наполовину уже скрытые под барханом. Были в Фергане селения, у которых отведенные в 1880-х годах земельные наделы оказались через тридцать лет полностью занесенными песком, так что их жители были силою вещей вынуждены перенести свои поля на соседние земли казны и платили за них ежегодно арендную плату.

Идея Палецкого, которая позволила начать серьезную борьбу с барханами, заключалась в необходимости начинать закрепление бархана сзади, так как ветер гонит песчинки вдоль спины бархана, сбрасывает их с крутизны обрыва, и этому стремятся помешать, сперва засевая заднюю сторону легко закрепляющимися растениями, вроде овсюка, а затем, когда корни овсюка, закрепившись в песчаном грунте, мешают дальнейшему движению поверхностного слоя песка, принимаются уж за посадку сперва особого вида степного кустарника, а потом саксаула, который, будучи многолетним деревом, окончательно приостанавливает движение песков.

Как я уже упомянул, Готшалк начал свои работы в Фергане в одном из участков, где пески надвигались на район культуры. Я посетил его работы осенью 1915 года и провел с ним день. Дул сильный ветер, и я должен был надеть автомобильные очки. Но воздух был прямо полон песка, который стегал по щекам, как бывает зимой во время пурги, а когда я вернулся домой, то не только за воротом и в ушах было полно песка, но даже на зубах хрустело от песчинок, залетевших в рот в течение дня.

В области агрономических мероприятий учреждениями, работающими в программе, выработанной ими и утвержденной Ученым комитетом при министерстве, являлись опытные станции. Их было: близ Ташкента, при станции Голодная Степь и в Андижане. Последние две специально изучали вопросы хлопководства. Во главе голодностепской стоял агроном Бушуев, светлая голова и человек чрезвычайно живой. При всех сомнениях, возникавших в процессе заселения Голодной сте-

пи, все в первую очередь обращались к нему, и советы его всегда бывали и продуманны, и житейски освещены. В бытность мою в Ташкенте возникло еще опытное учреждение, приуроченное к одной из семенных плантаций. Работу эту вел агроном Любченко, изучавший в Америке вопросы хлопководства и вывезший оттуда, кроме глубоких познаний в области семян хлопка, еще очень милую жену — Порцию Петровну. Сам Любченко — американизированный хохол — был прямо влюблен в свое дело и с упоением показывал мне результаты скрещивания американских и туркестанских сортов хлопка с египетским (задачей являлось вывести сорт хлопка, отвечающий местным условиям, но с более длинным и шелковистым волокном, нежели обычные сорта местного происхождения).

Надо упомянуть, что основным мероприятием агрономической помощи являлось создание целой сети семенных плантаций, где выращивались сорта наиболее урожайные, и затем семена продавались окрестным жителям. Работали на этих плантациях местные сарты, из доли урожая, но семена все поступали в распоряжение агронома, ведавшего плантациями, под которые были преимущественно использованы казенные оброчные статьи. Наиболее крупной были плантации Пахталык-Куль, где агроном Ермаков достигал прямо рекордных урожаев.

Наконец, гидротехнические учреждения Отдела земельных улучшений. Из них при Управлении земледелия формально числилась гидрометрическая часть (фактически, однако, и она руководилась главным образом из Петербурга), которая изучала режим рек Туркестана, то есть количество воды, несомое этими реками в разные периоды года, и состав воды, то есть процентное содержание несомого водою ила и песка. Затем была более тесно связана со мною Туркестанская общая изыскательная партия, которая производила изыскания и выполняла мелкие оросительные сооружения на переселенческих участках, на казенных оброчных статьях и в казенных имениях. Начальником ее был очень милый инженер Павел Митрофанович Максимов, женатый на хорошенькой польке. Остальные учреждения Отдела земельных учреждений были вполне автономны, и если с некоторыми из них, как, например, с Управлением работ по орошению Голодной степи, приходи-

лось почти ежедневно сноситься по вопросам текущего характера, то большинство выполняло программу, выработанную в центре, и начальники партий ограничивались в отношении меня, при приезде в Ташкент, визитом вежливости. Сюда относятся: заведующий гидромодульной частью (изучение в различных местностях края «гидромодуля», то есть количества воды, необходимой для тех или иных полевых культур, и распределение поливов по временам года), а затем начальники изыскательных партий, составлявшие проекты орошения различных частей края, и объединявший их всех начальник изысканий инженер Шовгенов. Наиболее талантливым из этих начальников партий был, на мой взгляд, инженер Ризенкампф, с которым я познакомился еще во время моей первой поездки в Туркестан в 1910 году. Он составлял проект орошения северо-западной части Голодной степи и разрабатывал его с необычным размахом и всесторонностью.

Первые дни Ташкента были у меня, пожалуй, самым занятым временем в жизни, хотя я еще в Петербурге постарался обойти все отделы министерства, чтобы познакомиться с вопросами, стоявшими тогда на очереди; все же разнообразие дел, входивших в компетенцию Туркестанского управления, меня подавило, и должен сознаться, что в первое время при входе каждого нового докладчика в мой кабинет приходилась напрягать ум, чтобы переходить от одного предмета к другому (лично мне по предыдущей работе одинаково незнакомому).

Занятия начинались, как водится в провинции, в 9 часов утра и тянулись, помнится, до двух часов, после чего все расходились обедать, но часть состава возвращалась вторично часам к шести и работала примерно до восьми. Летом из-за жары занятия начинались в 8 и заканчивались уже в 1 час дня. Лично я приходил обычно к 10 часам, но и вечером засиживался нередко после восьми. Раз в неделю проходили занятия Совета генерал-губернатора под предводительством его помощника, а по субботам у меня бывал доклад у Самсонова в 10 часов утра. Доклад этот подчас сильно затягивался, и тогда Самсонов оставлял меня завтракать.

В промежутке между дневным обедом и вечерними часами в управлении делались визиты. Были, как полагается, приемные дни, но не у всех, а только у группы, составлявшей ташкентский «монд». По приезде же Благовидов вручил мне

длинный список на трех страницах с перечнем всех «начальников отдельных частей» и их помощников, которым полагалось делать официальные визиты. Сюда, впрочем, входило много лиц, с которыми встречаться и приходилось только в «официальных» случаях: в соборе на молебнах в царские дни, на парадных завтраках у генерал-губернатора, на вокзале при встречах важных сановников, приезжавших из Петербурга.

Как и в остальных городах Туркестана, «русский Ташкент» вырос рядом с туземным городом, и в мое время оба города по численности почти сравнялись, причем «русский Ташкент» продолжал расти и шириться. Надо сказать, что для нас туземный город как бы не существовал. Линия трамвая останавливалась почти в самом начале его лабиринта узких кривых улиц без единого окна на улицу, так как все сартовские дома строятся окнами во двор, улицы же тянутся вдоль нескончаемых земляных стен, окружающих внутренние дворы сартовских усадеб. Недалеко от центра туземного города, но все же ближе к русской части расположен был крытый базар, куда мы изредка заходили, когда хотели купить ковер или вышивку местного изделия. Но в общем этот город жил своей замкнутой жизнью, хотя и поставлял, кажется, половину членов Городской думы, а в царские дни представители туземного города, седобородые сарты в национальных халатах, после молебна на площади перед собором изъявляли генерал-губернатору чувство верноподданнической преданности населения (неизменно по-сартовски — через переводчика, хотя думаю, что фактически эти сарты уже умели говорить по-русски).

От туземного города русский отделялся рвом глубокого арыка, к которому примыкали сады генерал-губернатора и казенных зданий других ведомств. Ряд улиц, пересекающихся под прямым углом, образовывал, так сказать, старинную часть города. Здесь были главные казенные учреждения, собор и торговая часть города с русским базаром. Большой тенистый сквер, в центре которого был весной 1913 года открыт памятник покорителю края генералу Кауфману, замыкал эту часть города, и далее начиналась новая часть с улицами, расходящимися звездообразно. Прелесть города заключалась в обилии растительности. Действительно, большинство улиц было окай-

млено арыками, по обе стороны которых были посажены карагачи, деревья со столь густой листвой, что не только луч солнца не проникал сквозь нее, но в дождь можно было стоять под деревом, не ощутив на себе ни одной капли. Дома были все одноэтажные (двухэтажных был, может быть, десяток на весь город), сложенные на каменном фундаменте из сырцового, то есть необожженного, кирпича. Поэтому летом в домах было всегда прохладно, зимой же, правда, чувствовалась сырость и приходилось усиленно топить саксаулом, что выходило довольно дорого, или же ивовыми породами, что давало мало тепла.

По приезде я остановился в гостинице, но уже через несколько дней встретил у Самсонова начальника артиллерии округа, который получил казенную квартиру и сдал свою, в которой он устроил ванну. Квартира мне очень понравилась, расположена она была на Кауфманской улице (продолжение Соборной по другую сторону сквера), кажется, номер 67, и занимала половину одноэтажного дома некоего Малкова, который был директором банка в Москве и наезжал в Ташкент лишь временами. У квартиры была терраса, на которой летом проводили почти весь день, выходившая на маленький садик с двумя-тремя деревьями, дававшими достаточную тень. По ту сторону садика был флигель, где жила старуха-мать Малкова, но мы его за деревьями почти не видели. В доме была проведена вода, так что можно было легко принимать душ (к сожалению, с очень сильным напором и страшно холодной, прямо ледяной водой, так как воду получали из артезианского колодца). Основная часть дома была на фундаменте, исключение составлял боковой корпус, где помещались кухня, туалет, склад дров и запасная комната, где жил слуга-сарт.

По сравнению с Владивостоком Ташкент казался не таким уж далеким, перед моим отъездом было условлено, что, когда я подыщу квартиру, Мама приедет жить со мной. Приехала она уже, в марте и, как я, была очарована Ташкентом. Придала сейчас же жилой вид моей квартире, которую я обмебелировал уже, не ожидая ее приезда, купив, на мой взгляд, все необходимое, на что Мама, приехав, сказала: «Все хорошо, только недостает десятка столов и полудесятка кресел», — и была права. Я тогда еще не понимал, что уют квартире придают ненужные вещи.

С Мама приехала ее горничная Марфуша (беляницкая, дочь Агафьи). Привезенный мною из Петербурга Степан оказался недурным поваром и в этом амплуа остался, сохранив в своем ведении и мою комнату, и мой гардероб. Пришлось поэтому еще взять лакея, и в качестве такового я нанял сарта Пардабая, служившего уже у прежнего председателя суда. Ходил он в халате и тюбетейке, но по-русски говорил свободно и почти правильно. В парадных случаях он надевал красный халат и бывал очень наряден. Не помню уже почему, но Пардабай остался у меня не до конца, а когда началась война и Степан — уже успевший жениться тем временем на Марфуше — был взят по мобилизации, Мама выписала Ивана Посадовского (бывшего у нас лакеем в годы моего раннего детства). Кто же был поваром, так и не помню. Странно, как забываешь подчас людей, с которыми жил довольно долго.

Ташкент настолько понравился Мама, что, когда она услышала, что на окраине города продаются разбитые на участки земли местного богача из туземных евреев Юсуф-Давыдова, она тотчас купила два участка и, не довольствуясь этим, построила два дома по ею же выработанному плану. Дома были, кажется, в шесть комнат каждый и настолько удобны по расположению комнат, что сдались тотчас же по окончании. Сами мы в них не переехали, потому что участок Мама был все же довольно далеко от центра, где жили знакомые, и от моего управления.

Первый год Мама провела в Ташкенте и лето, но потом сознавалась, что жара ее сильно утомляла и, как она говорила, состарила ее за одно лето на несколько лет. Уехала она, кажется, к Кате в Шебекино в начале декабря 1913 года и вернулась обратно лишь осенью 1914-го, думаю, в сентябре, когда жара уже спала. Затем уехала опять в начале лета 1915 года и вернулась в ноябре, незадолго до моего перевода в Петербург.

По природе любящая видеть людей, Мама, однако, решила, чтобы меня не стеснять, объявить себя «старушкой» и не принимать приглашений на вечера, что позволяло не устраивать вечеров у нас. Думаю, ей отчасти не хотелось устраивать «плохие» вечера, а для хороших мы, по ее понятию, n'étions pas outilles[1]. Поэтому вечера она проводила дома и, думаю, за все время сделала лишь несколько исключений для Галкиных

---

[1] Не подходили (*фр.*).

(губернатор) и Сахаровых (переселенческих). Надо сказать и то, что мама не любила карт и, принимая приглашение на вечер, обрекла бы хозяев на сидение с нею, чего ей тоже не хотелось. Днем же с визитами ходила и принимала, но, помимо моих знакомых, создала себе кружок из людей, ее интересовавших (отставной генерал Долинский, агроном-садовод Дылевский и некоторые другие).

При этой системе я оставался на холостом положении и мог ездить на вечера по своему выбору. При этом я оценил преимущества моего состояния «не играющего в карты». В провинции играют почти все, и если бы я вздумал научиться играть, то оказался бы автоматически членом той или иной комбинации, обязанным быть к 9 часам в гостях, чтобы играть со своей компанией. Между тем в качестве «не играющего» я мог приходить на вечера гораздо позднее и флертировать со многими, переходя от стола к столу или болтая с «выходящими». Каюсь, что я частенько этим злоупотреблял и иногда приходил часов в 10.30 и даже незадолго до ужина.

Как ни странно, центром «общества» являлись в Ташкенте семьи не военных, а судейских — членов Судебной палаты. Думаю, играла роль большая материальная обеспеченность (в судебном ведомстве оклады были выше, чем в других), а отчасти большая светскость поляков в сравнении с русскими. Поляки почему-то составляли среди судейских большинство. Самсоновы принимали мало: жена генерал-губернатора, хотя молодая годами, скучала в Ташкенте и почему-то мечтала о Варшаве, где она провела первые годы после свадьбы (ее муж там был начальником штаба округа). Зато очень любили звать гостей и бывать в гостях Галкины. Он, старый генерал, но очень веселый и молодой душой, был женат вторым браком на молоденькой курсисточке (дочери управляющего государственным банком в Семипалатинске), довольно хорошенькой, в которую я под конец не на шутку влюбился. Но основной моей компанией были девицы: Кох — дочери директора Кадетского корпуса и Ефремовы — дочери управляющего канцелярией генерал-губернатора. Был, конечно, и кружок молодых дам, собиравшийся чаще других у Галкиных. Из некоторых молодых людей было несколько товарищей прокурора, дипломатических чиновников да один-два офицера штаба округа. Лучшим временем года, несмотря на жару, было для

меня лето. Температура была чрезвычайно ровная: по метеорологическим данным ташкентской обсерватории, ежедневно печатавшимся в газете, с 15 мая до 15 августа цифры почти не менялись: температура в тени — минимум 20 градусов, средняя — 30, максимум — 40 (помню, за все время раз был максимум 41, на солнце 68). На солнце обычный максимум бывал 64. Но благодаря обилию влаги (арыки) и зелени жара эта переносилась легко, тем более что ночью температура падала, как я уже сказал, до 20. Конечно, расписание дня летом несколько менялось: присутственная часть в управлении кончалась в час дня. После обеда я ложился на часок полежать и поспать. Часов в пять отправлялся обычно играть в теннис у Галкиных, которые в мае переезжали на летнюю дачу губернатора, окруженную густым тенистым садом на краю города, недалеко от меня. Но жара длилась, в сущности, недолго: 15 августа наступал обычно резкий перелом, и дни делались гораздо свежее, а ночи прямо прохладные. И так примерно до конца октября, когда начиналось плохое время года. Зимою бывали подчас морозы, а в 1915 году, в декабре, установился санный путь, державшийся около двух недель, а температура падала до —18 градусов, но это было, конечно, случаем исключительным. Но вообще температура ниже нуля бывала ежегодно, и оттого в Ташкенте никогда нельзя было культивировать апельсинных деревьев, растущих на свободе на юге Франции, и наоборот, можно было сеять хлопок, требующий жары и большого числа солнечных дней. Между 15 мая и 15 августа дождя при мне не бывало, а потом до октября — проливные, только короткие, дожди, еле прибивавшие дорожную пыль.

Большой прелестью туркестанской жизни было обилие и дешевизна фруктов. Начиналось в апреле с клубники и мае — арбузов, в конце мая появлялись урюк (абрикосы) и, вслед за ним, персики. А в конце июля можно было есть уже чудный виноград, державшийся до зимы. Из сортов, которых я не встречал в других странах, стоит упомянуть про «белый урюк», столь сочный, что его можно было только снять с дерева: падая на землю, он разбивался. А затем катта-курганский виноград с отдельными виноградинками размером в небольшую сливу. Яблоки и груши возделывались также, но это были породы привозные, которые туземцы не знали до нас и разво-

дили без большой охоты. Но на наших опытных станциях и у двух-трех местных садоводов получались отличные экземпляры кальвилей и других французских сортов. Зато большое распространение получило разведение яблок и груш в Верненском уезде, в более северном и суровом по климату Семиречье. Таких размеров яблок (апорт) и груш (дюшес), как в Верном, я не встречал нигде. К сожалению, 760 верст грунтовой дороги до ближайшей станции не давали возможности вывозить эти фрукты в Россию. Я попробовал раз взять с собой ящик в тарантас и довез до Ташкента одно месиво. Оттого в годы урожая в Верном кормили яблоками скотину, а рыночная цена была: рубль — воз, или — если «на выбор» — два рубля тысяча, собирая самим лучшие экземпляры в саду. В коренном же Туркестане цена на местные фрукты (абрикосы, персики и виноград) была летом одинаковая, обычно, четыре копейки фунт (осенью виноград дорожал и доходил до 10—15 коп. фунт) — и эта цена почти не колебалась в разных городах и в разные периоды лета.

ГОЛОДНАЯ СТЕПЬ

Кажется, через месяц после моего приезда ко мне зашел инженер Федор Федорович Толмачев, начальник работ по орошению северо-восточной части Голодной степи, и спросил, не интересует ли меня и Сахарова проехать в Голодную степь посмотреть участок, который инженеры думают оросить в первую очередь. Я, конечно, с готовностью согласился, и на следующий день мы выехали утром из Ташкента. Ехать поездом пришлось часа два или три, пока, переехав мост через реку Сырдарью, поезд остановился у станции Сырдарьинской, где мы вышли и встретили помощника Толмачева инженера Моргуненкова. Последний должен был с момента окончания работ взять в свое ведение эксплуатацию новой оросительной системы и сделаться, таким образом, ближайшим сотрудником переселенческой организации. Нас посадили в автомобиль управления работ, и мы поехали по ровной степи, совершенно лишенной растительности, с смутными лишь кое-где следами когда-то бывшей здесь оросительной системы. Местность была абсолютно ровною, и ехать можно было целиной;

выбор пути определялся, впрочем, местами, где были мосты через основные распределительные каналы.

Проект, приводимый в исполнение Толмачевым, предусматривал орошение 45 тысяч десятин, но так как новый канал перерезал оросительную систему канала Николая I, проведенного в начале 90-х годов великим князем Николаем Константиновичем, то часть воды пришлось уделить для удовлетворения тех сел, которые великий князь основал, и 2000 десятин, оставленных самому великому князю в возмещение сделанных им затрат.

Необходимость обеспечить водою этих «старожилов» сильно изводила инженеров. Она осложняла их работу и заметно понижала теоретическую прибыльность нового орошения: «старожилы» и имение великого князя получали воду даром, тогда как новые переселенцы должны были выкупить стоимость оросительных сооружений, которая проектом орошения Голодной степи определена была, помнится, в 165 рублей с десятины.

По вопросу о стоимости орошения шли тогда горячие споры. Теперь, четверть века спустя и не имея под рукой никаких материалов, мне трудно восстановить в памяти все доводы, высказанные по этому поводу. Сторонники «старины» ссылались на дешевизну туземного орошения и находили голодностепский проект невероятно дорогим. Другие доказывали то же со ссылкой на орошение Мугани, начало которого обошлось во что-то вроде 20—30 рублей с десятины. Ошибка тех и других заключалась в том, что речь шла о разных вещах: туземное орошение обходилось дешево, потому что выполнялось натуральным путем: рабочие не получали платы или получали ее в минимальном размере. Затем, головные сооружения туземных систем были примитивны, но, стоя дешево в постройке, обходились дорого в эксплуатации, если учесть стоимость труда, который ежегодно вносило население в периоды паводков, поддуживая и восстанавливая разрушенные насыпи. По проекту же голодностепскому, этот расход должен был свестись к минимуму. Наконец, третье соображение: голодностепский проект вводил в хозяйственный оборот земли, технически трудноорошаемые. Голодная степь оставалась мертвой пустыней по сравнению с густонаселенной Ферганой именно потому, что орошение ее встречало значительные

трудности. Когда-то во времена, исчезнувшие из памяти людской, она возделывалась. Но затем что-то произошло, вероятно, очередное нашествие кочевников — край опустел. А когда, столетия спустя, снова завязалась кругом жизнь земледельца, последний предпочел сосредоточить первое время свои труды на орошении — более легкое — предгорий и не задаваться грандиозной задачей вывода из Сырдарьи большого канала на возвышенное плато Голодной степи. Пионером в эти дни явился великий князь, но и он захватил в свою систему лишь небольшую площадь. К тому же неизвестно, сколько денег он на это дело истратил: говорили о сотнях тысяч. Не ручаюсь, верна ли эта цифра. Что касается Мугани, то там орошение производилось путем массового «залива» обширных площадей, а не посредством широко разветвленной сети распределителей. Оросительные сооружения стоили сравнительно дешево, но урожаи хлопка были значительно ниже туркестанских, а система «залива», создающая обширные водные пространства, вела к широкому развитию малярийных заболеваний.

С другой стороны, надо сознаться, что и голодностепская цифра в 165 рублей с десятины оказалась на практике далеко не достаточной. Первоначальный проект тоже не имел в виду доводить воду до участка каждого домохозяина, и когда было решено заселять Голодную степь исключительно русскими земледельцами, отводя каждому по 15 десятин, пришлось ассигновать в распоряжение Моргуненкова дополнительные средства на устройство этой «мелкой сети» второстепенных или, вернее, третьестепенных распределителей, подводящих воду к границам каждого 15-десятинного участка. Новоселам приходилось в этих условиях только устраивать мелкие канавы, непосредственно обслуживающие его поля. Необходимо еще сказать, что сети каналов, подводящих воду, соответствовала параллельная сеть коллекторов, собирающих излишки воды, не использованной полевыми культурами, и уводящих ее в степь. Роль этой сети коллекторов являлась особенно важной в первые годы, когда не вся площадь, охваченная проектом, была заселена, и по каналу пришлось гнать часть воды, излишней для нужд данного года.

Объехав площадь, намеченную им к орошению в первую очередь, Моргуненков проехал затем в «тугайную» по-

лосу реки Сырдарьи (тугай — пойма реки), где находились поселки, основанные великим князем, а затем, кажется, и к заканчивающему стройку головному сооружению. Поездка эта имела, так сказать, символическое значение: установить контакт между инженерами, оросителями степи, и переселенческой организацией, на которую возлагалось заселение вновь орошенных земель, так как в дальнейшем этим двум организациям предстояло работать в тесном взаимодействии. Кроме того, Отдел земельных улучшений хотел официально получить согласие других учреждений ведомства на начало орошения в данном месте. Помнится, тогда же Сахаровым было высказано предложение, приведенное потом в исполнение, о разбивке при станции Сырдарьинской поселка городского типа, который бы явился экономическим центром северной части вновь орошаемого района. Нижняя часть, естественно, тяготела бы к уже существовавшему поселку при станции Голодная Степь, где находилась наша опытная станция, имение великого князя и где проектировалась постройка хлопкоочистительного завода.

Работы по устройству мелких распределителей заняли все лето, Переселенческое управление тем временем установило перечень хозяев, получающих землю в первую очередь. Почти все они принадлежали к числу людей, оставшихся в Туркестане после отбытия воинской повинности и успевших познакомиться с хлопковыми культурами. Кажется, в июле Моргуненков стал пускать по системе воду, чтобы смочить стенки каналов. Официальное же открытие канала, который получил название «Романовского», было назначено на 5 октября, именины Наследника.

Открытие было очень торжественным. Из Петербурга приехал от нашего министерства князь Массальский, управляющий Отделом земельных улучшений, но парадным гостем был военный министр Сухомлинов (прости Господи, мы тогда все подумали, зачем военный министр тратит время на поездки, ничего общего с его ведомством не имеющие, и решили, что для получения «прогонов»).

Был, конечно, Самсонов, губернатор, и старшие чиновники всех ведомств Ташкента. Из Москвы приехал представитель биржевого комитета А.И. Кузнецов, игравший видную роль в хлопчатобумажной (текстильной) промышленности. Хозяева-

ми являлись инженеры Управления работ. После молебна были открыты шлюзы головного сооружения, и сырдарьинская вода хлынула опять в канал. Конечно, это отдавало театральностью, и было ясно, что в малых пределах система уже некоторое время действовала, в частности в канале и до открытия шлюзов было уже некоторое количество воды.

После этого был торжественный завтрак в палатках, говорили речи и затем приглашенных на автомобилях провезли через всю степь к станции Сырдарьинской, близ которой уже начинали строиться новые засельщики степи.

Весной следующего, 1914 года местность, примыкающая к станции Сырдарьинской, была полна оживления. Все, что можно было, засеяно хлопком, и новоселы с восторгом смотрели на пышно разрастающиеся кусты хлопчатника. Семена для посева, кажется, были даны с наших плантаций, и первый же урожай был великолепный, давал почти сразу обогащение.

Надо, впрочем, сказать, что инженеров уже тогда смущало громадное потребление воды новоселами, значительно превышавшее все нормы, установленные на основании опыта туземного хозяйства. Количество поливов в течение вегетационного периода, равно как количество воды, подаваемое во время каждого полива, значительно колебалось в разных частях Туркестана: в Андижанском уезде, горном и потому богатом водой, число поливов доходило до семи-восьми в лето, но голодностепская опытная станция довольствовалась 4—5 поливами за лето, и эту систему предполагалось применять на вновь орошаемых землях впредь до более подробного освещения этого вопроса гидромодульной частью Отдела земельных улучшений. Конечно, было ясно, что новые земли должны поглощать в первый год несравненно больше влаги, чем земли, находящиеся издавна под культурами, и инженеры эксплуатационного отдела охотно увеличивали отпуск воды, тем более что имели ее в избытке. Но все же уже в 1914 году высказывались опасения, не вызовет ли усиленное потребление воды подъема солей из-под почвы.

Опасения эти всецело подтвердились в следующем, 1915 году. Вместо разросшихся кустов хлопчатника, которыми мы осенью 1914 года любовались на полях первых новоселов, поля эти являли самый печальный вид: почти вся поверхность была покрыта земляной коркой, густо пропитанной со-

лью, и сквозь эту корку еле пробились чахлые растения хлопчатника. Сбор хлопка предвиделся ничтожный, и было ясно, что если не принять каких-либо решительных мер, то все наше голодностепское орошение становится под вопросом.

После долгих обсуждений вопроса со всеми причастными лицами я созвал в августе большое совещание при Управлении земледелия, с участием переселенческих чиновников и почти всех агрономов и инженеров.

Прения были самими горячими и порой обострялись до крайности. Инженеры упрекали агрономов, что они не сумели показать новоселам, как надо пользоваться водой при орошении. Те отвечали инженерам, что корень зла — в недостаточно развитой сети коллекторов (водоотводных канав). Голосования по целому ряду вопросов происходили чисто параллельно: когда правая сторона большого стола в моем кабинете (агрономы) вставала, сидела левая (инженеры), и наоборот, и все усилия мои и Толмачева были направлены к тому, чтобы избежать обострения страстей. К счастью, здравый смысл и сознание, что важнее найти выход из положения, чем искать его виновников, превозмогло, и после двух или трех дней горячих прений был намечен ряд мер к исправлению земель, засолоненных при первых поливах, и к предотвращению подобных явлений в дальнейшем. Было решено вообще, что орошению подлежат только земли, в которых процентное содержание солей (глауберовой и бертолетовой) не превышает на известной глубине определенного процента, что будет усилена сеть водоотводных канав и выработаны точные нормы отпуска воды на поля.

Что касается исправления земель, успевших засолиться, то было признано, что наиболее целесообразным является устройство на них дренажа, открытого или подземного (трубами). Но так как эта мера требовала большого расхода (быть может, 75 или 150 рублей с десятины), то агрономы высказывались за мелиорацию посредством посева люцерны, которая, затеняя почву, препятствовала бы новому поднятию подпочвенных солей и дала бы возможность в течение двух-трех лет «промыть» засоленный поверхностный слой.

Проект «люцерны» оказался, однако, на практике неосуществимым. Были выработаны условия сдачи земель в аренду под посев люцерны на самых льготных условиях, но жела-

ющих не явилось, и, когда я вызвал в Ташкент заведующего оброчными статьями, чтобы обсудить с ним причину этой неудачи, он мне сказал откровенно: «Да какой же дурак, ваше превосходительство, пойдет на дело, где можно заработать 5 процентов на свои деньги, когда на хлопке всякий посредник может заработать 50 процентов на чужих деньгах». И действительно, для поощрения хлопковых посевов Москва (текстильщики) через посредство местных торговцев выдавала авансы под хлопок, так что фактически хлопковое хозяйство велось при чужом оборотном капитале. Да, кроме того, было неясно, в какой мере явится обеспеченным сбыт люцерны, если бы под эту культуру было сразу пущено много тысяч десятин.

В результате пришлось остановиться на мелиорации путем дренажа. Если не ошибаюсь, новоселам были временно даны другие земли, а Переселенческое управление поставило в 1916 году опыты с разными способами промывки. Мне пришлось быть опять в Ташкенте осенью этого года, и я, конечно, поехал в Голодную степь, где был рад снова увидеть пышный хлопчатник на участках, где за год до этого была одна солевая корка. Правда, участок (кажется, в 150 десятин) был весь изрыт глубокими канавами, что сокращало его полезную площадь процентов на 10—15. Кроме того, затрата выразилась чуть ли не в более чем 100 рублей с десятины. Но даже и в этом случае общая стоимость орошения (и на этот раз вполне целесообразного) не достигала 300 рублей, тогда как в районе туземных селений орошение земли продавалось сплошь и рядом по 400—500 и даже 600 рублей за десятину.

Не знаю, что сделалось с Голодной степью при большевиках, но не слышно, чтобы оросительные работы получили там дальнейшее развитие. Между тем проект, выполненный Толмачевым, был по идее лишь первой частью более обширного проекта, над которым работали две изыскательные партии: инженера Чикова (Центральная) и инженера Ризенкампфа (северо-западная часть Голодной степи), под общим руководством инженера Шовгенова и его помощника Федорова.

Орошение предполагалось продвинуть верст на 80 к западу от линии железной дороги до границ песчаной пустыни Каракумы. Летом 1915 года Ризенкампф предложил мне по-

ехать посмотреть его район. К сожалению, поездка кончилась не очень удачно. Выехали мы утром со станции Сырдарьинской в мощном автомобиле постройки Русско-Балтийского завода. Было нас шестеро, правил Ризенкампф. Поездка была рассчитана на полтора дня. В первое утро мы проехали довольно значительное расстояние и собирались уже повернуть на северо-запад, чтобы выехать к берегу Сырдарьи, где предполагалось остановиться для завтрака. Кругом расстилалась степь, среди которой явственно белели длинные белые щупальца солончаковых оврагов. Одно из таких щупальцев перерезало нам дорогу. Ризенкампф начал сперва его объезжать, но, не доехав верст двух до начала оврага, где он уже сильно обузился, решил попробовать его пересечь, и наш автомобиль всей своей тяжестью оказался в вязком солончаке. Первую минуту все были ошеломлены, потом стали прикидывать, что делать. По карте выходило, что мы верстах в 70 от железной дороги и в 40 от Сырдарьи. Было около полудня: самый жар. Всего более смущал вопрос воды: с нами был бочонок воды для радиатора и бутылок двенадцать минеральной воды «нарзан». После некоторых споров решили раскинуть палатки, закусить и лечь спать, с тем чтобы вечером, когда спадет жара, выработать план дальнейших действий. Кончилось все лучше, чем мы ожидали. К вечеру к нам подъехал киргиз, обещавший к утру привести товарищей вытаскивать автомобиль. Оказался невдалеке, не более версты, колодец с водой, солоноватой, но для чая пригодной. Ночь спокойно проспали, а с рассветом приехали два киргиза, вместе с которыми мы начали процедуру вытаскивания. Поступили довольно остроумно: сперва вычистили жидкую грязь из-под колес, а когда автомобиль лег кузовом, подвели под колеса сложенные наши походные кровати. Затем, когда колеса стояли на твердом, то есть железе постельных ножек, очистили под кузовом и подвели подо все вместе большой брезент, служивший нам палаткой, после чего, дав задний ход машине, потянули автомобиль веревками и благополучно его вытащили из солончака. К сожалению, было уже около 11 часов утра, а так как один из инженеров должен был уезжать вечером, то пришлось вернуться обратно на Сырдарьинскую. Другой же оказии как-то потом не представилось, и так я остался не видевшим западной границы Голодной степи.

Вспоминается еще случай из моей голодностепской практики. Основные работы по орошению управление Толмачева вело не само, а через крупного подрядчика инженера Чаева. Как-то осенью 1913 года ко мне пришел Моргуненков с представителем Чаева и последний объяснил, что закончил все работы и должен распускать рабочих. Между тем мелкая сеть (которая первоначальным проектом предусмотрена не была и на которую у Толмачева не было ассигновано средств) выполнена лишь на небольшом пространстве, хотя в эту минуту и решено, что без предварительного устройства мелкой сети нельзя начинать заселение земель.

Поэтому он уполномочил меня сделать предложение: сдать Чаеву 3000 десятин в аренду на три года по цене, о которой условимся, и он за свой счет сделает всю мелкую сеть. Он знает, что собственной властью управление может сдавать земли только на один год, но удовольствуется моим обещанием дважды возобновлять годичный контракт. Но ответ просил дать немедленно, не позднее недели, так как иначе не может рисковать задерживать своих рабочих.

Положение было очень сложным. По закону земли Голодной степи должны были заселяться русскими переселенцами на особых условиях и сдача земель в аренду допускалась лишь в виде исключения на один год. С другой стороны, отказав Чаеву, я ничего не выигрывал бы: у Моргуненкова не было денег на проведение мелкой сети, и, следовательно, площадь, о которой шла речь, 1915 год, во всяком случае, пропустовала бы, тогда как все наши стремления были направлены к максимальному увеличению хлопковых посевов. Кроме того, казна выгадывала бы стоимость мелкой сети, которая возлагалась на арендатора и перешла бы через три года к переселенцам. Запрашивать Петербург было некогда, надо было брать решение на себя. Переговорив с управляющим Контрольной палатой и, думаю, генерал-губернатором, я назначил цену в 15 рублей с десятины (по тому времени довольно высокую) и землю сдал. Чаев моментально поставил работы, провел мелкую сеть и со следующего же года собрал богатый урожай хлопка. Казалось, все хорошо. Но в 1915 году, на второй год аренды, цена в 15 рублей была уже заметно ниже нормальной, так как в связи с войной сильно возросли цены на хлопок. Кто-то пожаловался, и вдруг я получаю из Петербурга теле-

граммный запрос объяснить, как произошла сдача земли Чаеву, ввиду резкого запроса в Государственной думе. Я подробно объяснил, как было дело, и если сдача была незаконна, то результатом ее было 3000 десятин под хлопком, которые бы иначе пропустовали.

Так как Глинка мне, безусловно, доверял, то он выступил и думал успокоить Государственную думу, которая во всяком случае, когда частные предприниматели зарабатывали большие деньги, готова была заподозрить взяточничество со стороны чиновников. Но, если не ошибаюсь, Кривошеин потом частным образом переговорил с Чаевым, и последний добровольно отказался от возобновления контракта на третий год. В убытке он не был, так как при высоких ценах, установившихся на хлопок во время войны, он свои затраты с лихвой окупил и не хотел ставить наше ведомство в трудное положение в связи с выяснившимся по этому поводу недоброжелательством Государственной думы.

Когда теперь вспоминаешь разные перипетии голодностепских событий моего времени, невольно встает в памяти фигура директора Опытной станции агронома Михаила Михайловича Бушуева. Высокого роста, жгучий брюнет, он немного напоминал Любатовича, но был более глубок и серьезен как работник. В отличие от других «опытников», он всегда подходил к вопросам с реальной, житейской точки зрения, и мнение его бывало всегда авторитетным. В горячую атмосферу совещания 1915 года он вносил элемент задумчивости и спокойствия, и дело русского хлопководства было обязано ему очень многим. Как все туркестанские работники, живущие среди орошаемого района, он не избег местного бича — малярии, от которой страдал и сам, и его жена, и маленький ребенок. Но все интересы его были сосредоточены на его «станции», и расстаться с ней, думаю, было бы для него немыслимо.

ЗАКАСПИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ И ФЕРГАНА

Возвращаюсь, однако, к первому году моей службы в Ташкенте. За первые два месяца я успел более или менее войти в курс всех общих вопросов и решил начать свои поездки по краю. Начать я решил с Закаспийской области, чтобы успеть

побывать в ней до начала летней жары, которая, по рассказам, бывала там невыносимой.

Надо сказать, что Закаспийская область во многом отличалась от коренных областей Туркестана, и, в частности, первые представители нашего министерства были туда посланы за месяц до моего приезда в Ташкент, на основании соглашения, выработанного в предыдущем году при поездке в Туркестан Кривошеина.

Собственно говоря, казенных земель в области не было, но были земли «кярендные», эксплуатируемые в пользу местной земской кассы путем взимания пятой части урожая. Кажется, это были земли вакуфные, мусульманский общинный доход которых Куропаткин при завоевании края решил обратить на местные нужды, чтобы помешать использовать их на цели борьбы с русской властью.

Для начала Управление земледелия командировало двух землемеров и поручило им принять от уездных начальников заведование кярендными землями. Один был командирован в Тедженский уезд, другой — в Мервский. На первое время они ограничились составлением описи этих земель и сбором платы, но постепенно выяснили возможность, по наличию водных запасов, увеличить площадь посевов, и эти новые земли стали сдавать в аренду за деньги в пользу казны, против чего местная администрация не возражала. Этим способом открылся новый источник дохода для казны, который в Мервском уезде был довольно крупным, так как там новые земли сдавали под хлопок.

Заведующие государственными имуществами (так, кажется, были названы командированные в Закаспий землемеры) были увлечены своей работой и повезли меня смотреть кярендные земли. Ехали мы верхом, так как дорог в этой части земель не было, а приходилось часто переезжать арыки. Несмотря на раннее время года (апрель), жара была основательная, но я сравнительно легко ее переносил, взяв себе за правило, которому неизменно затем в Ташкенте следовал, никогда не пить в дороге, кроме как на привале. Иначе, выпив один стакан, нельзя удержаться от следующего, а постоянное питье сильно ослабляет человека. Зато на привале дневном, а особенно вечером, я ухитрялся выпить невероятное количество чая: раз, помнится, 14 стаканов.

Помню, что в эту поездку меня сильно поразила точность распределения воды для орошения. В одном месте я заметил два кола, вбитых в дно арыка: оказалось, что это сделано, чтобы замедлить ток воды в данном арыке и сравнять его оросительную способность с соседним. В другом случае я заметил, наоборот, примитивность способа починки оросительной системы. Чинили борт большого распределителя, для чего было созвано, должно быть, все население большого аула, и туркмены подносили землю в полах своих халатов. Тачек они не знали.

Впрочем, Закаспий во многом отличался от других областей. Начать с того, что у них были озимые посевы: сев проводился, кажется, в декабре, а в конце апреля — начале мая — жатва, используя таким образом редкие зимние дожди, воды же весенних паводков являлись основой яровых посевов.

Было в Закаспии и другое оригинальное явление. Так как общая площадь земли значительно превышала площадь, могущую быть орошенной, то население засевало в концах оросительной системы добавочные площади «на всякий случай», и если паводок бывал обильный, собирали урожай с лишних десятин, если нет — терялись семена, на таких «запасных» десятинах высевались очень скупо: пуда два на десятину.

Побывав в Мерве и Теджене, я приехал потом в Ашхабад познакомиться с начальником области генералом Лешем и условиться с ним и его помощниками о дальнейшем направлении работы наших чиновников в области.

Вторая большая поездка моя была в Фергану. Начал я ее с областного города Скобелева, чтобы познакомиться с губернатором А. И. Гиппиусом и с представителями нашего ведомства.

Не знаю, отчего в Фергане было решено для областной администрации создать новый центр, а не приурочить его к одному из существующих городов области. Но вышло так, что экономическая жизнь сосредоточилась в старых центрах: Коканде (бывшей резиденции ханов) и Андижане, насчитывавших в мое время каждый около 120 000 жителей, и отчасти Намангане с 60 000[1], тогда как администрация обо-

[1] Цифры явно завышены.

сновалась в правда прелестном, утопающем в садах, но экономически совершенно мертвом городе Скобелеве[1]. Жило в нем чиновничество, были расквартированы войска да торговало несколько магазинов, их обслуживающих. Тишина, особенно вечерами, была поразительная. Наш чиновник по ирригации Матисен очень картинно рассказывал (может, и привирал), как, приехав в Скобелев, он вечером вышел за калитку: «Все тихо кругом. Вдруг чихнул, и залились по всему городу собаки».

Гиппиус оказался губернатором старой туркестанской традиции, для которой идеал администратора воплощался в уездном начальнике, разбирающем дела населения по совести и здравому смыслу. Как-то он вовсе забывал, что, благодаря хлопковому хозяйству, Фергана более других частей края вовлечена в оживленный коммерческий оборот. К чиновникам нашего ведомства относился с большим недоверием, а агронома Курбатова (правда, человека довольно ядовитого) прямо не переносил и принципиально делал все напротив. Но в душе был человеком добрым и действовал по мере своего разумения. Кончил он свою карьеру довольно печально. Когда в 1916 году в крае было восстание, он, будто бы желая успокоить население, надел халат и в мечети целовал Коран, стремясь объяснить, что русская власть не желает нарушать туземных обычаев. Куропаткин, назначенный тогда генерал-губернатором с широкими полномочиями, немедленно сменил Гиппиуса (как, впрочем, и всех остальных губернаторов).

Из Скобелева я приехал в расположенный поблизости Андижан, в то время бывший еще конечным пунктом Среднеазиатской железной дороги. В Андижане была недавно устроена опытная станция, во главе которой стоял агроном Мухин, по словам Понятовского, человек больших способностей, хотя на вид очень невзрачный и чрезвычайно скромный.

Из Андижана я должен был проехать в глубь уезда в так называемую Кугартскую долину, где был перед тем основан ряд переселенческих поселков, а затем в господствующую над долиной Кугартскую лесную дачу со знаменитыми ореховыми лесами, откуда шли ореховые наплывы, дорого ценимые мебельными фабрикантами Западной Европы. По дороге пред-

[1] Ныне Фергана.

полагалось осмотреть и семенные плантации нашей агрономической организации.

В Андижане меня встретил местный уездный начальник полковник Бржезицкий, человек живой и словоохотливый, которому понравилась мысль проехаться в уезд вместе со мной в качестве «хозяина» уезда. Он взял на себя организацию поездки, и должен сказать, что так мне больше не пришлось потом ездить в Туркестане. Это была даже по тому времени «старорежимная» поездка, и думаю, что, кроме губернаторов и, конечно, генерал-губернатора, так никого не возили.

Выехали мы из Андижана рано утром целым караваном хороших колясок, запряженных отличными лошадьми, поставляемыми волостными старшинами окрестных волостей, через которые приходилось проезжать.

Впереди нашего «каравана» скакал староста очередного кишлака с двумя или тремя аксакалами (урядниками), затем на некотором расстоянии — волостной старшина со своими джигитами. Надо заметить, что сартовские волостные редко бывают менее шести пудов (100 кг) весом, так что я невольно жалел их верховых лошадей. Затем уже следовала коляска Бржезицкого, в которой он предложил мне ехать с ним, а сзади наш лесной ревизор с агрономом и заведующий водворением переселенцев вместе с заведующим казенными оброчными статьями. Кругом еще человек десять-двенадцать верховых сартов, уж не знаю, по долгу ли службы или так, из удовольствия сопровождать «начальство». Эти окружающие сарты периодически сменялись, думаю, они ехали только в пределах данного кишлака.

Верстах в 20 мы въехали в большой кишлак, проехали крытую улицу с лавками и остановились перед домом волостного старшины, где группа седобородых сартов поднесла на блюде чуреки (плоский хлеб) и дистирхан (угощение). Я думал, что надо им что-нибудь сказать, но оказалась, что достаточно поблагодарить. Здесь сменили лошадей и поехали дальше. В следующем волостном селе, кажется, Избаскент, после такой же встречи было предложено позавтракать (обычный при поездках суп с курицей и плов, а потом в изобилии фрукты, абрикосы (урюк), виноград еще не созрел).

Под вечер, думаю, часу в пятом, мы подъехали к большому кишлаку Джалал-Абад, расположенному на другом берегу

широкой реки (Карадарья, образующая слиянием с Нарыном Сырдарью). Здесь пришлось расстаться с колясками, и нас ждал десяток арб, на которых предстояло переправиться через реку. Туркменские арбы — повозки на двух колесах, диаметром с человеческий рост. Благодаря этому они не увязают в грязи во время осенней распутицы и легко переезжают через небольшие арыки, где русские телеги застряли бы колесами. В большинстве случаев арбы имеют крытый, полукруглой формы, верх.

Меня усадили в арбу, и мы тронулись. Должен сказать, что мне до того не приходилось переезжать через быстрые горные реки, и я первое время совершенно не понимал, что происходит вокруг. Впечатление, будто с невероятной быстротой мчишься назад, если смотришь на воду. Если же смотришь на берег, понимаешь, что лошадь не без усилия, но уверенно подвигается к намеченному пункту высадки. Река оказалась неглубокой, и до оси вода не дошла. Ширины, думаю, было сажень 200 или немногим более.

В Джалал-Абаде мы заночевали, а на следующий день двинулись дальше верхом, так как местность начала повышаться, и мы почти тотчас выехали за пределы поливного района. Начиналась Кугартская долина, где благодаря высоте местности выпадало достаточно осадков, чтобы вести неполивное хозяйство с «богарными» посевами. Думаю, все же один полив в начале лета этим посевам дается. Хлопка здесь уже не сеют, но пшеница и ячмень вырастают хорошо, и урожаи даже бывают обильные. Поэтому Переселенческое управление образовало здесь ряд поселков (хуторского типа), через которые мы и проехали.

Следующую ночь или две мы уже провели в юртах, которые к нашему приезду в условленных местах были установлены местными киргизами. Мы все были с походными кроватями, так что ночевки были очень приятными. После жаркого дня была приятна ночная свежесть и чистый горный воздух. Мы были уже недалеко от Кугартского перевала, отделяющего Фергану от Семиречья, кажется, около 7000 футов высоты. Следующий день мы ехали лесами. Для меня было новостью, что насаждения держатся только на северных склонах, южные же складки всех гор всегда безлесны. Вообще понятие «лесной дачи», с которым, особенно на Дальнем Востоке, я привык

соединять представление о сплошном лесном пространстве, пришлось видоизменить. Здесь «лесная дача» имеет обычно «полосатый» характер. Редкие деревья склона, обращенного к северу, сменялись параллельным пространством, совершенно безлесным. Исключение составляли ореховые леса, которые занимали полосу предгорья, сравнительно плоскую. Среди этих «лесных дач» встречались более или менее крупные овечьи стада, основной источник дохода, сравнительно с которым доход собственно лесной играл роль совершенно второстепенную.

Лесные объездчики — главной задачей их было взимание сбора с баранов (по 5 коп. с головы) — поразили меня своей чисто военной выправкой. Правда, все они были из отставных унтер-офицеров. Встречали они меня на границе своих «объездов» и при встрече «рапортовали».

Должен сознаться, что подробности этой поездки у меня теперь совершенно изгладились из памяти. Помню, что при переезде через одну горную речку у Педанова (лесной ревизор) лошадь споткнулась и он невольно выкупался в ледяной воде, что, несмотря на тщательное смазывание носа и щек калодермином, у меня вся кожа на лице сошла, не выдержав ярких лучей южного солнца в горной местности. Помню, что заехали к чудодействующему якобы и чтимому туземцами источнику Хазрет-Аюб (Святого Иова). Небольшой бассейн довольно мутной воды с сернистым запахом, в который влезают туземцы, будто бы исцеляет от ревматизма. Не без того, думаю, чтобы передавать некоторые заболевания, так как туземцы влезали в него по многу человек зараз. Общее впечатление, оставшееся от поездки, — крайне богатого края, живущего своей замкнутой в отношении нас, русских, жизнью. Местные русские власти ведались с туземной сельской администрацией — волостными и сельскими старшинами. Внутреннего быта туземного кишлака мы сознательно не касались, кроме уголовных правонарушений, предоставляя туземцам право разбираться самим в своей среде. В отношении населения, привыкшего направлять всю свою жизнь по шариату, политика эта была, думаю, правильной. Конечно, были у нас и отрицательные стороны: одна из них — фактическое всевластие волостной администрации, несомненно, облагавшей жителей волости незаконными поборами.

Но кажется, однако, ни один сарт, ни киргиз не посмел бы жаловаться. Я как-то разговорился на эту тему с нарынским участковым начальником Ивановым, служившим также в коренном Туркестане, и спросил его полушутя, во сколько обходятся населению мои поездки.

— Ну ваши, — был ответ, — не так уж дорого, тысяч 5—6, губернаторские больше, тысяч 10—12, генерал-губернаторские и подавно.

— Под каким предлогом?

— Да как вам сказать... Туземец считает, что начальство не может не брать (волостные все берут), и чем важнее, тем больше. Поэтому, когда после проезда должностного лица волостной старшина объявляет по волости сбор в 2 рубля с хозяйства, всем это кажется естественным и не приходит даже в голову, что фактически приезд начальника волостному старшине, кроме беспокойства, расходов, собственно говоря, почти не причинил.

Что дала наша власть населению? Несомненно, экономический подъем, особенно в последние годы в связи с развитием в крае хлопководства, повышением урожайности из-за применения более отборных семян и ростом цен. Но правда, что этот дополнительный заработок в большей части своей оставался в руках посредников из-за ростовщических процентов, взимаемых при выдаче дехканам авансов под будущий урожай. Все же общий подъем благосостояния местного населения не подлежал сомнению, ясно свидетельствовал о нем и рост торговых оборотов московских текстильных фирм в крае.

Труднее ответить на вопрос: снискали ли мы любовь местного населения. Должен признаться, что человек, всю жизнь проведший в крае и, казалось, хорошо его знавший, Н. П. Остроумов, директор учительской семинарии, подготовлявшей преподавателей так называемых русско-туземных училищ, говорил мне, что и дня не остался бы в крае, если бы из него вывели войска. Думаю, однако, что он не совсем прав: во время войны гарнизоны Туркестана были ослаблены очень заметно, но то восстание, которое произошло в 1916 году (я буду о нем еще говорить дальше), было, во-первых, местным, а главное, вызвано нашей административной ошибкой, совершенно непростительной. В большей части края оно отзвука

не получило, и к слову сказать, в самый разгар его я спокойно проехал на почтовых от северной границы Семиречья почти до самого Чимкийского уезда — более тысячи верст в сердце киргизских степей.

В июне в Управлении земледелия состоялось «соревнование» на сдачу в аренду казенных земель в Кокандском уезде (Каракалпакская степь) путем машинного орошения. На этот способ увеличения площади хлопковых посевов возлагались одно время большие надежды. Построен этот метод на том принципе, что в местностях, где Сырдарья течет полноводно у самого берега, можно получить воду без дорогостоящего головного сооружения путем выкачивания воды прямо из реки при посредстве механического двигателя. Основные затраты были ничтожны по сравнению с выводом из канала, текущий же расход (керосин и тому подобное) вполне окупался хлопковым урожаем в местности, близкой к Коканду. До известной степени прообразом этого орошения являлся туземный «чигирь», род мельничного колеса с приделанными к нему ведрами, из которых вода шла потом по желобу и выливалась в оросительный арык. Было одно хозяйство (я в нем был, но забыл фамилию хозяина. Это был поляк, кажется Карпинский, инженер, орошавший мотором участок в 300 или 400 десятин и, кажется, недурно зарабатывавший).

Еще до моего приезда были выбраны и составлены планы шести участков, которые, казалось, было легко оросить этим способом из Сырдарьи. Участки разной величины, но довольно большие, помнится, 800— 1500 каждый. Министерство хотело привлечь к этой аренде русских, и потому было решено отступить от обычного способа сдачи казенных земель с торгов, а вызвать желающих на «соревнование», при котором высота предложенной арендной платы не играла бы роль преобладающую, а можно было бы отдать предпочтение лицу, более «желательному» по соображениям общей политики.

Трудно сказать, что из этого вышло бы при нормальных условиях. О предстоящих «соревнованиях» много говорилось в кругах московских промышленников и среди петербургского и московского общества. Местные же дельцы отнеслись к делу скептически. В итоге ко дню «соревнований» в Ташкент приехали и подали заявления о желании арендовать землю (с предложением довольно высоких цен) несколько человек, в

Туркестане ранее не бывавших и едва ли способных толково поставить эти, в общем, весьма сложные предприятия. Поляк, у которого я был, жил сам на участке в скромном домике и сам следил за работой мотора и нагнетательных машин. Помню в числе «соревнователей» камергера П. А. Тучкова, полковника Нарышкина, светлейшую Лопухину-Демидову. Остальных забыл. При отсутствии местных кандидатов этим приехавшим было легко договориться и распределить между собой сдаваемые участки. В сущности, они даже преувеличили арендные цены, которые оказались выше, чем мы в управлении ожидали.

При сложившейся обстановке управлению оставалось только представить результаты «соревнования» в министерство и высказаться за сдачу каракалпакских участков тем лицам, которые о них просили. Министерство так и поступило.

Фактически из всего дела ничего не вышло. К организации орошения арендаторы должны были приступить в следующем году. Но до начала войны ни один из них в Туркестане не появился, а там стало не до заведения новых сложных хозяйств. Думаю, однако, что, не будь войны, эти арендаторы дела бы не сделали, во всяком случае, сами они своего труда, по моему впечатлению, в дело вкладывать не собирались. При разговорах в моем управлении они мне показались типичными «грюндерами», искавшими выгодных концессий, которые можно было бы благодаря петербургским связям получить, а потом с барышом перепродать.

Вообще, стремления тех годов проводить «националистическую» политику в области экономических мероприятий вело подчас к результатам совершенно абсурдным. Особенно запомнился мне, в этом отношении, случай со сдачей в аренду права сбора цитварной полыни.

Цитварная полынь, из которой добывается сантонин (средство против глистов, применяемое европейской фармакопеей, но еще более китайцами и японцами), водится только в степях Чимбайского уезда Сырдарьинской области. Таким образом, казна являлась, по существу дела, монополистом этого продукта на мировом рынке и теоретически могла бы продавать его по произвольно высокой цене. Фактически право сбора цитварной полыни составило казенно-оброчную статью,

сдаваемую в аренду с торгов на 12 лет за небольшую сравнительно сумму, кажется 1200 рублей в год. Арендаторами являлись местные землевладельцы — садоводы Ивановы (имевшие в крае крупное виноделие). Срок аренды кончался в 1913 году, и было решено на торги эту статью не ставить, а вызвать желающих и выбрать среди «соревнующихся» наиболее желательного кандидата.

По вопросу о возможной прибыльности этого дела говорилось тогда очень много. Представитель туркестанской казенной палаты (Министерства финансов) утверждал, что если бы казна взяла это дело в свои руки, то можно было бы получить чуть не миллионы. Правда, он исходил из цен на сантонин гамбургской фирмы Мерка, и упускалось из виду, что потребность, даже мировая, на сантонин довольно ограничена и во всяком случае гораздо меньше, чем в Туркестане имеется цитварной полыни. Вообще было опасение, что, если преувеличить цены на цитварную полынь, окажется, что Мерк в Гамбурге без нас просто обойдется благодаря запасам, купленным в предыдущие годы. Так или иначе, министерство велело нашему управлению устроить соревнование.

Ташкентским Ивановым, естественно, не хотелось идти на соревнование, где цены были бы, вероятно, сильно повышены, и их представитель Иван Николаевич Иванов, старший из трех братьев фирмы, пытался одно время склонить меня на продление аренды без торгов, властью управления сроком на один год. Предлагал, кажется, довольно высокую плату — 5000. На это я согласиться не мог, но не помню, почему официального отказа ему не послал. Впоследствии я этим обстоятельством воспользовался. Дело в том, что вопрос об организации соревнования почему-то затянулся, и к моменту сбора цвета полыни (20—25 августа) право этого сбора не было никому сдано. По имевшимся у меня сведениям, ташкентские Ивановы рассчитывали на этом сыграть и скупить полынь у собирающих ее киргизов, не платя ничего в казну. При таких условиях надо было что-то предпринять, и помню, что 15 августа (в день Успения) я поехал к управляющему контрольной палатой, а от него к замещавшему губернатора его помощнику и получил их согласие сдать на один год право сбора полыни Ивановым за предложенные ими 5000 и в тот же день послал об этом телеграмму Ивановым и местному лесниче-

му. Помнится, что Ивановы были этим исходом очень недовольны и пытались обжаловать мое распоряжение в министерстве, но в этом не успели, потому что в моих руках было их предложение, сделанное весной.

Само соревнование состоялось вскоре после этого. Участие в нем приняли:

1) Иванов Иван Николаевич, бывший арендатор.

2) Иванов Сергей Абрамович, отставной действительный статский советник.

3) Иванов Виктор Михайлович, отставной генерал-майор.

За двумя последними стояли банки. Предпочтение было отдано среднему из Ивановых (Сергею Абрамовичу), как предложившему наивысшую цену, но самый факт появления в качестве «соревнователей» трех Ивановых чрезвычайно характерен для той эпохи. Чувство «имперское» уступало место более узкому «русскому» национализму. Думаю теперь, что это было ошибкой.

В СЕМИРЕЧЬЕ И ЕВРОПЕ

В середине июля в Ташкент приехал Глинка по дороге в Семиречье, и я решил присоединиться к нему в этой поездке. В Ташкенте он провел день или два, провел у нас вечер с Сахаровыми и Галкиными, а ночевать мы поехали уже в его вагон, который должен был к утру доставить нас на станцию Арык, откуда начинался почтовый тракт на Семиречье.

О поездке Глинки начальник почтового округа послал предупреждение по тракту, так что лошадей ждать особенно не пришлось. Только где-то в Аулиеатинском уезде мы попали на скрещение двух больших почт и, несмотря на все глинкинские громы и молнии и угрозы послать телеграмму министру внутренних дел (телеграмму эту, к слову сказать, повезли бы мы с собой, так как телеграфного отделения на этой станции не было), пришлось просидеть несколько часов и изучить все циркуляры и правила, развешенные на стене, и содержание жалобной книги, похожей, как одна, на все другие.

Ехали мы, сколько помню, с ночевками, расставляя на станциях наши походные кровати. У Глинки кровати не было, и он спал на клеенчатом станционном диване. Утром четвертого

дня въехали в пределы Семиречья и были встречены заведующим переселенческим районом инженером Борисом Христофоровичем Шлегелем с двумя или тремя его сотрудниками, так что поезд наш вырос до четырех повозок. Нечего и говорить, что едущие в задних тарантасах приезжали на станцию совершенно черными от пыли.

Характер местности с въездом в Семиречье заметно изменился: от самой границы области почтовый тракт вышел почти в сплошную цепь русских поселков. Переселенческие организации создались здесь раньше, чем в Ташкенте, и встречали в своей деятельности по отводу земель для переселенцев меньше препятствий, чем в коренном Туркестане. Семиречье управлялось другими законами (степное положение), так как входило долго в состав степного генерал-губернаторства (в Омске) с его кочевым киргизским населением.

Кроме того, Семиречье было богаче водою, тогда как даже в киргизской полосе Сырдарьинской области воды редких рек были уже в период нашего завоевания края почти полностью использованы земледельческим населением сартовских оазисов.

Поэтому в Семиречье оказалось возможным гораздо шире отводить земли для устройства проникавших туда самовольцев, и почти от самой границы области почтовый тракт входил в район русских поселков, тянущихся непрерывной лентой до города Пишпека (при большевиках — Фрунзе).

В Пишпеке мы ночевали, а на следующий день пересекли реку Чу, для которой инженер Васильев заканчивал проект орошения. По замыслу министерства здесь должен был создаться большой земледельческий оазис, поставляющий в Туркестан зерно и тем позволяющий освободить дополнительную площадь земель под хлопок.

Через день мы были в Верненском уезде. Целью глинкинской поездки было ознакомиться на месте с вопросами, возникающими на почве землеустройства семиреченских казачьих станиц. Соответствующий законопроект был только что перед тем принят Государственной думой и Государственным советом. В основе его лежало наделение казаков по 20 десятин на душу, и надо было выяснить, каким путем осуществить это требование закона при земельных отношениях, фактически сложившихся в Верненском уезде.

В первой же из станиц, лежавших на нашем пути, мы были встречены станичным сходом (сбором во главе со станичным атаманом с булавой, поднесшим Глинке хлеб-соль и приговор об избрании его почетным стариком данной станицы).

Такой же церемонией, но еще более торжественной, встретила Глинку станица Больше-Алмаатинская, непосредственно прилегающая к городу Верному. Здесь был военный губернатор области, генерал Фольбаум, встречавший Глинку в качестве наказного атамана Семиреченского казачьего войска.

В Верном мы провели с Глинкой дня три, которые ушли на обсуждение вопросов, связанных с предстоящим землеустройством казаков, а у меня лично — и на ознакомление с личным составом наших служащих. Старшим среди них был лесной ревизор Баум, приехавший в Верный чуть ли не в 1879 году, лет за 10 до первого большого землетрясения.

После Туркестана Семиречье прельщало сравнительной прохладой. Начиная с пересечения реки Чу почтовый тракт идет вдоль подошвы высокого хребта, отделяющего Верненский уезд от Пржевальского — Заилийского Алатау, у вершин которого круглый год держится снег. Сам Верный лежит в предгорье этого хребта, и на губернаторской летней даче верстах в 7—8 от города, где мы провели один из вечеров, было прямо холодно ужинать на балконе. Внешне Верный напоминал, скорее, большую деревню или курорт, чем губернский город. Все дома и здания (не исключая большого красивого собора) были из дерева, так как печальный опыт 1889 года, когда весь город был разрушен, показал, что только деревянные здания выдерживают землетрясения. Все дома были с садами, а по широким улицам, обсаженным густыми деревьями, проходили вечером коровы городского стада и почему-то хозяйки развешивали белье. Обилие фруктов (яблок «верненский апорт» и груш «дюшес») было невероятное. Цены столь же невообразимые — рубль за воз, если не на выбор, при покупке оптом; рубль за сотню — розницей, размером же яблоки и груши были такие, какие я больше в жизни не встречал.

Из Верного Глинка повернул на север — на Семипалатинск. Я с ним доехал до ближайшего уездного города Копала и, простившись, поехал назад, остановившись по пути еще раз в Верном и в Пишпеке.

1913 год был в Ташкенте годом приезда «знатных гостей». Еще в марте у Самсонова были парадные завтраки по случаю проезда возвращавшихся к себе после Романовских торжеств эмира бухарского и хана хивинского. Церемониал встречи бывал довольно торжественным. Все высшее чиновничество и генералы военного округа выстраивались в зале, прилегавшем к передней генерал-губернаторского дома, и когда коляска с эмиром и ханом подъезжала к крыльцу, Самсонов в парадной синей форме с шапкой с плюмажем появлялся в распахиваемых дверях. Эмира бухарского, который считался «независимым» (Россия имела с Бухарой договор «дружбы»), Самсонов выходил встречать в переднюю и вел затем мимо нас во внутренние покои. Хана хивинского же, который числился вассалом «под покровительством России», генерал-губернатор встречал у внутренних дверей, не выходя ему навстречу. Лично мне хан понравился более, чем эмир. Последний, хотя носил туземную одежду, был более оевропеен, ростом мал и непрезентабелен. Хан же хивинский, высокого роста, с густой черной бородой, был гораздо величавее. Эмир, учившийся в Николаевском корпусе, говорил по-русски, хан объяснялся через переводчика.

После проезда эмира Самсонов передал мне на очередном докладе якобы «пожалованную мне Его Величеством» бухарскую золотую звезду 1-й степени. Надо сказать, что в Туркестане почти все чиновники получали автоматически бухарские ордена соответственно классу должности (Успенский, впрочем, в порядке «заслуги» получил еще золотую звезду «с бриллиантами», но это было исключение и дана она ему за организацию противосаранчовой борьбы в Бухаре). Фирмана я получил несколько позднее. Стиль его был очень своеобразным: «пожаловали мы орден такому-то, дабы он, возложив оный на себя, пребывал к нам доброжелательным». Надпись была на двух языках — арабском и русском.

В начале мая того же 1913 года в Ташкенте состоялось торжественное открытие памятника Кауфману — по случаю 50-летия взятия Ташкента и присоединения края к России. Памятник — красивый и довольно величественный — был поставлен в центре Кауфманского сквера. На открытие приехали представителем Государя старик Мейендорф, племянник Кауфмана Петр Михайлович с Мишей и Александрой

Михайловной и Харитонов, государственный контролер. Очень эффектен был на торжестве великий князь, участник кауфманских походов, только, неизвестно почему, он надел по этому случаю черный френч и обтянутый черной же материей тропический шлем.

5 октября у головного сооружения Романовского канала состоялось торжественное открытие голодностепской оросительной системы, на которое приезжал из Петербурга Сухомлинов.

Наконец, поздней осенью, через Ташкент проехал и был чествуем парадным завтраком командированный представителем Государя в Самарканд на открытие памятника строителю Среднеазиатской (тогда Закаспийской) железной дороги генералу Анненкову старый Васильчиков, бывший командир Гвардейского корпуса. С ним были его два сына и дочери покойного Анненкова (или племянницы, точно не знаю).

Должен сказать, что эти парадные завтраки в доме генерал-губернатора я откровенно любил. Не с гастрономической, конечно, точки зрения, к которой я относился всю мою жизнь равнодушно, а как известный обряд государственной службы. В большой зале генерал-губернаторского дома накрывался большой стол покоем, за которым рассаживался по рангу ташкентский служилый люд. Играла музыка, произносились официальные тосты, чувствовалось приподнятое настроение и, я бы сказал, радостно-горделивое сознание принадлежности твоей к, казалось тогда, мощному механизму российской государственной власти. А то, что эта мощь три года спустя рухнет, — в голову не приходило.

На Рождество Самсонов разрешил созвать в Ташкенте Съезд хлопководства, о котором давно уже мечтали наши агрономы. Съезд открылся под предводительством Галкина в губернаторском доме на второй день праздника и тянулся дня четыре, так что праздники вышли на этот раз более занятыми даже, чем будни. Лично меня съезд несколько разочаровал: основной вопрос, как освободить мелкого земледельца-декханина от хищнической эксплуатации ростовщиков-посредников, остался нерешенным, если не считать платонического пожелания о развитии учреждений мелкого кредита. Были, правда, намечены некоторые меры тарифного характера, вроде понижения железнодорожных ставок на удобрение и на хлопко-

вый жмых, высказаны пожелания о развитии агрономической помощи, одобрена схема существующей организации, но все как-то было очень или платонично, или, я бы сказал, «мелко». Перепев мыслей, уже высказанных ранее в официальных записках нашего ведомства.

Из других дел, особенно занимавших меня в конце года, был вопрос реорганизации наших местных учреждений. С 1 января должны были вступить в должность в каждой области вновь назначенные чиновники особых поручений V класса, исполняющие обязанности управляющих государственными имуществами. Проект инструкции был рассмотрен в совете генерал-губернатора и выработана редакция, удовлетворявшая пожелания нашего министерства и вместе с тем не забывавшая ведомственного самолюбия областной администрации и военных губернаторов.

Был еще ряд вопросов, которые мне хотелось продвинуть, так что заседания и совещания тянулись у меня с моими сослуживцами почти весь декабрь. К началу января основное было закончено, и я отправился по установившемуся обычаю в Петербург для доклада, после чего обычно брался начальниками управлений их ежегодный отпуск.

В Петербурге я провел около месяца, остановившись на этот раз почему-то не на Шпалерной, а у дяди Лели Мещерского на Басковом переулке, где мне дали две комнаты против их квартиры на том же этаже.

Представился Кривошеину, который произвел большое впечатление своим умением импонировать и в двух-трех словах давать ясные указания, какой линии держаться в том или ином вопросе.

Обошел все департаменты и везде был приятно и любезно встречен: похоже, что моей деятельностью и работой в Туркестане были довольны. Из эпизодов полукомичных помню, что под конец отправился в Министерство торговли в Горный департамент, с которым приходилось сноситься по вопросам о выдаче разрешений на разведку ископаемых на казенных землях. В этом деле был ряд спорных пунктов, о которых и управление, и генерал-губернатор несколько раз запрашивали Петербург, но ответа не получили.

Разыскал соответственного начальника отделения, старенького чиновника, который обещал навести справки (сам

дела не помнил) и просил опять зайти дня через три. Прихожу через три дня, и тот встречает меня радостно:

— Нашел.

— Что же?

— В июле 1910 года был по этому вопросу делопроизводством представлен доклад товарищу министра.

— Ну и что же?

— Не вернулся от его превосходительства.

— Кто?

— Доклад-с.

И по лицу моего старичка было видно, что с его точки зрения вопрос был исчерпан. Раз товарищ министра доклада не возвратил (вероятно, завалился куда-нибудь), «дело» ждет, пока доклад вернется (а за три года с половиной, думаю, успел уже не один товарищ министра смениться). Насилу убедил старичка представить начальству новый доклад по тому же поводу, но, увы, никогда мы в Ташкенте этого ответа так и не получили. Впрочем, скоро началась война, а там и самый вопрос наш потерял свою остроту.

Должен, однако, сказать, что в нашем министерстве такое отношение к делу было бы немыслимо. Да и в Министерстве торговли, думаю, причина была в том, что горное дело в Туркестане было еще тогда в зачатке и ведомство мало им интересовалось.

Окончив дело в Петербурге, я решил воспользоваться отпуском для поездки за границу и побывать в Париже, где был только в детстве вместе с Мама в 1898 году. Заодно повидался бы с Борей, которого не видел чуть ли не с Афин.

В Париже я провел, должно быть, около двух недель, столовался у Бори, а жил в каком-то маленьком отельчике на avenue de la Bourdonnais. Обошел, конечно, все музеи, в Лувре был, насколько помню, с Борей Мещерским, с которым вообще встречался несколько раз, и был на его квартирке художника, где хозяйничала его petite amie[1], очень милая и скромная.

Вечерами бывал обыкновенно в театре, а потом в каком-нибудь кабаке (одновременно в Париже были по служебным делам мои товарищи Раевский и Зейме). Видел Сару Бернар, которая была, правда, уже на закате славы, в

---

[1] Подружка (*фр.*).

пьесе очень мелодраматической и малоправдоподобной, так что мне, любителю Московского художественного, ее игра не понравилась (в пьесе мать поцелуем передает сыну в тюрьме яд, чтобы он отравился и снял позор с имени, — название пьесы забыл).

Между прочим, Боря водил меня в посольство представиться Извольскому. Последний, узнав, что я был на Дальнем Востоке, расспрашивал меня про взаимоотношения с японцами и нашел чрезвычайно ошибочным описанное мною стремление местных властей устранять японцев от аренды рыбных промыслов. По его словам, заключая договор 1911 года, он именно стремился честно размежевать взаимные интересы двух стран на Дальнем Востоке и, поскольку рыбные богатства русского Дальнего Востока играют первостепенную роль в экономической жизни Японии, сознательно допускал их к аренде рыбных промыслов, чтобы, давая им насущно необходимое, иметь право требовать и от них невмешательства в те сферы, в которых мы были на Дальнем Востоке заинтересованы.

Каюсь, что при всех разговорах наших с Гондатти и другими чиновниками в Приамурье эта сторона наших взаимоотношений с Японией никогда так не ставилась и, вспоминая об этом теперь, невольно видишь здесь характерный пример несогласованности в политике разных ведомств, особенно, конечно, заметное в сфере, соприкасающейся с внешней политикой, которая была в известной степени изъята из общего ведения Совета Министров.

Из Парижа я приехал на три или четыре дня в Лондон. Переезд на Дувр сошел благополучно, как, впрочем, и более длинный на обратном пути Фолкстон—Флашинг. От Лондона запомнились холод и сырость в гостинице (несмотря на то, что за приплату затопили камин), безлюдье улиц в воскресенье и, после Парижа, отсутствие ночных кабаков и ресторанов. Из музеев особенно произвели колоссальное впечатление статуи египетского отдела Бритиш Музеум, да где-то виденная картина Винтергальтера (портрет дамы в белом). Удалось попасть на заседание парламента: ожидался «большой день» (это был момент Ульстерского восстания), но почему-то запрос Карсона был отложен, хотя Асквит был на заседании. Впрочем, при неважной акустике и моем слабоватом

в то время знании английского (еще меньше, чем теперь) я вряд ли уловил бы интерес речей. Билеты мне устроил Александр Николаевич Брянчанинов, мне и Скрябину (при моей немузыкальности я этого не оценил). Между прочим, я напомнил Брянчанинову, что на одном из его докладов в Клубе общественных деятелей в 1910 году он предсказывал англо-германскую войну на март 1914 года (по ходу осуществления судостроительных программ). Были мы как раз в марте, общий политический горизонт казался сравнительно спокойным. Не помню, что он мне ответил. Смысл был, кажется, тот, что в предсказаниях за несколько лет ошибка во времени всегда возможна, но что война эта (англо-германская), по его мнению, неминуема. Разговор этот шел у его сестры Шкловской, муж которой (бывший костромской губернатор) незадолго перед тем вышел в отставку и работал в Англии над своим коньком — проектом одноколейной железной дороги.

В ПЕРСИИ И В ГОРАХ ТЯНЬ-ШАНЯ

По возвращении из-за границы я оставался в Петербурге лишь несколько дней и отправился в Ташкент, думаю, с заездом по дороге в Шебекино. Мама на этот раз решила избежать утомительной ташкентской жары и отложила свой приезд до осени.

Потянулась обычная ташкентская жизнь. К Пасхе я был обрадован производством в порядке «отличия» и скидкой дополнительного года «по манифесту» в чин коллежского советника со старшинством с мая 1912 года. (Благодаря этому я должен был в 1916 году автоматически оказаться «за выслугу лет» статским советником в рекордный срок 10 лет государственной службы.) Получил также, вместе с переселенческими чиновниками, знак отличия «за труды по переселению и землеустройству за Уралом», которому был очень рад и которым дорожил по воспоминаниям переселенческой работы. Значок этот формы мальтийского креста, серебряный с зеленой эмалью, напоминал по форме значок, который при Александре II получали деятели крестьянской реформы. Аналогичный, только с другой надписью, получали служащие по землеустройству в Европейской России.

Ездил, насколько помню, в Голодную степь, где чудное состояние хлопковых посевов у новоселов создавало радостное приподнятое настроение.

В конце мая решил поехать в Закаспийскую область посмотреть, как себя поставил вновь назначенный туда управляющим государственными имуществами бывший при мне во Владивостоке лесничим Н. Н. Гуссаковский, первый представитель нашего ведомства в Асхабаде (если не считать агронома, всецело сосредоточившегося на технической работе).

Заодно я попросил разрешения у Самсонова проехать в пограничную часть Персии, оккупированную в то время нашими войсками, где, по имевшимся сведениям, возник ряд русских хозяйств.

В Асхабаде я нашел все лучше даже, чем ожидал. Гуссаковские (говорю во множественном числе, потому что большая часть заслуги лежала, откровенно говоря, на жене его, очень умной и решительной даме) сумели очаровать начальника области генерала Леша, а так как в Закаспии по закону начальник области есть все, то положение представителя нашего ведомства среди остальных чиновников сразу стало прочным и влиятельным. Дела текущие тоже шли удовлетворительно: областная администрация была довольна увеличением дохода с кярендных земель, а мы параллельно получали довольно крупный доход с новых земель, сдаваемых под хлопок. Кроме того, в область было назначено два лесничих, которые начали осматриваться по своей отрасли (фисташковые леса в горах близ Ашхабада и обложение казенным сбором саксауловых зарослей в некоторых частях пустынной полосы).

Из Асхабада я отправился в «Персию». Надо сказать, что в районе, прилегающем к Каспийскому морю, границы наши с Персией были договором установлены по реке Атреку. Между тем как — верно или неверно утверждали некоторые — река, которую в действительности имели в виду лица, ведшие переговоры, была Гюрген, расположенная несколько южнее; надо действительно сказать, что экономическое наше влияние доходило до Гюргена, еще когда не было речи об оккупации Северной Персии, что началось, кажется, в 1910 году. По крайней мере кочевые иомуды, русские подданные, проводившие лето где-то на границе Закаспия и Уральской области,

зимой спускались к Гюргену в пределы персидские, и так как последние были очень недалеки от нашей официальной границы, то сбор годовых податей с иомудов фактически проводился нами зимой в Персии, а не летом в России. Наиболее удобным путем к Гюргену был, однако, путь кружной — на Красноводск, а оттуда по Каспийскому морю до пристани Бендер-Гяз и снова лошадьми по персидской территории. Так я и поехал.

Море было, на мое счастье, спокойным, и пароход наш совсем не качало. Прошли не останавливаясь мимо плоского острова Челекен с его нефтеносными землями и под вечер пристали у Бендер-Гяза и расположенной рядом с ним русской морской станции Ашур-Адэ. Зашел я с визитом к персидскому «губернатору», но разговор пришлось вести через переводчика, и ничего интересного сказано не было.

На следующий день выехал лошадьми в ближайший город Астрабад, где было наше консульство. Ехать надо было верст 40, сколько помнится — по предгорьям, Астрабад же, окруженный стенами, был расположен довольно высоко. Остановился в консульстве, окруженном большим чудным садом с субтропическими растениями. Из достопримечательностей консульства запомнился ручной шестимесячный тигр, которого консулу принесли котенком от убитой матери, а тут его выкормили. В отличие от общераспространенного взгляда, по которому воспитываемым на свободе хищникам не надо давать сырого мяса, чтобы не пробудить в них кровожадности, Иванов (фамилия консула) кормил своего питомца мясом до отвала, «чтобы никогда не был голоден». Для курьеза я снялся с тигренком, но был сам поражен, до какой степени я испытал при этом чувство неуютности: должно быть, атавистический страх перед тигром проявляется в нас независимо от нашей воли даже в обстановке, где страху, собственно говоря, нет даже места.

В Астрабаде Иванов дал мне экипаж и верхового казака для конвоя, и я отправился в глубину Гюргенской долины к урочищу Гумбот-Кабуз, где от давних времен сохранилась высокая сторожевая башня, видная за десятки верст, и где жил наш пограничный комиссар генерал Лавров.

По дороге я останавливался у одного или двух русских «помещиков», в общем довольных результатами их предпри-

имчивости. На отношение местных жителей ни один из них не жаловался, но подтверждали то, что мне говорили в консульстве — о трудности иметь надежные и бесспорные документы на право владения купленной землей. Мусульманское законодательство не знает «давности»; оттого на один и тот же участок земли может быть ряд разновременных документов, предъявление которых в суд может создать новому собственнику порядочные затруднения. Не помню, Иванов или Лавров мне говорили, что их совет русским, оседающим в крае и приобретшим там землю, непременно покупать всякий документ, который им принесут и который, похоже, относится к купленной им земле. Дорого не давать, не более 5—15 рублей, но выгоднее иметь в руках лишний документ, чем рисковать судиться в местном суде. Жаловались «помещики» на отсутствие кредита, ставящее их иногда в трудное положение. Относительно хлопка подтверждали, что благодаря обилию осадков, он вызревает и без полива, но считали, что дать один полив не мешает.

Сама долина Гюргена представляла почти пустынную степную равнину. В Гумбет-Кабузе я познакомился с генералом Лавровым. По идее, его должность должна была заключаться в разборе пограничных недоразумений, но в связи с оккупацией Северной Персии он приобрел гораздо большую власть, и, например, в Гумбет-Кабузе, где население быстро увеличивалось, он раздавал усадебные участки и участки для торговли. На мой вопрос, кто имеет право на получение участков, Лавров спокойно ответил: «Да всякий — русский или иомуд, кроме персов, конечно; им здесь делать нечего, Гюрген — земля русская, и граница по Атреку установлена была по ошибке». Надо, впрочем, сказать, что права персов на земли прилежащих предгорий Лавров не оспаривал, так как они там сидели издавна и занимались земледелием.

Вернувшись в Ташкент, я представил Самсонову подробный доклад о виденном мною в Гюргенском районе и мерах, которые можно было бы принять, чтобы содействовать проникновению туда русских засельщиков. Самсонов докладом заинтересовался и сообщил его копии Кривошеину и Сазонову, прося об осуществлении намеченных мер. Дальнейшего движения вопрос, впрочем, не получил. То есть частичные результаты были: наше министерство отпустило Сахарову сред-

ства на открытие в Гумбет-Кабузе фельдшерского пункта и командировку туда переселенческого чиновника. Но из Министерства иностранных дел ответа на самсоновское письмо никогда не пришло, и вполне понятно почему — несколько дней спустя произошло сараевское убийство, и все внимание оказалось обращенным в иную сторону, где назревали события, перевернувшие все судьбы мира.

В Ташкенте между тем было летнее затишье. Самсонов уехал в середине июня в отпуск; несколькими днями спустя последовали за ним Галкины. Светская жизнь замерла, и вечерами я обычно захаживал в корпус к Кохам, где обсуждались газетные сведения, но никто не отдавал себе отчета в их серьезности, и помню, как все были удивлены, что в день опубликования телеграммы Государя на имя короля Сербского я говорил (сам того, в сущности, не думая) о вероятности нашей войны с Австрией.

В числе проектов, которые я себе наметил на то лето, была большая поездка в Искандеровскую область Самаркандского уезда — обширный район высокогорных пастбищ, куда на летние месяцы сгонялась чуть ли не половина овечьих стад всего Туркестана; называлась цифра в 200 000 голов и больше. Край был, однако, чрезвычайно дикий и большую часть года совершенно недоступный. Поэтому коренное его население было, насколько помню, освобождено вовсе от платежа земских платежей — единственная, кажется, волость во всем крае. Если вообще ехать туда — надо было это делать в середине лета. Поэтому, когда тревожное настроение, вызванное обострением отношений с Австрией, стало тянуться изо дня в день, не разрешалось ни в ту, ни в другую сторону, мне пришло в голову, что я, во всяком случае, успею проделать эту поездку до событий, и я наметил свой отъезд из Ташкента на вечер 17 июля. Помню, что днем было заседание совета генерал-губернатора, и я просил замещавшего Галкина помощника губернатора сказать мне откровенно, что он думает по поводу моего предположения уехать на неделю в поездку. Тот пожал плечами и сказал: «Вы же газеты читаете. Что ж я могу вам сказать большего». В результате в 11 часов вечера мой поезд выехал из Ташкента, и в 5 утра, проснувшись на какой-то маленькой станции, я увидел в окно вагон встречного поезда с военной частью. Эти части самаркандского гарни-

зона ехали занимать стратегические пункты по линии Среднеазиатской железной дороги. В самом Самарканде, где я вышел из поезда, на всех улицах были расклеены красные листы с объявлениями о мобилизации.

Со мной был, кажется, Мустафин, и после некоторых колебаний мы решили все-таки наш путь продолжать, тем более что предупреждения были посланы и в разных пунктах нас должны были ожидать местные лесники с приготовленными юртами для ночлега. Кроме того, казалось, что мобилизация — не война; мы тогда еще не знали разницы между «частичными» мобилизациями, объявлявшимися периодически в разных местах, и «общей» — как та, что была объявлена в ночь на 18 июля по всей России.

Под вечер, когда жар начал спадать, мы выехали из Самарканда. Начало пути ехали в извозчичьем фаэтоне с сартом-полицейским, скачущим впереди и расчищающим для нас путь в толпе при пересечении населенных пунктов. Вся обстановка кругом была мирная, и Самарканд с его разговорами о мобилизации казался в другом царстве.

Первую ночь мы еще ночевали в кишлаке сравнительно недалеко от Самарканда, на следующее утро расстались с экипажем и двинулись дальше верхом. Опыт предыдущего года мне показал, что стремена сартавских и киргизских седел мне всегда коротки; поэтому на этот раз я обзавелся собственными стременами с длинными путлищами и очень этим наслаждался. От Зеравшанской долины Искандеровскую волость отделяло, кажется, два хребта: помню, во всяком случае, что в этой поездке пришлось взять два довольно высоких перевала: в 9000 и в 11 000 футов. Сами же хребты кругом достигали своими вершинами уровня в 16—18 тысяч футов, но так как вследствие юга снеговая линия поднималась тоже очень высоко — совершенно не было чувства, что находишься высоко в горах. Ощущалась только сильная разница температур, когда после нескольких часов, проведенных в долине, приближались к перевалу. Помню, что первую ночь, проведенную в юрте под перевалом, я почти не спал, ворочался в кровати от холода. Объяснилось это вполне естественно, когда утром я вышел из юрты (на ночевку мы приехали накануне уже в темноте) и увидел, что юрта была установлена на краю довольно большого снегового поля (или ледника). «Около речки» —

как объяснил объездчик, показавший туземцам, где ставить для меня юрту.

Кроме вопросов «лесного ведомства», меня в эту поездку интересовала встреча с инженером Чаплыгиным, начальником изыскательной партии Отдела земельных улучшений, изучавшим вопрос об устройстве большого водохранилища из горного озера Искандер-Куль, питавшего реку Зеравшан. Встреча наша состоялась в назначенном месте, и Чаплыгин поручил одному из инженеров партии проехать со мной к самому озеру. Последнее расположено, кажется, на высоте 6000 футов в небольшой котловине, замкнутой высокими горами, и низвергается водопадом в узкое ущелье, примыкающее к озеру с западной стороны.

Водопад должен бы представлять величественное зрелище, если бы его можно было наблюдать спереди или со стороны. К сожалению, ущелье настоль узко и глубоко, что на водопад можно смотреть только сверху, легши на землю и вытянув голову: и то все, что видишь, — это облака водяной пыли, так как при крутизне падения и глубине ущелья водная струя, вытекающая из озера, превращается в пыль раньше, нежели достигает она ущелья, и можно видеть последнее. Не знаю, удалось ли чаплыгинской экспедиции снять водопад удовлетворительным образом: я таких снимков, во всяком случае, не видел. Надо сказать, что вопрос об использовании озера Искандер для целей ирригации давно интересовал местных инженеров и самаркандский областной инженер (забыл его фамилию) настаивал на осуществлении постройки этого водохранилища на местные земские средства и составил даже «проект», который с точки зрения технической являлся, впрочем, совершенно неразработанным, едва ли даже осуществимым. Как объяснил мне помощник Чаплыгина, устройство водохранилища, связанное со значительным повышением уровня воды в озере, выдвигает на очередь ряд очень сложных проблем: не исключена, между прочим, опасность, что при увеличении давления вода найдет себе новый выход в толще горных пород и обойдет устроенную запруду. К проекту самаркандского инженера относились как к ребячеству (с чем я впоследствии не мог не согласиться, когда этот проект поступил в Управление земледелия для технического отзыва).

Осмотрев окрестности озера, мы повернули назад и начали спускаться в долину. Мне очень хотелось проехать одним ущельем, где дорога (вернее, тропа) шла на протяжении нескольких верст по настилу, устроенному над пропастью, тем более что это сокращало значительно путь и позволяло избежать один перевал, но мои спутники уговорили отказаться от этого проекта, так как прошел слух, будто настил в одном месте обвалился и проезд по ущелью далеко не безопасен. Пришлось ехать кругом через горный перевал.

КОМАНДИРОВКА НА ФРОНТ

По маршруту мы должны были, проехав Искандеровскую волость, перевалить затем (уже в районе, где горная цепь значительно снижалась) в Джизакский уезд, но когда мы подъехали к перевалу, то никто нас не встретил и мы поняли, что за дни нашего отсутствия пропустили сербские события. Пришлось ехать теми же лошадьми дальше. Верстах в десяти мы встретили лесную сторожку, где жена объездчика сказала, что почти все местные чины лесничества взяты по мобилизации. К вечеру приехали в сартовский кишлак, но подробности о событиях никто не знал. Пришлось там заночевать и заказать к утру верховых лошадей ехать на станцию, до которой было еще верст сорок.

Нечего и говорить, что выехали мы рано и ехали, насколько помнится, весь путь не останавливаясь. Дорога шла степью (вдоль орошаемого района), дул легкий ветерок, и, несмотря на палящее солнце, ехалось совсем легко, так что около полудня мы были уже у линии железной дороги и, доехав до станции, бросились на газеты. Помнится, как меня поразило, что военные действия начались с Румынией, Австрии же войны объявлено еще не было. В день, когда мы уезжали из Самарканда, главным противником казалась именно Австрия.

Вечером того же дня я был в Ташкенте и, приехав на квартиру, узнал, что Степан призван по мобилизации, но еще никуда не отправлен и даже ночевать возвращается каждый день домой.

Коренные жители Туркестана (не только туземцы, но и русские, родившиеся в крае) не подлежали воинской по-

винности. Поэтому мобилизация 1914 года сравнительно с внутренними губерниями отразилась в Ташкенте малозаметным образом; основные кадры учреждений остались на местах. В Управлении земледелия призванными оказались только один делопроизводитель да два агронома; ближайшие же мне сотрудники не подлежали призыву уже по своему возрасту, что касается меня лично, то по закону начальники отдельных частей губернского управления призыву вообще не подлежали. Но в то время многие из лиц, освобожденных законом от призыва, поступали добровольно в состав работающих на фронты учреждений Красного Креста. Мысль об этом приходила и мне в голову, но после некоторого размышления я решил, что это малоцелесообразно, и помню, что в одном из писем к маме писал ей, что оставлять работу в Управлении земледелия имело бы, может быть, смысл, если бы работа в Красном Кресте предстояла длительная. «Но так как война не может продолжаться более 4—6 месяцев» — таково было наше всеобщее обольщение, — то серьезной помощи я Красному Кресту принести не успею, а здесь деятельность управления потерпит без меня известный ущерб.

Надо сказать, что в первые недели войны наше министерство дало на места лозунг: приостановить все работы, с войной не связанные, и лишь впоследствии, когда выяснился затяжной характер войны, стали, наоборот, настаивать на необходимости поддерживать по мере сил и возможностей нормальный ход экономической жизни в стране.

Изменился, однако, состав высших чинов в крае. Самсонов, который в момент объявления войны находился в отпуске, в Ташкент не вернулся и в качестве бывшего начальника штаба Варшавского военного округа получил в командование одну из армий на Западном фронте. Помощник генерал-губернатора генерал Флуг последовал вслед за ним, равно как начальник Закаспийской области генерал Леш и военные губернаторы Семиречья — генерал Фольбаум и самаркандский — генерал Одишелидзе. Ушли на фронт и кадровые части Туркестанского округа, сменился второочередными частями из ополченцев. Обязанности генерал-губернатора были возложены на приехавшего в Ташкент бывшего когда-то помощником командующего Виленским округом генерала

Мартсона, оказавшегося очень милым старичком, вдумчиво отнесшимся к неожиданно на него выпавшим новым обязанностям. Галкин и Гиппиус, от строевой службы давно отошедшие, остались по-прежнему губернаторами в Ташкенте и Скобелеве.

Первые недели войны сосредоточили все интересы на сводках и слухах с театра военных действий. Образовались разные комитеты помощи семьям призванных, организовывались сборы в пользу Красного Креста и т.п. Приучались говорить: Петроград вместо Петербург, хотя эта реформа снискала себе далеко не общее признание — многие находили это ребячеством, другие жалели об имени, с которым как-никак было связано два века русской славы.

Больно ударила весть о нашем поражении при Сольдау, тем более что с ней для ташкентцев связывались еще чувства обиды и огорчения за Самсонова, которого все искренне любили и уважали. Панихиды не было, потому что долгое время о судьбе самого Самсонова не было ничего известно: ходили слухи, что он, переодетый в солдатское платье, находится среди пленных. Лишь многим позднее выяснилось почти с достоверностью, что, отделенный от штаба, он покончил с собой, действительно надев предварительно солдатскую шинель.

Некоторое утешение принесли осенью известия с Юго-Западного фронта, где нам удалось разбить группу австрийских армий и занять большую часть Галиции со Львовом, главным ее городом. Как я уже упоминал, наше министерство в первые дни войны дало распоряжение резко сократить расходы, приостановив новые мероприятия и продолжая прежние постольку, чтобы не разрушить только созданного ранее. Пришлось соответственно пересмотреть программы всех отраслей. Позднее этот ригоризм был оставлен, и нам было разрешено развивать работы, особенно в тех ее частях, которые косвенно соответствовали поднятию или поддержанию нашей боеспособности или снабжению армий.

Непосредственных заготовок для армий — в смысле закупок зерна или мяса — в Туркестане, впрочем, не делалось. Был запрос Глинки относительно возможности закупки риса, но стоявшие на местном рынке цены на рис подтвердили, что

местное производство поглощается на месте. Вообще Туркестан был районом, скорее, потребляющим, и экспорт заключался почти исключительно в хлопке. В этом же отношении результаты войны сказались как удар бича: сбор хлопка рос из года в год: 1914 год превысил 1912-й, в 1915-м сбор был, думаю, рекордным за все время. Не помню цифр 1916 года; меня уже не было в Ташкенте, но кажется, что, несмотря на начинающуюся экономическую разруху, площадь под хлопком удерживалась еще на прежнем уровне.

Осенью 1914 года я ездил в Фергану — в Коканд и Наманган, вместе со сменившим Курбатова новым областным агрономом С. Ф. Григорьевым, человеком даровитым и говорившим на местном языке. В отличие от своего предшественника, он был человеком покладистым и с большим шармом: очаровал даже губернатора (и, между прочим, жену бывшего управляющего мургабским имением, где он ранее служил, так что прехорошенькая Л.В.М. переехала за ним в Фергану).

Во время этой поездки мне пришлось случайно проехать и целиком пересечь Каракалпакскую степь, о проекте орошения которой путем механического подъема воды я упоминал выше. Попал туда, в сущности, случайно, опоздав в Намангане к поезду. А так как пассажирские поезда ходили раз в сутки, то, чтобы не терять зря целого дня, мы с Григорьевым наняли извозчика везти нас прямо в Скобелев (верст 60—65). Дорога шла почти все время (на протяжении думаю, более 40 верст) пустыней, в том числе верст 10 песками, и можно было наглядно убедиться, сколько еще предстоит работы по орошению и по облесению земель в самом центре Ферганы в сравнительно узком пространстве, замкнутом между двумя железнодорожными линиями (Коканд — Наманган и Коканд — Андижан).

Между прочим, извозчик наш оказался человеком легкомысленным, сунувшимся в воду, не спрося броду. Ехали мы тройкой, имея одной из пристяжных трехлетку, только что им купленную за 25 рублей. (Он сам похвастался, говоря: вот вас довезу и ее окуплю — ехать мы договорились за 30 рублей.) Но когда мы оказались в центре степи среди песков — пристяжная стала отставать, отставать: пришлось привязать ее сзади и ехать дальше чуть не шагом. Насилу

добрались опять до границы орошаемого района и в первом же кишлаке (уже недалеко от Скобелева) отпустили нашего возницу, взяв свежих лошадей, на которых к ночи и добрались до города.

В конце осени, помню, много времени ушло на выработку проекта новых правил рыболовства в Аральском море. Существовавшие в то время правила были чересчур строги, запрещая почти все способы лова, и вели только к тому, что население приучалось обманывать или подкупать объездчиков нашего рыболовного надзора, что вызывало общее недовольство. Состоявший при Управлении земледелия специалист по рыболовству А. С. Покровский подробно изучил вопрос, и при содействии его и недавно перед тем назначенного начальника Казаченского уезда Васильева нам удалось выработать новые правила, как будто гораздо более целесообразные.

Летом 1914 года я жил в Ташкенте на холостом положении, так как Мама, уехавшая, насколько помню, в первых числах декабря 1913 года, вернулась только в начале осени. Весну она провела, думается, в Шебекино, а летом поехала лечиться в Германию, куда ее приехал навестить из Парижа Боря. Шел июль, и, когда по газетам стало видно обострение австро-русской распри, Боря сказал Мама, что разрыв более чем вероятен, почему он считает себя обязанным прервать свой отпуск и вернуться в свое посольство (парижское), а ей советует немедленно возвращаться домой. Так Мама и сделала и переехала границу, кажется, дня за три до объявления войны, избежав благодаря этому всех осложнений и неприятностей, которые пришлось перенести русским, застигнутым объявлением войны в Германии. В Петербурге Мама провела дни войны, была в Зимнем дворце на молебне, после которого Государь объявил, что не заключит мира до победы, видела коленопреклоненную толпу на Дворцовой площади и оставалась с Огаревыми волнительные дни, когда столько семейств провожало близких на войну и служило молебен о здравии уходящих на фронт. В Ташкент Мама вернулась, должно быть, в конце августа. Известие о Сольдауском разгроме застало ее уже со мною.

Из проектов, нарушенных объявлением войны, вспоминается несостоявшаяся покупка мною дома в Ташкенте. Жизнь

в Туркестане мне настолько нравилась, что я серьезно подумывал по-настоящему и надолго там остаться, тем более что и в службе мне не было смысла куда-либо стремиться ранее 5—6 лет. Мне было тогда только 28 лет, и я понимал, что губернатором раньше 33—35 лет сделаться нельзя, служба ж в Петербурге меня совсем не манила. Поэтому, когда мне сказали, что продается дом, в котором находился Окружной суд (переехавший в новое помещение) с большим тенистым садом, почти в центре города и сравнительно недорого (кажется, за 30—35 000 рублей), я ухватился за эту мысль, и сделка уже состоялась. Но дело было перед самой войной, и когда я написал Мама просьбу продать мои бумаги и перевести мне деньги для уплаты за дом, оказалось, что биржа закрыта и бумаги продать нельзя. Пришлось тогда отказаться, а позднее, когда биржа открылась, почему-то я передумал.

В начале января я, по обыкновению, поехал в Петербург, Мама же осталась в Ташкенте. Останавливался я в этот раз у Дубасовых на Сергиевской, где жили только Александра Сергеевна и Татьяна. Сыновья были на войне, Ирина сестрой милосердия в отряде Шуваловой. Центром всех разговоров — центром вообще всего — была война. Неудачи на германском фронте с избытком искупались нашим продвижением в Галиции. Начинали понимать, что война затягивается, но о нехватке снарядов еще не говорили и в конечном исходе кампании — полной победе — как будто в те дни еще не сомневались.

Меня, естественно, тянуло посмотреть обстановку жизни на фронте и в ближайшем тылу. Поэтому, когда я кончил все дела в министерстве и мог взять мой обычный отпуск, я стал выяснять, нельзя ли проехать под каким-нибудь предлогом на фронт. В то время были сильно распространены посылки так называемых «подарков» на фронт — главным образом белья, которого, естественно, не хватало, так как в условиях жизни в окопах белье быстро снашивалось и наполнялось вшами. Вместе с тем опыт показал, что посылаемое белье при острой в нем потребности моментально расходилось уже в тыловых пунктах и что для доставки его в определенную часть, находящуюся в передовых линиях, необходимо, чтобы кто-нибудь специально этим занялся. Отсюда родились довольно частые поездки разных лиц на фронт с «подарками».

Одна из знакомых тети Маши Огаревой — Князева (жена или вдова адмирала), услыхав о том, что я собираюсь в Галицию, сказала, что пришлет большую партию белья и, кажется, табака, если я возьмусь довезти его до полка, где состоял ее племянник. Набрались тюки и из других источников, всего, кажется, тюков 40, так как впоследствии для их перевозки мне понадобились две телеги. Затруднения, однако, возникли в том отношении, что дамы снабдили меня «подарками», но не командировочным удостоверением для сопровождения их, так как думали, что я его имею, и потому просили меня о доставке вещей в определенную воинскую часть. Пришлось прибегнуть к помощи министерства, которое дало мне фиктивную командировку (на мой счет, конечно, но и без всяких обязательств) «для изучения состояния гидротехнических сооружений в Галиции — в распоряжение уполномоченного Министерства земледелия при начальнике гражданской части в Галиции». На фронте все служащие, не исключая и тыловых учреждений, носили форму военного образца. Поэтому и я сшил себе френч защитного цвета, шинель солдатского сукна с погонами и прицепил шашку — после чего получил внешний вид, свойственный находящимся во фронтовом районе.

Выехал я, однако, из Петербурга с обычным поездом, сдав мои тюки просто как багаж, но бесплатно на основании полученного мною из краснокрестного склада удостоверения. Единственным отличием против довоенного времени была теснота в вагонах. О том, чтобы спать лежа, никто и не думал: рады были сидячему месту.

Ехал я несколько медленнее обычного, так как документы (литеры) на мой багаж я получал по этапам. Хотя я знал, что полк, которому вещи предназначались, стоит в Галиции, документы выписывались на сравнительно небольшие расстояния — до Минска, от Минска до Ровно, от Ровно до Радзивилова (пункт, где менялась колея), оттуда до Львова. Не знаю, почему в Петербурге уверяли, что «подарки» часто крадут в дороге (думаю — сплетни); поэтому я всю дорогу следил на станциях за багажным вагоном (даже ночью), но, конечно, зря. Все же был рад, когда доехал до Львова и, погрузив мой багаж на две телеги, кажется у вокзала, взгромоздился наверху и повез вещи в гостиницу. По дороге встретил на улице группу

сестер милосердия, среди которых оказалась Юля. Оказалось, их поезд (санитарный) стоял в этот день на путях станции Львов и должен был в ночь выйти по направлению к осажденной нашими войсками крепости Перемышль. Условились, что к вечеру я зайду к ним.

«Санитарный поезд Красного Креста № 2» оказался поездом чисто передового типа, состоящим из нескольких слегка лишь приспособленных вагонов 4-го класса и большого числа «теплушек», то есть товарных вагонов с железной печкой посередине и нарами с двух сторон, на которых можно было погружать по 16 носилок с ранеными на вагон. Благодаря его «примитивности», поезд можно было, так сказать, «не жалеть», и начальство посылало его в самые опасные места Галицийского фронта с расчетом бросить его в случае неожиданного прорыва неприятеля.

Сестры оказались очень дружной компанией, всецело захваченными своей работой и отдающимися ей со всей горячностью молодости и людей, не знающих, что силы надо беречь — иначе их быстро износишь. (Так породистая лошадь способна — губя себя — сдвинуть и провезти воз, в который следовало бы впрячь две рабочие лошади, втянутые в извоз.) Рассказывали массу случаев из их сестринской практики, и как-то делалось совестно, что все эти месяцы сам просидел в тылу за мирной работой. Как я уже говорил, в ночь поезд должен был выйти в направлении к Перемышлю, где, по данным разведки, ожидалась вылазка австрийцев и предвиделся большой приток раненых. Осадой командовал генерал Селиванов (которого я помнил по Иркутску, где он был в 1908 году генерал-губернатором), отец старшей сестры поезда — Настасьи Кузьминой-Караваевой. Сестры предложили мне проехать с поездом, но мне казалось неудобным ехать куда-нибудь, не выполнив сначала моего прямого поручения (сдать в 191-й полк «подарки»), и я отказался. (Потом я об этом несколько жалел, так как попал бы на совершенно неожиданную для нас сдачу крепости.)

С моими «подарками» я выехал из Львова, думаю, через день, выяснив, что 48-я дивизия, в состав которой входил полк, куда я должен был доставить мои тюки, расположена в районе Дуклянского перевала, к которому шло шоссе от большой железнодорожной станции Ясло. Выехал я с «этап-

ным» поездом (нечто вроде пассажирского сообщения на театре военных действий). В теории поезд должен был отойти в 11 вечера, двинулись же мы только в 8 утра, к большой моей досаде: казалось, так глупо провести всю ночь на торчке в 20 минутах ходьбы от гостиницы, в которой я останавливался.

Расстояние от Львова до Ясло в мирное время поезд, вероятно, проходил часа за 1,5—2, но мы тянулись целый день, подолгу ожидая на каждой станции и пропуская вперед поезда чисто воинского значения. Впрочем, и в нашем поезде почти не было «штатских»: коренное население занятого района поездами почти не пользовалось, так как без «литеры» (предписание военного начальства) допуск в вагоны вообще не разрешался. По пути к поезду подбегали часто местные жители, главным образом дети, и солдаты целыми пригоршнями бросали им куски сахара, который довольно щедро отпускался интендантством и который, наоборот, совершенно нельзя было достать в галицийской деревне.

На одной из остановок я случайно встретился с случайно едущим тем же поездом, но в другом вагоне мобилизованным чиновником Переселенческого управления (центрального) Герасимовым. Оказалось, что он состоит при поезде-складе имени великой княгини Елизаветы Федоровны и что поезд этот стоит в данное время на станции Ясло. Герасимов предложил мне присоединиться к нему, и на следующее утро мы вместе явились в поезд-склад. Уполномоченным поезда был Владимир Свербеев, были еще врач — поляк и священник — бывший московский адвокат, принявший сан по призванию.

Попади я в Ясло двумя или тремя днями раньше — я бы застал станцию забитою ранеными и санитарными поездами, так как только что перед тем закончились многодневные бои, приведшие к занятию нами перевалов и выходу на венгерский склон Карпат. Бои были довольно упорными, и говорили, что через Ясло прошло за предыдущие дни более 20 000 раненых. Но в данную минуту на ближайшем фронте бои затихли, и Ясло представляло мирную картину тылового пункта, разнообразившуюся только раз в день прилетом австрийского аэроплана, который появлялся почему-то аккуратно в тот же час, бросал две бомбы в районе стан-

ции (ни разу не причинившие жертв людям) и улетал, сопровождаемый столь же бесполезной трескотней винтовочных выстрелов со стороны случайно находившихся в районе станции солдат.

При содействии Герасимова комендант Ясло дал мне две обывательских подводы, на которые я погрузил мои тюки и выехал по шоссе в направлении фронта. Должен сказать, что за мою жизнь я видел немало разбитых дорог, но почти непригодное шоссе встретил в первый раз в жизни. Особенно плохи были южные склоны, вернее, нижние части спусков, глядящих на юг. Должно быть, солнечные лучи сильнее растапливали на них зимой снег, и так как чинить колдобины, создавшиеся при проезде артиллерии и тяжелых повозок, было некогда, то каждый новый обоз приводил шоссе в еще более непригодное состояние. Помню, что в нескольких местах посреди шоссе слегка лишь выступали туши надорвавшихся от усилия и тут же, видимо, издохших лошадей, которых никто не убирал, а грязь почти целиком всосала. Особенно плоха была дорога до первого города — Змиград, являвшегося в то время ближайшим тылом, где стояли обозы 2-го разряда. Далее дорога пошла лучше — менее была разбита, и на второй день я добрался до обоза первого разряда того полка, куда я вез белье и табак.

Племянника Князевой, которого меня просили повидать, в тылу, впрочем, не оказалось. Он был незадолго перед тем ранен и эвакуирован в Россию. Начальство полка меня приняло очень ласково и, так как было затишье, предложило пройти к передовым окопам. Перестрелки в этот день не было, если не считать тяжелых артиллерийских снарядов, пролетавших с гулом над нашими головами: шел обстрел нащупывавших друг друга тяжелых батарей, расположенных сзади за линией пехоты. Впереди была лощина с покинутой населением деревней, на противоположном склоне виднелись окопы австрийцев. Наши окопы были сравнительно легкого типа. Меня поразило, как мало было офицеров кадрового состава: почти все прапорщики и ряд подпрапорщиков на ролях офицеров, — видимо, не успели еще пополнить рядов после последних боев. В среде офицеров настроение было бодрое, даже повышенное. Правда, что основные перевалы были только что перед тем взяты и им казалось, что

дорога в Венгрию открыта и значит конец войне не за горами. Обычное явление на фронте: занятый исключительно противолежащим участком — забываешь совсем про общее положение на фронте. На мой вопрос — не может ли противник двинуть большие силы с фланга, со стороны Кракова — посмотрели с недоумением: при чем тут Краков? В действительности же дальше той линии, на которой я в тот день застал наши части, войска наши в 1915 году не пошли. Через месяц начал обнаруживаться нажим противника с Запада, постепенно приведший, в связи с недостатком у нас снарядов, к полному очищению нами сперва Галиции, а потом и всей Польши.

В Ясло я вернулся, кажется, в Страстной четверг и слушал Евангелие в походной церкви, где служил священник поезда, в котором я останавливался. На следующий день я вернулся в Львов и поселился на этот раз в квартире, реквизированной для полевого контролера П.Н. Кулабухова, бывшего управляющего Туркестанской контрольной палатой, с которым у нас, несмотря на разницу лет, сложились дружеские отношения в Ташкенте и который предложил мне остановиться у него.

В Львове я провел несколько дней. Помню, что по случаю праздника был парад, на котором Бобринский, генерал-губернатор Галиции, произнес торжественную речь о совершающемся объединении всего русского племени, остававшегося разъединенным со времен Ярославовых — Червонная и Украинская Русь. Днем был ряд манифестаций, устроенных руководителями русского движения в австрийские времена; по городу ходили процессии с портретом Государя и с пением «Боже, Царя храни». Был чудный солнечный день (хотя Пасха была ранняя — совпав с Благовещением), и на душе было радостно и торжественно.

Меня в то время очень интересовал вопрос о наших взаимоотношениях с поляками (игравшими при австрийцах в Галиции первую роль), и в частности вопрос об униатах. В то время левые резко нападали на епископа Евлогия, будто бы изгонявшего униатских священников из их приходов и назначавшего на их места православных. Я решил просто пойти к Евлогию и попросить рассказать в чем дело. Владыка принял меня любезно и довольно долго объяснял сло-

жившееся в Галиции положение, которое он застал по приезде. Униатское духовенство было в массе австрофильским и при отступлении австрийских войск будто бы в большинстве своем ушло вместе с этими войсками, оставив фактически храм без духовенства. При таком условии Евлогий не видел, почему нам не назначить в такие опустелые приходы своих (православных) священников, которых население, по его словам, всегда встречало с радостью, не видя никакой разницы в службе.

Объяснения Евлогия казались естественными и справедливыми. Об аресте нашими властями некоторых униатских иерархов я тогда не знал, и разговор этого вопроса не коснулся. (Между прочим при осмотре львовских церквей бросается в глаза, как архитектура церковная постепенно отходила от форм восточных, приближаясь к чисто католическим. Так, иконостас в одно время заменится колоннадой с иконами, впоследствии же и колонна исчезнет, оставляя алтарь совершенно открытым.) По униатскому и польскому вопросу много пришлось еще говорить с Половцевым (помощником Бобринского) и с Сукиным, который состоял при Бобринском представителем Министерства иностранных дел. Последний был гораздо более сдержанным в отношении вопросов Галиции, предвидя, что наша линия «объединения русского племени» встретит ярое сопротивление со стороны польских элементов, которым воззвание Великого князя обещало «объединение польских земель», к которым поляки, безусловно, склонны относить Галичину.

Из других знакомых встретил Шликовича, который был представителем Земского суда, и Резниченко — по Красному Кресту; познакомился также с представителем нашего министерства Родзевичем, с которым впоследствии пришлось вместе служить в Крыму (бывшего начальника Киевского управления земледелия). Забыл еще упомянуть, что, отвозя подарки, встретился с уполномоченным Земского союза при 48-й дивизии — Николаем Родзянко, с которым приятно просидели вечер. Он был очень увлечен и горячо хвалил начальника этой дивизии — Корнилова, впоследствии родоначальника Добровольческого движения.

Юлю в этот приезд видел лишь мельком. Одна из сестер (Маруся Кох) заболела гнойным дифтеритом, и Юля самоот-

верженно взялась за нею ухаживать, так как при сестринских госпиталях не было заразных отделений.

Помню еще, что ездил из Львова в только что занятый Перемышль. Город совершенно не пострадал от осады, и собственно говоря, сдача его так и осталась непонятной. Видимо, комендант крепости не знал, что осадный корпус состоит из второочередных ополченских полков, которые едва ли выдержали бы вылазки со стороны осажденного гарнизона, значительно превышавшего их по численности. Ездил также на восточный участок фронта — в Усть-Стрыйск, но до передовых окопов, кажется, не доходил, так как шли обстрелы позиций и лезть из одного любопытства в линию огня было бы бессмысленным.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТАШКЕНТ

В Петербург мне возвращаться было незачем, и из Львова я поехал в Ташкент, заехав только на два-три дня к Нике в Екатеринослав. Последний оказался для меня незнакомцем; от моего детства ни одно воспоминание не напоминало мне того большого торгового города, который я теперь встретил. Правда, что с тех пор прошло четверть века и внешний вид города мог сильно измениться.

Упомяну здесь и явление, которое меня тогда сильно поразило. Все время, что я был в Галиции, я видел обычные сны мирного времени, вплоть до того дня, когда я окончательно выехал за пределы театра военных действий. Тут же, с первой ночи в вагоне в пределах Подольской губернии и затем без исключения в течение пяти-шести недель я каждую ночь видел себя на фронте и слышал гул пролетающих снарядов или что-нибудь в этом роде. То же явление я нередко наблюдал позднее: во сне человек обычно живет и действует в предыдущем периоде своей жизни, а не в том, который он в данное время переживает.

Из Екатеринослава я поехал южным путем, то есть через Кавказ и Каспийское море, так как мне хотелось заехать в Тифлис и узнать некоторые подробности относительно хозяйства русских переселенцев на орошаемых землях Мугани. Для скорости оставил поезд во Владикавказе и в Тиф-

лис приехал автомобилем по Военно-Грузинской дороге. На этот раз последняя произвела на меня еще большее впечатление, чем когда я ехал по ней в первый раз в молодости из Тифлиса на север. В данном случае поразила смена климата: из Владикавказа я выехал сереньким утром среди не ожившей еще природы: нигде ни листика зеленого, ни травинки. Около перевала автомобиль шел часа полтора в прочищенной среди глубокого снега тропинке, и затем глазам открылся широкий горизонт зеленеющей и цветущей Грузии. В Тифлисе все ходили без пальто, в садах цвели деревья, весна была в разгаре.

В Тифлисе я провел день и вернулся в Ташкент, встретившись по пути с Мама, которая вместе с Сахаровыми ездила в Самарканд смотреть мечети и древности. Несмотря на войну, лето и осень 1915 года оказались для меня еще более занятными, чем предыдущие, и большая часть моего времени прошла в разъездах.

В июне мне удалось сделать очень интересную поездку по Аральскому морю. Я уже упоминал, что при деятельном участии состоявшего при управлении специалиста по рыболовству А.С. Покровского были выработаны новые правила рыбной ловли. В то же время на очереди стоял вопрос об усилении рыболовной стражи и покупки для нее быстроходного катера. Покровскому хотелось везти меня в главный район рыболовства — в устья Сырдарьи и Амударьи, и он сговорился с владельцами единственного на Аральском море парохода, которые согласились предоставить его мне для поездки с оплатой только топлива. (Большинство рыбаков доставляло рыбу на парусниках или моторных шхунах.) С нами должно было ехать два или три рыбопромышленника и вновь назначенный смотритель рыболовства — Цикуленко, хохол, горячо увлеченный своим делом. Помню, наши хозяева все подсмеивались над ним, что он служит за сто рублей в месяц, тогда как на любом промысле с его знанием дела мог бы получать двойное жалованье, да еще зарабатывать проценты. Но Цикуленко только отмахивался, говоря, что служит государству, а работать «для частного интереса», да еще подлаживаться и угождать часто малокультурному и нередко нечестному «хозяину» чувствует себя не в силах. И думаю, говорил искренно, не рисуясь. Таких «идеалистов» мне не-

редко приходилось встречать в самых глухих закоулках Сибири.

Выехали мы с пристани поселка Аральское Море, возникшего у станции того же названия в том месте, где линия железной дороги Оренбург—Ташкент вплотную подходит к берегу. Местность самая безотрадная: нигде ни деревца, ни кустика. Маленькая бухта с довольно многочисленными шхунами и тесно прижавшийся к морю поселок рыбаков и рыбопромышленных амбаров. Кое-где по песчаному берегу положены, для удобства хождения, доски.

Погода была ясная, и волнения не было вовсе. Из любопытства решили зайти на два расположенных посреди моря острова: Барса-Кельмес и остров Св. Николая. Первый был необитаем, и встреченные во время нашей прогулки дикие козы смотрели на нас с видимым интересом, подпуская к себе довольно близко. На втором — жил со своими рабочими один рыбопромышленник; забыл его фамилию; в шутку его называли «царем острова Св. Николая». У него была усадьба из ряда строений, но все полуземляночного типа. Сам он жил с семьей в двух или трех полутемных комнатах, очень скудно обставленных, и странно было думать, что это человек весьма состоятельный, который, если верить слухам, уезжает зимой в Москву и там прокучивает в ресторанах чуть ли не тысячи. В смысле средств сообщения у него был один или два верблюда, которых они запрягали в телегу. Между прочим, меня поразило, что колодцы можно рыть почти у самого берега и иметь очень близко от поверхности вполне пресную воду. В море же вода чрезвычайно солона, и камышовые настилы-пристани, устроенные для причала рыболовных судов, густо окаймлены были с обеих сторон самыми причудливыми по форме сталактитами соли.

На острове Св. Николая мы были под вечер, а на следующее утро подошли к юго-западному углу моря, где оно примыкает к владениям хивинского хана. Надо сказать, что на картах того времени территория Хивы заканчивалась узким, глубоко вдающимся в море полуостровом Токмак-Ата. Галкин, бывший во время оно начальником Амударьинского отдела и в качестве такового часто посещавший Хиву, рассказывал мне, что он не раз ездил на Токмак-Ату верхом; там, видимо, был пункт выгрузки товаров, привозимых с севера или везо-

мых туда из Хивы. Но в последующие десятилетия уровень морского дна почему-то понизился: в результате полуостров Токмак-Ата стал островом, окруженным со всех сторон водой, и западная граница моря значительно продвинулась к востоку. По карте здесь значилась везде пустыня; между тем фактически в этом углу возник ряд рыбачьих поселков — один или два на Токмак-Ате (дворов по 40) и два на прилегающем берегу, в месте, которое на наших картах было окрашено в голубую краску, то есть значилось морем. Я подробно расспрашивал рыбаков про то, как они устроились: часть заплатила какие-то деньги хивинскому чиновнику, часть вошла в частные сделки с хивинцами, жившими здесь раньше, часть просто поселилась и построила себе хибарки, ни у кого не спрашиваясь. Фактически хивинцев во всех виденных мною поселках не оставалось: все население было русское, но, как ни странно, оказалось, что «солдатки» получали пособие, полагавшееся семьям призванных на войну, и что привозит им его какой-то чиновник из Хивы. Вообще же связь с внешним миром население этих поселков поддерживало, скорее, через станцию Аральское Море.

Невдалеке от острова Токмак-Ата начиналась самая дельта Амударьи, обширный треугольник, верст 70 ширины в основании и подымающийся чуть ли не на 200 верст вверх; пространство, сплошь охваченное высоким тростником, поднимающимся аршин на пять над уровнем воды. Посреди него тянется широкая как бы улица — это былая Верблюжья тропа, настолько плотно в свое время умятая широкими стопами верблюжьих караванов, доставлявших товары на Токмак-Ату, что тростник на ней более не вырастал. По обе же стороны Верблюжьей тропы высились стены тростниковых зарослей, изобилующих рядом проток, среди которых легко укрывались от рыболовного надзора рыбаки, ловившие рыбу в запретное время или запрещенными орудиями лова. Было ясно, что если не снабдить рыболовную лодку быстроходным катером, борьба их с рыбаками, чувствующими себя среди этих протоков как у себя дома, остается явно бесплодной. (Некоторые, впрочем, говорили, что и катер не поможет делу, так как рыбаки услышат его приближение и сумеют скрыться от него, юркнув на своих маленьких лодках в густоту камышовых зарослей.)

Побродив некоторое время среди проток, наша лодка вернулась на пароход, оставленный у Токмак-Ата, и мы повернули в сторону к устьям Сырдарьи. Здесь камышей было гораздо меньше, и река впадала в море открытым руслом. С нами был невод, который мы закинули и имели к обеду превкусного осетра.

Вернулись опять на станцию Аральское Море и, поблагодарив хозяев парохода за гостеприимство, отправились поездом в Ташкент.

Мне очень хотелось легализировать вопрос о юридическом положении рыбаков, поселившихся в устьях Амударьи, и, закрепив за ними фактически занятое ими пространство, ввести затем в их поселках упрощенное поселковое управление, что, в свою очередь, позволило бы урегулировать вопрос о церкви, школах для детей и т.д. Но для начала надо было, чтобы эта земля была признана территорией России и Хивы. В законе было упоминание, что «острова Аральского моря находятся в ведении Управления земледелия», а Токмак-Ата в 1915 году представлял собой остров. Что касается остальных поселков, то «географически», то есть «по карте», они находились «на дне моря», то есть тоже не в Хиве. Вернувшись в Ташкент, я доложил вопрос Галкину, который в то время замещал уехавшего в летний отпуск Мартсона. К моему удивлению, Галкин отнесся к моему проекту как к делу легко осуществимому и сказал, что перешлет мой доклад начальнику Амударьинского отдела, который без труда достигнет отказа хана от претензий на интересующую меня территорию. (Все сношения с ханом хивинским велись через начальника Амударьинского отдела.) Фактически, однако, затруднения где-то возникли, и до моего отъезда из Ташкента так я ответа из Хивы по этому делу не получил (у меня было, впрочем, впечатление, что дело где-то нарочно положено «под сукно», так как отказа или возражений тоже получено не было).

Тем же летом мне довелось проехать в район верхнего течения Амударьи, в пределы Бухары. Дело в том, что при Успенском нам удалось добиться от эмира отпуска средств на борьбу с саранчой, которая до того ежегодно налетала в наши пределы из Бухары, причиняя подчас громадные убытки туркестанскому земледелию. Руководство борьбой было возложено на агронома Шумкова, которого рекомендовал Сам-

сонов, с его помощником. Дело борьбы было поставлено широко и рационально. Строго говоря, саранча зарождалась в Афганистане, и борьбу надо было бы начинать оттуда. Но в то время Афганистан был для нас, русских, местом запретным. По настоянию англичан, боявшихся за целостность Индии, мы отказались от права непосредственных сношений с эмиром афганским, а всякий русский, переходивший почему-либо границу, немедленно там арестовывался и, говорили, исчезал без вести. Поэтому от мысли об организации саранчовой борьбы в пределах Афганистана пришлось отказаться с самого начала, а для ограждения посевов в Туркестане (как, впрочем, и в самой Бухаре) обречь эмира на ежегодную трату довольно крупных средств на уничтожение саранчи, залетающей к нему из Афганистана. Насколько помню, с осени в пограничную полосу посылались конные разведчики, которые следили за появлением летящих тучами кобылок (научное название саранчи — марокканские кобылки) и отмечали на карте места, где она оседала. Весной в отмеченные места посылались отряды рабочих, которые поливали места, где были положены личинки, купоросом, чтобы эти последние, когда вылезут на свет божий, нашли отравленную траву. Ту же часть личинок, которая уцелевала, загоняли в рвы (первые недели жизни саранча ползает, а еще не летает) и уничтожали, кажется, огнем. В результате уничтожалось почти все, и в район земледельческих посевов попадало лишь небольшое количество избегших и отравленной травы, и выкопанных канав.

Параллельно с противосаранчовой борьбой, несомненно, ему удавшейся, Шумкову захотелось, однако, заняться прямой агрономической работой, и при поддержке Ташкента эмир отпустил ему также средства на устройство «опытно-показательного» хозяйства на юге Бухары в районе города Термеза. Выбранный Шумковым участок орошали из небольшого притока Амударьи — реки Сурхан. Были выстроены хозяйственные постройки и дома для Шумкова и его помощников.

Организация хозяйства, впрочем, не удалась, и до Ташкента доходили слухи, что деньги тратятся зря и хозяйство Шумкова не является ни опытным, ни показательным. Одновременно намекали на не вполне правильное расходование денег, отпускаемых на борьбу с саранчой. Слухи эти дошли до кан-

целярии генерал-губернатора, и на одном из докладов Мартсон просил меня съездить посмотреть хозяйство Шумкова и ознакомиться с его отчетностью. В помощь себе я взял, помнится, Понятовского, и мы вместе выехали в Бухару.

Ехать в Термез можно было несколькими способами. В прежние годы ехали поездом да станции Чарджуй и оттуда поднимались по Амударье пароходами, но рейсы последних были не слишком регулярны. То есть расписание предусматривало дни выхода парохода из починного и из конечного пункта, но прохождение парохода через промежуточные пристани, каковой являлся Чарджуй, обусловливалось наличием воды в Амударье и силой течения. Поэтому в расписании было примечание, что «господа пассажиры» приглашаются приезжать на пристань по возможности за два-три дня до назначенного расписанием времени прохождения парохода через данный пункт. Нечего и говорить, что перспектива ждать два-три дня на пристани меня нисколько не прельщала. Кроме того, в 1915 году уже довольно сильно продвинулись работы по постройке через Бухару новой железнодорожной линии, и по просьбе генерал-губернатора управление по постройке железной дороги обещало дать мне возможность проехать по временному пути, по которому официально пассажирского движения еще не было тогда открыто. Поэтому мы с Понятовским поехали поездом до станции Каган, в семи верстах от старой Бухары, где я провел вечер у нашего политического агента, а на следующий день в маленьком служебном вагоне, приспособленном из товарного, покатил с маневровым локомотивчиком через степи центральной Бухары, где, кроме стад каракулевых баранов, не встречалось ничего. Поезд довез нас до города Келид[1], а дальше железнодорожный же инженер одолжил нам автомобиль (форд — легкий и свободно выбирающийся из грязи там, где более тяжелые машины увязали безнадежно), на котором мы быстро доехали до города Термеза (пристань на Амударье близ впадения Сурхана). Оттуда до участка Шумкова было уже недалеко, и он же нас привез на своих лошадях. Хозяйство оказалось действительно весьма неудачно организовано, и сам Шумков не пытался защищать свое детище.

---

[1] Очевидно, Керки.

Из разговоров с ним выяснилось, что он устал от работы в Бухаре и склонен просить об освобождении его от обязанностей агронома Бухарского ханства, равно как и его помощник. При таких условиях наша с Понятовским задача заметно упрощалась. Что касается денежной отчетности по борьбе с саранчой, то, с точки зрения формальной, она была в порядке, то есть были листы с перечнем туземных имен и указанием, что за столько-то дней работы этим людям столько-то уплачено. Печально было то, что все понимали фиктивность таких таблиц, но, увы, не было вообще способа проверить правильность уплаты денег, производимой туземными десятниками в своей среде. И так как я не был убежден, что часть денег не ушла в другие руки, так и наоборот, самый честный человек в мире не мог бы представить более веских доказательств правильности своих расходов. В этом и заключалась неприятная сторона работы с туземными рабочими: все основывается на доверии и против клеветы бессилен и честнейший из людей.

Рассказывая выше о начале оросительных работ в Голодной степи, я уже упоминал о тех волнениях за будущность нашего орошения, которые принес с собой 1915 год, когда поля первых засельщиков Голодной степи — Алексеевского поселка — оказались почти сплошь засоленными и урожай почти полностью погиб. Ряд предварительных совещаний с агрономами и инженерами завершился большим совещанием в Ташкенте, о котором я тоже уже рассказывал, наметившим ряд мер к восстановлению плодородия засоленного пространства и предупреждению такого засоления вновь орошаемых земель в дальнейшем.

Должен сознаться, что все эти голодностепские треволнения меня сильно измотали, и когда совещание закончилось и агрономы вместе с инженерами подписали текст резолюции, я от души глубоко вздохнул и был рад возможности на время уйти в другую обстановку.

В ВЕРНОМ И В КИРГИЗИИ

На следующий день по окончании голодностепского совещания я выехал в Семиречье, где не был с 1913 года. За это время переселенческая организация закончила выработку про-

екта новых земельных наделов семиреченских казачьих станиц Верненского уезда, коренным образом видоизменившего установившееся там землепользование.

Я уже упоминал, что наделы семиреченских казаков должны были быть нарезаны из расчета 30 десятин на душу (мужского пола); между тем фактическое землепользование станиц Верненского уезда далеко не захватывало такого большого пространства, и недостающую площадь пришлось изъять отчасти за счет прилегающих казенных лесов, главным же образом за счет земель, которыми пользовались окрестные киргизы; последним же предоставлялось передвинуть свою хозяйственную деятельность на соседнее пространство того же уезда, то есть на земли, менее ценные экономически (дальше от города) и гораздо хуже обеспеченные водой.

Вопрос был чрезвычайно серьезен, и мне хотелось ознакомиться с проектом раньше его внесения на окончательное утверждение комиссией, тем более что Б.Х. Шлегеля, совмещавшего в Семиречье обязанности заведующего переселенческим делом и управляющего государственными имуществами, не было уже в Верном: он был назначен начальником гидротехнических работ на Западном фронте и обязанности его в Семиречье были распределены между его сотрудниками.

По сравнению с 1913 годом путешествие в Верный стало быстрым и менее утомительным: началась постройка Семиреченской железной дороги, и хотя полотно не было еще готово, но строители привезли с собой много автомобилей, и благодаря их любезности, удалось проехать порядочную часть пути этим способом, избежав томительных перегонов на почтовых.

В настоящее время людям, живущим в Европе, трудно себе представить, какие изменения вносит постройка железной дороги в жизнь края, лежавшего вдалеке от железнодорожной сети. Меняется взаимоотношение всех цен, возрастает прибыльность одних профессий, другие же, наоборот, оказываются обреченными.

С затруднениями, возникшими на этой почве, мне пришлось встретиться уже в первом уездном городе Семиречья — Пишпеке (теперь — Фрунзе[1]). В ведении моего уп-

---

[1] Ныне Бишкек.

равления там находилась низшая сельскохозяйственная школа с интернатом человек на 20. Содержание персонала оплачивало министерство, а хозяйственные расходы — местная земская касса, бюджет которой утверждали на трехлетие. Оказалось, что смета школы была исчислена по ценам на продукты, стоявшим в 1912 году, когда, например, мясо стоило 2,5 копейки фунт; между тем с появлением инженеров и массы рабочих цены на мясо резко поднялись и сравнялись если не с российскими, то с туркестанскими, то есть 5—7 копеек за фунт, и администрация школы не знала, как выйти из положения.

Далее Пишпека строительных работ не велось, и дорога от этого города до Верного сохраняла свой первоначальный вид: бесконечно расстилающаяся пустыня — степь влево и горы со снеговыми вершинами направо.

В Верном я провел на этот раз несколько дней, желая подробно ознакомиться со всеми вопросами. Вопрос о землеустройстве казаков разрешался как будто удачно: проекты изъятий были предъявлены киргизским сходам и последними обжалованы не были, хотя их землепользование должно было этим сильно нарушиться. Думаю, что в данном случае киргизы отдавали себе отчет в привилегированном положении казачества и считали, что обжалование ни к чему не приведет, а только обострит отношения. Возможно и другое объяснение: процесс оседания на землю еще не сильно продвинулся среди верненских киргизов, и необходимость перемещения на соседнее пространство не казалась им особенно трагичной, тем более что водные запасы уезда были обильны и для их сравнительно небольших запашек воды, во всяком случае, хватило бы.

Другая сторона, меня интересовавшая, — вопрос лесного хозяйства — также от проекта казачьего землеустройства особенно не страдала. Направленная в Семиречье по соглашению моему с Д.А. Морозовым, партия лесоустроителей закончила описание горных лесов Верненского уезда, и на совещании с местными лесничими и переселенческими чиновниками наметилась схема земельного распределения, удовлетворявшая запросы всех заинтересованных учреждений. Даже патриарх семиреченских лесничих Баум казался успокоенным за судьбу своих лесов. Он, впрочем, был уже

очень дряхл и собирался в отставку, до которой не хватало нескольких месяцев. Мне удалось провести назначение его чиновником 5-го класса, что давало возможность производства в действительные статские советники, то есть в штатские генералы.

Оригинальной фигурой был и верненский лесничий В.В. Перовский. Страстный охотник, он чувствовал себя в лесу и в горах как дома и из поездок любил привозить в свою городскую усадьбу разных зверей, которых умел потом приручить. Одно время в его «зверинце» появились волчата и медвежата, но тут вмешалась полиция и настояла, чтобы губернатор потребовал удаления из города столь опасных для соседей жителей. Рассказывали (очевидно, анекдот), что на вопрос учительницы в школе назвать пример домашнего животного дочь Перовского отвечала — волк, лось, а примером дикого назвала лошадь, так как первые ластятся к человеку и живут в доме, а лошадь ей приходится ловить, когда она хочет ехать верхом.

Вместе с Перовским я выехал из Верного через несколько дней на Пржевальск. Ехать туда трактом значило делать крюк верст в 300, так как Пржевальский тракт, тянувшийся северным берегом озера Иссык-Куль, соединялся с Верненским в долине реки Чу, то есть почти у самого Пишпека. Поэтому Перовский предложил мне ехать так называемой «Артиллерийской тропой», вьючной тропой, пересекавшей Алатау в довольно низком месте, так что ею удавалось проходить на маневрах с горными батареями. Ехать приходилось сперва на восток до станицы Сырьевской, а затем уж, перебравшись через реку Чилик, подниматься к довольно мягкому перевалу. Кроме лесных объездчиков, с нами ехало несколько киргизов; последние помогли мне при переправе, и должен сознаться, не знаю, как бы я без них справился с течением. Собственно говоря, вода была не высока, не многим разве выше стремян, но течение чрезвычайно быстрое и переправа напомнила мне переезд через Карадарью. Впечатление, будто полным ходом несешься боком вверх по течению; фактически мою лошадь направляли два киргиза, ехавших верхом по обеим сторонам от меня. Ночевали мы около перевала: я в киргизской юрте, Перовский же из принципа на вольном воздухе, но так как был утренник, то, выйдя ут-

ром из юрты, я увидел его спящим, завернувшимся с головой в овчинный полушубок, и долго потом с ним спорил, утверждая, что из нас двух чистый горный воздух вдыхал я в юрте, а не он под овчиной.

Спуск к Иссык-Кулю был тоже довольно мягким и неутомительным, и к вечеру второго дня я уже был в Пржевальске, прелестном тихом городке, раскинувшемся на берегу озера. Здесь была канцелярия лесничего и, кажется, тоже небольшая сельскохозяйственная школа нашего ведомства.

Возвращаться в Ташкент я решил через Фергану по Кугартской долине. Ехать можно было от Пржевальска или южным берегом озера, или северным. Южный путь меня манил рассказами о красоте горных перевалов, но я боялся слишком задержаться в уже и без того затянувшейся поездке и решил ехать трактом кругом озера до укрепления Нарынского в юго-западном его углу, тем более что на этом пути проехал бы через все недавно устроенные здесь русские переселенческие поселки. В Нарынское я еще из Верного послал участковому начальнику телеграмму, прося подготовить верховых лошадей ко дню моего приезда и сменных лошадей у Кугартского перевала.

До Нарынского ехать пришлось дня два. Русские поселки жили мирной жизнью, и в голову не приходило, что через год они будут все разрушены. Проехал также мимо обширной долины Каркары, где ежегодно осенью собирались окрестные киргизы и приезжали торговцы на большую каркарынскую ярмарку.

В Нарынском меня встретил участковый начальник полковник Иванов, оказавшийся человеком очень интересным, много рассказывавшим мне о быте киргизов. В дальнейший путь мы выехали с ним вместе и расстались, кажется, только перед самым перевалом. Дорога была легкою: путь шел долиной Нарына и подъем был некрутым. Оказалось, что около Кугарта меня уже около двух недель ждут киргизы. На мой вопрос, отчего их вызвали так задолго, когда я в телеграмме указал предположительный день моего приезда, Иванов спокойно ответил: «Да для верности, чтобы не опоздать. Не все ли им равно, где ночевать, могут и в районе перевала продержать несколько дней свои стада». В сущности, он был прав, время еще было летнее, которое киргизы проводят в высокогорных

пастбищах, откуда спускаются в долины к своим зимовкам, когда в горах начинает выпадать снег.

У перевала я был на второй день около полудня. Нашел действительно довольно большую группу кибиток (киргизские хозяйства), которые угостили меня довольно вкусной бараниной (головой) и дали лошадей для дальнейшего пути в Фергану. К вечеру я был уже в Джалал-Абаде, проделав 35 верст непрерывного спуска, и должен сказать, что ни разу в жизни так не болели у меня ноги, как после этой поездки. В Джалал-Абаде я заночевал, а на следующее утро выехал в Андижан поездом. Со времени моей первой поездки (1913 год) досюда успели дотянуть ветку строившейся Ферганской железной дороги, перекинув через Карадарью временный мост на деревянных сваях. И, боже мой, как все-таки приятно было сесть в пыльный и тряский вагончик временного состава и покатить со скоростью 90 верст в час, сидя на мягком диване, после того как в течение почти месяца передвигался или в выбивающем душу почтовом тарантасе, или же в неудобном седле на киргизских лошадях, медленно шагающих по горным тропинкам Семиречья.

ВОЕННЫЕ ЗАБОТЫ

Поздней осенью 1915 года мне пришлось столкнуться с новой отраслью деятельности: Мартсон назначил меня своим помощником по должности главного уполномоченного по устройству беженцев.

Начавшееся еще весной отступление наших армий приняло быстро катастрофические размеры; за очищением Галиции последовал откат наших войск и на других участках фронта. Недостаток снарядов, а временами почти полное отсутствие их не давали возможности задержать наступающего противника. В результате мы очистили всю Польшу и значительную часть западнорусских уездов. При этом, стремясь затруднить противнику освоение захватываемого им пространства, наши военные власти не только поощряли отход перед лицом неприятеля местных мирных жителей, но часто даже принуждали их к такому отходу, зажигая затем брошенные теми дома и строения. Политика эта была,

несомненно, ошибочной. Она избавляла наших врагов от необходимости кормить ненужное им в военном смысле население, надолго загромоздило нашу железнодорожную сеть вагонами с десятками, если не сотнями тысяч разоренных семейств и создала в глубине России очаги незанятого люда, способствующие росту общего недовольства и брожения.

Думаю, что самой возможности появления беженства в таких масштабах никто в начале войны не допускал. Естественно, что не было разработано никакого плана их размещения внутри страны. По рассказам, первую часть пути большинство беженских волн шло на подводах и лишь постепенно грузилось в поезда — в товарные вагоны и на открытые платформы, которые их повезли в восточном направлении: за Волгу, за Урал. О движении этом мы в Ташкенте ничего не знали (газеты избегали об этом печатать), пока в один прекрасный день генерал-губернатор не был извещен, что на линию железной дороги Оренбург—Ташкент направлено столько-то беженских поездов с населением, думаю, около 50 000, которые и начнут прибывать со следующего дня. Штабом округа был быстро составлен приблизительный план распределения прибываюших по областям и по главнейшим железнодорожным станциям высадки. Первое время разместить их предполагалось главным образом в казармах и в лагерных бараках, оставшихся после ушедших на войну частей Туркестанского военного округа. Ближайшую заботу о прибывших Мартсон поручил в областных городах губернаторам, в уездных — уездным начальникам, а на меня возложил объезд всех мест расположения беженцев в крае для ознакомления с принятыми мерами и доклада ему о встретившихся затруднениях.

Наибольшее количество беженцев принял Ташкент, где были громадные поместительные казармы, а во дворах казарм можно было, кроме того, раскинуть большое число палаток. Вопрос продовольствия разрешили довольно просто, но что было ужасным, это моментальное развитие в среде прибывших детских эпидемий кори и оспы. Как ни странно, санитарное состояние беженцев в пути было довольно благоприятным. Несмотря на то что стояла глубокая осень и часть пути беженские поезда проследовали уже при замо-

розках, первый медицинский осмотр не обнаружил должного числа заболеваний, хотя ехали почти все на открытых платформах. Но уже через 3—4 дня количество заболеваний обнаружило резкий скачок. Объяснений два: во-первых, «гнилой» климат ташкентской осени, ее сырость, к которой прибывшие не привыкли; во-вторых, скученность их в казарменных помещениях, где приходилось жить нескольким десяткам семей вместе и дети заражали друг друга, тогда как на платформе помещалось всего две-три семьи. Сказывался и — житейски вполне понятный — страх матерей отпустить ребенка в больницу, отчего они старались прятать их во время медицинского осмотра. Помню, как мы с доктором обходили беженцев во дворе казармы. Беженцы сидели среди своего имущества, рундучков, узлов, мешков и т.п. «А ну-ка, что в этом узле?» — обращался доктор к одной бабе, как-то усиленно запихивающей в сторону большой узел тряпья. «Та ж ничего, одна одежда». — «А ну-ка разверни...» И среди одеял оказался ребенок, у которого большая часть лица была сплошь покрыта оспинными волдырями. К отчаянию матери, его взяли в больницу, без всякой, конечно, надежды вылечить. Случай был безнадежный, думали только об изоляции. Наряду с оспой свирепствовала корь, увы, в казармах хуже, чем среди беженцев, оставшихся на дворе в палатках. Врачи объясняли, что в казармах легче было простудиться из-за сквозняков. Результаты первой недели были ужасающими: суточная смертность колебалась 60—80 детей, достигшая раз даже 100. К счастью — после нескольких дней — цифры начали снижаться: очевидно, уцелевшие дети были исключительно крепкого сложения, и в дальнейшем можно было заняться вопросом о расселении беженцев по сельским местностям и подыскании им заработков.

По поручению Мартсона я проехал потом почти по всем городам и наблюдал везде ту же картину: чем менее скученно были размещены беженцы — тем благоприятнее было санитарное их состояние. В Андижане, например, они помещались в казачьих очень плохих земляных бараках, но небольших по площади — одна или две семьи в бараках — и больных было мало. В больших же центрах, где под беженцев были отведены казармы с их громадными палатами, процент заболеваемости сильно повышался.

Идеалом, нам казалось, было бы разместить их небольшими группами в селах, но в этом отношении приходилось считаться с своеобразным укладом жизни мусульманского населения и в кишлаки к туземцам помещать их было признано небезопасным.

Понемногу надвигалась зима, и мои разъезды уступили место занятиям в канцелярии и светской жизни Ташкента. В октябре вернулась в Ташкент Мама и приняла опять участие в работах «на раненых», которые велись в дамском комитете. Образовалось Отделение военно-промышленного комитета, и особая комиссия его работала при моем управлении, сосредоточившись, кажется, на работе по сбору лекарственных трав: оказывается, мы ввозили до войны из-за границы ряд препаратов, которые свободно могли бы изготовить сами из растений, широко распространенных на Кавказе и в Туркестане. Действовал еще, под моим председательством, Комитет помощи семьям призванных на войну служащих ведомства. Надо, впрочем, сказать, что помогать приходилось исключительно незаконным семьям, так как законные семьи получали и без того довольно крупное пособие от казны, позволявшее жить не хуже, чем в мирное время. Доходило подчас до абсурда, когда в комитет обращались за помощью женщины без детей, утверждавшие, что в момент объявления войны они-де сожительствовали с таким-то, призванным потом на войну. Должен, однако, сказать, что в таких случаях я настаивал и добивался отказа.

Из других явлений, связанных с войной, упомяну о запрещении продажи спиртных напитков. Мера эта была в общем встречена всеобщим приветствием; были, конечно, злоупотребления: в ресторанах давали вино в чайниках, появилась тайная продажа вина, но не подлежит сомнению, что общее потребление спиртных напитков сильно понизилось. Народ в массе своей трезвел, и если бы эти результаты могли быть поддержаны в течение ряда лет, кто знает, каковы бы были дальнейшие судьбы России. Я лично был горячим сторонником этой меры и был вне себя, когда узнал, что полиция обнаружила тайную продажу водки у курьера моего управления. Несмотря на его долгую и в общем исправную службу, я уволил его в тот же день, и эта суровая мера кажется произвела впечатление.

Была, думаю, середина ноября, когда я неожиданно получил из Петербурга две телеграммы: одна от Чиркина, незадолго перед тем ставшего начальником Переселенческого управления, с предложением занять место его помощника; вторая от Глинки, настаивавшего на принятии мною предложения Чиркина «в интересах дела» и «дружески советовавшего этот шаг в служебном расчете». Так кончалась эта телеграмма.

Предложение это меня очень смутило. Надо сказать, что в смысле чисто иерархическом повышение было далеко не столь бесспорным, как три года перед тем перевод из Владивостока в Ташкент. Обе должности были 5-го класса; материально петербургская была несколько выгоднее: в Ташкенте я получал жалование 5000, добавочных около 1500 и от разъездов оставалось около 1500, итого 8000; в Петербурге жалованье только 4500, но добавочных не менее 6000, то есть в общем более 10 000, но, будучи холостяком и имея собственные средства, я этому вопросу придавал мало значения. Дальнейший ход службы представлялся мне тогда ведущим к тому же результату: должности губернатора в Сибири, когда я «несколько постарею»; с этой точки зрения принятие меня в Петербург представляло преимущества: из помощников начальника Переселенческого управления попасть губернатором в Сибирь было бы легче, чем из Ташкента, откуда требовалась бы для этого шага еще хорошая протекция. Наконец, переход в Петербург открывал при известных условиях возможность идти дальше по центральному же ведомству и получить со временем пост директора департамента, должность тяжелую, нервную и не всегда приятную, но иерархически очень завидную и влиятельную: министры давали общее руководство и вели «высокую политику»; технически управляли делами директора департаментов.

Но все это были «соображения о будущем»; для «настоящего» же времени принятие предложения Чиркина означало расстаться с Ташкентом, жизнь в котором я искренне полюбил и которой очень наслаждался, и сменить положение самостоятельного руководителя большого дела и начальника крупного учреждения на полузависимую роль помощника в центральном ведомстве, где «решение» вопросов почти никогда не зависит от вас. Петербург же в смысле «друзей и света»

мне уже в то время как-то перестал казаться особенно привлекательным.

Смутила меня в конечном итоге конечная фраза глинкинской телеграммы: «Дружески советую этот шаг (в) служебном расчете». Зная глинкинскую привязанность ко мне, я решил, что «ему — виднее», и — ответил согласием.

Годом позднее я сильно сожалел о принятом в тот день решении. Как я и ожидал, служба в центральном управлении (несмотря на отличные отношения с Чиркиным и с его ближайшим сотрудником ревизором Владимиром Платоновичем Вощининым) меня «душевно» не захватывала; было «обидно» не чувствовать себя более «хозяином» дела и — что греха таить — не занимать в обществе того положения, которое имел в Ташкенте — положение самого блестящего человека в городе; в Петербурге я оказался просто «молодым человеком, делающим, «говорят», карьеру, но в общем довольно скучноватым и педантично-самодовольным». Думаю, такое я должен был производить в то время впечатление на окружающих.

Но прошло еще два года и я увидел, что предложение Чиркина, весьма возможно, спасло мне жизнь и дальнейшую судьбу. Кто знает, как повернулись бы для меня дела, оставайся я в Ташкенте в момент большевистского переворота. Несколько человек из моих знакомых поплатились тогда жизнью. Во всяком случае, уехать из Ташкента было бы тогда не легко, а оставшись — в моем положении «бывшего человека» остаться в живых было невозможно.

Последние недели прошли в прощальных визитах и встречах. Помню, что стукнули небывалые в Ташкенте морозы: температура падала до —18 градусов и более двух недель держался санный путь и мы с Галкиной катались за город.

Как водится, перед отъездом я снимался вместе со всеми служащими и был устроен прощальный обед, на который собралось, думаю, человек более 50, так как, кроме собственно управленских, в чествовании захотели принять участие и все «автономные» учреждения нашего ведомства, подчеркивая тем свое сочувствие моей «объединяющей без прямого вмешательства» политики, которой я по отношению к ним держался и на почве которой старался вызвать взаим-

ное между всеми ними сотрудничество. Говорились, конечно, речи, и мне поднесли большой бювар с адресом. Крышка бювара представляла серебряную доску со всеми подписями — в сущности, не особенно красиво и несколько громоздко, так что в жизни я как-то с большей любовью продолжал пользоваться бюваром, подаренным мне сослуживцами во Владивостоке. Должен, однако, сознаться, что по сравнению с Владивостоком чествование было менее теплым. Была, правда, и основная внешняя причина: обед происходил в громадном зале при температуре 10 градусов из-за мороза на улице, а из-за войны не было вина, а пить за здоровье минеральную воду или лимонад невольно расхолаживало и не создавало интимности обстановки. Несколько вознаградило меня второе собрание, происходившее в тот же вечер, вернее, ночь. Официальный обед кончился около 11 часов и было условлено, что я, вернувшись домой, переоденусь и приду около 12 часов в отдельный кабинет Буффа, где небольшой кружок ближайших сотрудников хотел приветствовать меня в более интимной и «теплой» обстановке: здесь шампанское лилось рекой, и вторично я вернулся домой уже под утро.

От Совета туркестанского генерал-губернатора я получил по установившемуся порядку особый жетон — значок, изображающий туркестанский герб: синий эмалевый единорог на золотом щите под короной. Значок был мне очень приятен как память о ташкентских годах, и я его всегда носил на часовой цепочке и при форме продевал в петлицу.

Мартсон же меня очень тронул прощальным приказом. Кончив последний доклад, я ему дал на подпись приказ по Управлению земледелия, объявляющий о полученном мною новом назначении и предлагающий Благовидову вступить во временное исполнение обязанностей начальника управления. Мартсон, к некоторому моему удивлению, приказа этого не подписал, сказав, что пришлет потом с курьером. Дело разъяснилось, когда я на следующий день получил приказ с длинным добавлением, в котором мне объявлялась от лица службы благодарность за работу и в очень лестных выражениях подчеркивались достигнутые моей деятельностью результаты. Приказ был, видимо, составлен Ефремовым (управляющим канцелярией генерал-губернатора), но заканчивался

собственноручной припиской Мартсона с дополнительной благодарностью за оказанную ему помощь в деле устройства беженцев.

Уехали мы с Мама утром 26 декабря. Накануне был благотворительный вечер с ужином в доме генерал-губернатора, на котором я, каюсь, почти не отходил от милой Евгении Дмитриевны Г., кажется, несколько обидев этим мои прочие ташкентские флирты. Несмотря на ранний час, провожать нас с Мама съехалась масса народа. Приехал даже несколько для меня неожиданно великий князь, сказавший на прощание ряд милых слов. У меня ведь, грешным делом, глаза всегда были «на мокром месте», и как ни совестно было, а я при отходе поезда прямо прослезился. Впрочем, что говорить, кончалась самая, в сущности, приятная и веселая пора моей жизни.



1916

НА КАВКАЗСКОМ ФРОНТЕ

Переселенческое управление приняло меня очень радушно, хотя обстоятельства моего назначения были, в сущности, не вполне теми, что я предполагал. Оказалось, что ближайшим поводом было пожелание, высказанное в этом смысле в разговоре с Глинкой Кривошеиным в те дни, когда последний ждал указа о своей отставке и обсуждал разные вопросы с Глинкой, которого Государь обещал Кривошеину назначить его преемником. Вопрос казался настолько бесспорным, что, вернувшись с последнего всеподданнейшего доклада, Кривошеин поздравил Глинку «первым министром земледелия». Но указ об увольнении Кривошеина и о переименовании Главного управления землеустройства и земледелия в Министерство земледелия появился, но без указания на нового министра. Прошел ряд дней, шли какие-то неясные для Глинки переговоры, и в результате появился указ о назначении министром земледелия члена Государственного совета по выборам от дворянства, крупного самарского помещика А.Н. Наумова; Глинка оставался товарищем министра.

Назначение Наумова вызвало некоторое недоумение. Человек глубоко порядочный, очень добронамеренный, помещик до мозга костей, любивший, если верить рассказам, сам ходить за плугом, Наумов был мало знаком со сложным механизмом государственной машины и никогда не приобрел (да, кстати, и не стремился к тому) влияния, сколько-нибудь подобного авторитету Кривошеина. По иронии судьбы, наше ведомство было переименовано из главного управления в министерство (что теоретически было как бы повышением в ран-

ге) в тот самый момент, когда удельный вес его главы резко понизился. Для Глинки назначение другого лица министром было, конечно, болезненным ударом по самолюбию, не вполне к тому же объяснимым, но отношения с Наумовым были у него хорошие, и в те два-три раза, когда мне пришлось видеть обоих вместе, казалось, что Наумов относится к Глинке с глубоким уважением и полным доверием. Надо, впрочем, еще добавить, что в эту пору все внимание Глинки было занято его работой по званию главноуполномоченного по заготовке хлеба для армий, в которой он был вполне самостоятельным и независимым.

Так или иначе, но, согласившись на мою кандидатуру, Чиркин в дальнейшем ни разу не показал своим ко мне отношением, что он бы предпочел видеть на моем месте другое лицо, и за два года нашей совместной с ним работы я ни разу не слышал от него колкого или недовольного замечания, так что со своей стороны сохранил в душе самое лучшее чувство. Уехал я из Петербурга при большевиках скоропалительно, думая скоро возвратиться, и простился с Чиркиным по телефону, не думая, что никогда больше в жизни не встретимся. Чем он кончил — не знаю. Жив ли и где — тоже.

Другим помощником начальника Переселенческого управления числился Н.А. Гаврилов, но он был управляющим делами у Глинки по званию главноуполномоченного по заготовке хлеба для армий и по Особому совещанию по продовольствию (учреждение военного времени) и делами Переселенческого управления не занимался вовсе. Но близким сотрудником Чиркина был очень дружный с ним молодой человек Владимир Платонович Вощинин, занимавший должность ревизора работ. Перешел он в Переселенческое управление из канцелярии Государственной думы, где был делопроизводителем Переселенческой комиссии. Человек умный, широко образованный, обладал литературным талантом и в этом отношении до некоторой степени заменил в Управлении Тхоржевского, став, как мы говорили, «золотым пером управления». С ним у меня тоже сложились самые лучшие отношения.

По сравнению с эпохой довоенной масштаб деятельности Переселенческого управления резко изменился; не было, во-первых, вовсе новых переселенцев, едущих за Урал: кому

бы пришло в голову устраивать новое хозяйство в Сибири, когда внутри России не хватало рук для уборки полей; в связи с этим, естественно, были приостановлены и работы по заготовке нового земельного фонда и его мелиорации (постройка дорог и прочее). Продолжалась только текущая работа по обслуживанию новоселов и деятельность центрального учреждения соответственно уменьшилась и упростилась. Впрочем, и личный состав, по сравнению с тем, который я знал в 1911 году, упал чуть не вдвое. Ряд чиновников (в том числе Владимир Федорович Романов) ушли в Красный Крест, где Иваницкий был главноуполномоченным Юго-Западного фронта, другие — в отдел продовольствия следом за Гавриловым. Среди новых лиц был Н. А. Ленский, приват-доцент Петербургского университета, ведавший 5-м делопроизводством (Дальний Восток и Кавказ), и В. А. Тресвятский, даровитый, но, на мой взгляд, беспринципный человек, которого я в 1913 году встретил заведующим водворением в Фергане. Из основного состава, кроме В.Б. Фернигера, вечного заведующего инспекторской частью, и бухгалтера Глазова, более других приходилось иметь дело с П. П. Кокоулиным, заведующим 3-м и 4-м делопроизводствами (передвижение переселенцев и сельскохозяйственные склады). Это был человек исключительной душевной чистоты и преданности делу; работник вдумчивый и добросовестный до щепетильности; по происхождению сибиряк, был в свое время заведующим водворением, кажется, в Тургайской области; в центральном учреждении был, думаю, приблизительно с 1908 года, очень ценился, но со своей неказистостью и видом сельского учителя (маленького роста и в очках) был из тех, которые «на первые роли» не выходят. В душе, думаю, сочувствовал социалистам, но политических взглядов своих не высказывал и в текущей работе лояльным образом не проявлял. В 1917 году был выбран председателем Союза служащих Министерства земледелия и в качестве такового принимал участие в органе, руководившем, по захвате большевиками власти, забастовочным движением петербургского чиновничества.

На фронте войны начало 1916 года ознаменовалось рядом крупных успехов нашей Кавказской армии. В феврале пал оплот турок — Эрзерум, и армии противника откатились в глубь Малой Азии, очистив значительную часть так назы-

ваемых Армянских вилайетов. Позади нашего фронта оказалась широкая полоса совершенно почти опустелых земель: армянское население было в значительной части своей истреблено турками, подозревавшими его в скрытых симпатиях к России, курды ушли следом за турками в глубь страны или скрылись в горных ущельях горы Арарат. В связи с этим в некоторых кругах поднимался вопрос о необходимости использования опустелых земель для наделения после войны ее участников. Не знаю, кто первый бросил эту — в общем безумную — мысль; при наличии миллионов мобилизованных людей говорить о наделении участников войны мог сумасшедший; к сожалению, с этими мыслями носились люди, имевшие некоторый вес; параллельно говорилось о необходимости «лишать земли» людей, сдающихся в плен; и я лично видел кем-то отпечатанную докладную записку на имя великого князя Михаила Александровича, в которой проводилась мысль об использовании для наделения участников войны свободных казенных и частновладельческих земель Галиции и других завоеванных у неприятеля местностей. По поводу Армении кто-то бросил даже мысль о сформировании «евфратского казачества».

Толки эти об использовании «завоеванных» земель доходили, естественно, и до нас, и нам, в Переселенческом управлении, казалось необходимым выяснить самим себе, хотя бы в общих чертах, что представляют собою в колонизационном отношении местности, прилегающие к нашей кавказской границе, которые, как мы знали, в случае благоприятного окончания войны (а в нем мы были еще уверены) предполагалось присоединить к России. Наумов, с которым Чиркин по этому вопросу говорил, всецело присоединился к этой мысли и на очередном всеподданнейшем докладе получил разрешение снестись с великим князем Николаем Николаевичем (главнокомандующим Кавказским фронтом и наместником на Кавказе) о командировании меня в Армению для изучения вопросов будущей колонизации нашей в Малой Азии. Согласие великого князя было получено, для того же, чтобы моя командировка не вызвала лишних толков, меня фиктивно зачислили уполномоченным Красного Креста, дав тем самым возможность надеть краснокрестную форму. Одновременно со мной выехал и Ленский (заведующий Кавказским делопроизвод-

ством Переселенческого управления), который должен был собрать в Тифлисе всякого рода материалы, освещающие юридическую сторону земельного строя в пограничных с Россией местностях Турции.

В Тифлисе я явился к уполномоченному нашего министерства Шашковскому, и мы вместе с ним отправились на доклад к великому князю во дворец. Великий князь принял нас очень внимательно и сказал, что вполне сочувствует своевременному изучению порученного мне вопроса, но подчеркнул: «только изучение и никаких других мер, которые бы могли быть ложно истолкованы в смысле, что мы считали занятые нашими войсками земли уже своими». По ходу военных действий иногда приходилось временно оставлять местности, нами занятые; но покидать местность, где мы начали хозяйничать, — есть урон престижу. Между тем на Востоке престиж — все, гораздо больше, чем на Западе. Поэтому, подчеркнул еще раз в заключение великий князь, он не допускает пока и мысли о чем-либо другом, кроме «выяснения» и «изучения». В этих же пределах он даже не видит необходимости скрывать цель моей командировки и причисление меня к Красному Кресту считает формальностью лишней и бесполезной.

Кроме великого князя, Шашковский познакомил меня с его помощником генералом Янушкевичем, который с интересом расспрашивал о задаче моей поездки (молва считала его одним из сторонников наделения участников войны и лишения земли солдат, сдающихся в плен). Повидал я еще былого знакомого по канцелярии Комитета Дальнего Востока Голховитинова (он был начальником штаба Кавказского фронта) и уполномоченного по устройству армянских беженцев генерала Тамамшева. Последний, впрочем, насколько помнится, за пределы нашей территории не выезжал и ничего интересного по поводу территорий, занятых нашими войсками, мне рассказать не мог.

Дня через два я выехал из Тифлиса вместе с прикомандированным ко мне Шашковским в качестве переводчика, одним из землемеров Кавказской переселенческой организации, армянином по происхождению. Выехали мы железной дорогой до города Эриван, откуда я должен был далее ехать лошадьми. В Эриване зашел к губернатору Лачинову (бывшему кавалергарду — одного выпуска с Никой) и завтракал с

ним и его вице — Панчулидзевым, двоюродным братом покойного Сабурова, которого я знал еще с лицейских времен.

На следующее утро я выехал в фаэтоне вместе с моим землемером. Было ясное апрельское утро, солнце ярко светило в глаза, пока мы медленно поднимались по шоссе к г. Игдырю, расположенному у бывшей нашей границы. Слева высилась громада Большого Арарата, вершина которого была, впрочем, скрыта облаками. За Игдырем начиналась уже Алашкутская долина, довольно еще узкая в этом месте. Мы ее пересекли и начали снова взбираться к занятому нами уже довольно Баязету, туземному городу, прилегавшему к горному склону высоко над долиной. Здесь был этапный пункт, нечто вроде военно-административного центра ближайшего округа, где я заночевал. Должен сказать, что первое знакомство с весенним солнцем весьма печально отразилось на моем лице. Его обожгло, как еще никогда в жизни, и на следующее утро я проснулся с распухшим лицом, сочащимся во многих местах. К счастью для меня, долгий путь мой повернул в западном направлении вдоль Алашкутской долины, и солнце жгло меньше.

Следующим этапом был Диадин, довольно крупный населенный пункт, где жизнь уже успела начать вновь входить в мирное русло. Здесь было много армянских беженцев, и я решил устроить краткую перепись, чтобы осветить вопрос об экономическом положении их до войны, среднем составе семьи, площади засева, количестве скота и т.д. Переводчиком и, в значительной степени, регистратором явился мой землемер, так как сам я армянского языка не знал. Насколько помнится, ответы опрошенных указывали на довольно высокий имущественный уровень населения; средняя площадь землепользования определялась что-то вроде 15 десятин на хозяйство (переводя на десятины указываемые ими цифры «доным» (?) армянской меры земли). Очень характерной фигурой был в Диадине комендант этапа. Человек уже немолодой, призванный из запаса, он много в жизни путешествовал (на стене висела морская карта какой-то бухты Тихого океана, где он, видимо, долго жил) и рассказывал интересные вещи. В отношении местных жителей он усвоил систему уездного начальства старого времени: разбирал «по совести» всякого рода споры и недоразумения, где надо помогал, где надо — карал;

раздавал земли для засева, заботился, чтобы земля не пустовала и т.д.

В Диадине я оставил своего землемера, поручив ему докончить обследование и привезти потом его материалы в Тифлис, а сам поехал дальше верхом на Кара-Килиссу. Здесь начиналась часть Алашкутской долины, наиболее пострадавшая не столько от военных действий, сколько от турецких зверств. На большом протяжении все селения пустовали, и странно было верстами ехать посреди неубранных полей. Отход турок и разрушение ими армянских селений происходило здесь в середине лета 1915 года, и урожай так и остался неубранным на корню.

Где-то близ Кара-Килиссы находилась в то время ставка командующего Кавказской армией Юденича. Я счел себя обязанным ему явиться, и старик меня очень мило принял, заинтересовался между прочим моим туркестанским значком и сказал, что в молодости служил в Туркестане и на всю жизнь сохранил любовь к этой окраине.

Хотя в колонизационном отношении наибольший интерес представляла именно Алашкутская долина, которую я проехал, мне хотелось ознакомиться хотя бы в общих чертах с характером гористых пространств, шедших от нее в глубь страны. Поэтому я попросил дать мне верховую лошадь и сопровождающего, чтобы проехать до ближайшего перевала (Халгурского?), до которого было сравнительно недалеко. Тут пришлось ехать неширокой долиной вдоль узкой неглубокой реки, и странно было думать, что эта речка — Евфрат, с которым связано столько слышанного в детстве. Речка человеческого рая, речка, несущая свои воды в Индийский океан...

По программе, намеченной еще в Тифлисе, я должен был проехать в заключение в занятую нашими войсками полосу южного берега Черного моря. Поэтому я не возвращался в Эривань, а выехал прямо на батумскую ветку закавказской железной дороги где-то около Карса. Не помню подробностей маршрута: помню, что ехал по дороге, разбитой до степени неописуемости, с трупами лошадей и верблюдов по сторонам, служившей основным трактом подвоза к действовавшей против турок армии. Надо сказать, что в то время передовые части продвинулись глубоко внутрь страны, и вопрос подвоза к ним военных припасов, фуража и прочего и эвакуация ране-

ных принял чрезвычайно острый характер. Подвозом этим в значительной его части занимались жители пограничных с Турцией молоканских и меннонитских селений, которые по закону были освобождены от призыва в войска, но были обязаны нести вспомогательную службу — санитарами и возчиками военных грузов. Подводы их были запряжены чудными, крупными лошадьми, но беда была в том, что предшествующим летом в районе военных действий никто не занимался заготовкой кормов, и возчикам приходилось и сено, и овес (или ячмень) брать с собой из дома с расчетом, чтобы этого хватило на весь путь не только туда, но и обратно. Понятно, что, когда линия фронта отодвинулась от нашей границы на большое расстояние, фураж для лошадей стал расти за счет собственного полученного груза, везомого к фронту, и близился момент, когда подвоз должен был фактически стать невозможным.

Как я уже упоминал, на линию железной дороги я выехал где-то близ города Карса. Жалею теперь, что я в него не заехал: его здания виднелись на высоте над шоссе, по которому я ехал, а день клонился к вечеру.

На следующее утро я был в Батуме и почти тотчас же устроился на транспорт, обслуживавший занятые нами пункты турецкого побережья. Высадился я невдалеке, в <...>, и верхом отправился дальше по береговой дороге. Местность была чрезвычайно живописная, и что меня особенно поразило, это было благоухание апельсиновых садов, которые я видел впервые. Последний участок пути до г. Ризе я ехал уже темнотой, но аромат цветов позволял сказать безошибочно, когда я проезжал мимо апельсинового сада. В Ризе я опять сел на пароход и на следующий день был в Трапезунде, живописно раскинувшемся над заливом. От Трапезунда шло шоссе в глубь страны, и местный уполномоченный Красного Креста любезно взялся провезти меня по этому шоссе до границы занятого нами пространства. Ехать, в сущности, было недалеко: верстах в 15—20 мы остановились, и мой спутник показал мне на видневшиеся на ближайшем склоне горы аулы, из которых ближайший был занят нами, а дальний — турками. На мое недоумение, как он рискует останавливаться с автомобилем на открытом месте в виду неприятельской позиции, уполномоченный спокойно ответил, что ружьем на таком рас-

стоянии не попадешь, а пушек на этом участке у турок, видимо, нет, потому что артиллерийской стрельбы уже ряд дней что-то не слышно. Привожу это как образчик своеобразной обстановки Кавказского фронта, где не было сплошной линии, а были стратегические участки борьбы. С момента взятия Эрзерума и Трапезунда пространство между этими пунктами было турками, по существу, потеряно, но фактически небольшие части их войск продолжали здесь борьбу, уклонялись от решительных действий, но связывали известное количество наших войск, тем самым содействовали выполнению общей стратегической задачи, поставленной их армии.

На обратном пути в Тифлис я провел день в Батуме, встретив на пляже ряд знакомых: Катю Урусову (впоследствии Бибикову) и Ильяшенко, с которым когда-то гулял по Константинополю, а потом встречался в государевом имении Мургабе. Зашел также навестить Беляева, который из Владивостока переведен был в Батум, и узнал, что Рита вышла замуж за офицера Черноморского флота, кажется Туманова.

В Тифлисе я явился опять к Великому князю и представил ему краткий доклад о поездке. Основной мыслью доклада была желательность принять меры, предупреждающие захват пустующих земель лицами, не имеющими на них права. Для этого я рекомендовал сдачу пустующих земель комендантами этапов (как это делалось в Диадине) для засева. Такая сдача, косвенно преследуя интересы нашей армии, ибо увеличивала местные запасы фуража и продовольствия, в то же время оставляла бы открытым поле для последующего, по окончании войны, разрешения земельного вопроса в том или ином направлении в зависимости от обстановки и общей земельной политики послевоенного времени.

Министерству же я представил по возвращении сравнительно более подробный доклад, в котором описывал характер местности в посещенных мною районах и приводил данные проведенного по моему поручению статистического опроса, позволяющего судить о средней площади местных хозяйств и тем самым о размерах земельного запаса, могущего остаться в распоряжении государства, так как не подлежало сомнению, что значительная часть армянского населения погибла во время турецкого отступления. Относительно земель Черноморского побережья я воздерживался от каких-

либо выводов, отмечая только, что в этом районе высокой культуры не может быть и речи о каких-либо земельных наделениях, а только о наиболее целесообразном использовании свободных земельных клочков для разведения садов и разбивки дачного типа участков.

Весна 1916 года внесла некоторые перемены в жизнь братьев. В мае Ника, который был годом перед тем назначен курляндским губернатором, но из-за нашего отступления не мог вступить в исправление своей должности и работал по Красному Кресту в одном из передовых отрядов, был, совершенно для него и для всех нас неожиданно, назначен губернатором в Москву. В момент назначения его отряд передвигался с одного участка фронта на другой, и, помнится, в течение, кажется, 5—6 дней министерство не могло выяснить его местонахождение, чтобы известить о состоявшемся назначении. Не вполне ясно, чем было вызвано столь видное назначение: среди губернаторов Ника был самым молодым; быть может, у Штюрмера, бывшего тогда министром внутренних дел, оставалось в душе чувство, что он невольно подверг в свое время Нику болезненному для самолюбия «невыбору» на тверских выборах 1910 года, когда он его убедил идти баллотироваться, быть может, просто хотел поддержать и выдвинуть человека из семьи, к которой с детства был близок и даже немного обязан (и Екатерина Степановна, и мой отец, когда могли, помогали денежно сильно нуждавшейся семье Штюрмеров, а сестра его годами жила у нас в Беляницах и в Полтаве).

Месяцем позднее тот же Штюрмер, но уже в качестве министра иностранных дел, продвинул в смысле карьеры Борю. Одним из последних назначений Сазонова был перевод Бори из Парижа в Токио — советником посольства, который, помнится, очень обидел Мама, так как одновременно была вакансия в Риме, которая была отдана М-ву, хотя тот был моложе Бори по службе. Переезд из Парижа в Петербург (кружным путем, морем через Архангельск) взял у Бори много времени, и в Петербург он приехал, когда министром иностранных дел был только что назначен Штюрмер (сохранивший за собой и преемство). Начальник канцелярии министерства Шиллинг не захотел оставаться при Штюрмере, и последний, никого не зная в ведомстве, был только рад возможности иметь ближайшим сотрудником хорошо знакомого ему Бориса.

Почти все лето я провел в городе и во время летнего отпуска Чиркина был, не скрою, доволен хоть на короткое время числиться исполняющим обязанности начальника управления и раз или два «быть с докладом» у министра, хотя, честно говоря, и Наумов и Глинка на этих докладах, кажется, смотрели все же на меня более как на милого молодого человека, чем как на крупного петербургского чиновника.

Между прочим, в это время я получил предложение переменить службу. Как-то меня вызвал к себе Тхоржевский, оставшийся при Наумове управляющим канцелярией министра, и спросил, не согласился бы я занять освободившуюся вакансию его помощника, объяснив, что он в ближайшее время переходит сам на частную службу и, следовательно, я почти наверняка был бы назначен на его место. Должен сказать, что, искренно его поблагодарив за милое предложение, я ни минуты не задумался от него отказаться, так как даже роль помощника в Переселенческом управлении меня гораздо более привлекала, чем положение управляющего канцелярией, всецело и во всем зависящее от отношений с министром.

ПО СИБИРИ И ВОСТОЧНОМУ КАЗАХСТАНУ

В августе Чиркин вернулся из отпуска, и я решил отправиться в большую поездку в Сибирь. Маршрут наметил себе очень интересный: начать с Омска, где познакомиться поближе с деятельностью сельскохозяйственных складов Переселенческого управления, крупной подсобной организацией коммерческого характера, с которой раньше не приходилось соприкасаться, так как эти склады, чтобы оградить их коммерческую независимость, не входили в круг районных переселенческих организаций и во Владивостоке состояли вне моего ведения. Из Омска я решил доехать поездом до Новониколаевска (ныне Новосибирск) на Оби, города, росшего с быстротой американских и имевшего в следующем году стать административным центром вновь выделяемой Алтайской губернии. Затем проехать к югу до крупного старожильского села Камня-на-Оби и оттуда автомобилем или лошадьми через новозаселенную часть Томской губернии — бывшую Кулундинскую степь, а в 1916 году — Славгородский уезд с городом Славгородом, вырос-

шем на месте, где в 1908 году не было ничего. Из Славгорода мой маршрут вел на Павлодар на Иртыше, оттуда пароходом до Семипалатинска и далее лошадьми около 1500 верст через Семиречье в Туркестан.

Путешествие мое я, однако, начал с заезда в вологодское имение Брянчаниновых, чтобы повидать Соню, которая жила там с обеими девочками (Дима назначен перед самым началом войны радомским губернатором, жил в Москве и работал по устройству беженцев из Западного края). Покровское оказалось небольшой усадьбой с очень красивым старинным домом, и я провел с ними очень приятно день или два, но должен сказать, что в отношении дорог Покровское мне показалось хуже Беляниц, и 25 верст, отделяющие его от станции, я ехал, думаю, около трех часов.

Простившись с Брянчаниновыми, я сел в Вологде в Сибирский экспресс, на который задержал себе место еще в Петербурге. Вагон мой оказался вторым с хвоста; задний вагон был вагоном I класса особого назначения, и я был очень удивлен, увидев в его дверях крупного мужчину с окладистой черной бородой, в шелковой рубашке и высоких сапогах. На вопрос: «Кто такой?» — старший кондуктор шепотом ответил: «Распутин-с». Я до того ни разу не встречался с этим человеком, о котором говорила тогда вся Россия, в сущности ничего, однако, о нем в точности не зная.

Среди дня, когда я по моей привычке вышел на заднюю площадку своего вагона, где было удобнее смотреть в окна на обе стороны, Распутин оказался случайно там же и заговорил со мной, спросив, куда я еду, где служу и т.п. Не знаю почему, но он, что называется, в этом разговоре «дурака валял», разыгрывая почему-то простачка. Спросил, какая на мне форма (не думаю, чтобы в год, когда вся Россия носила форму, он не знал формы придворного ведомства), кто министр земледелия, и на мой ответ протянул — «А-а», как будто услышал нечто для него неизвестное. Сделал два-три малозначащих замечания относительно Сибири и ушел в свой вагон. Должен сказать, что во время этого разговора я испытывал странное чувство. О Распутине в то время говорили постоянно и часто высказывали удивление, что не находится человека, который бы его прикончил, что это было бы гражданской доблестью, а не преступлением. И вот, стоя перед ним на платформе вагона ря-

дом с открытой дверцей, я думал, что вот момент, когда стоит его толкнуть, и он упадет между колесами и, вероятно, будет раздавлен... и кошмар, нависший над Россией, кончится. И чувствовал, что я на этот шаг не способен, и не из трусости даже, а просто потому, что нельзя хладнокровно убить человека, хотя бы разум и повелевал. (Про его невероятную живучесть, выяснившуюся потом, во время его убийства, тогда не думалось.)

Вечером того же дня мне пришлось быть случайным свидетелем его обаяния над женщинами. В моем купе ехала красивая молодая дама с удивительными голубыми глазами. Оказалось, что это жена Ржевского, едущая к мужу. Ржевский был чиновником особых поручений при министре внутренних дел Хвостове (Алексее Николаевиче, отце Анночки), который, стремясь в свое время свалить Распутина, велел Ржевскому раздобыть какие-то компрометирующие Распутина документы. Дело, однако, преждевременно раскрылось, Хвостов был уволен из министерства, а Ржевский... выслан в административном порядке в Нарымский край, куда жена теперь и ехала его, якобы навестить. Не сомневаюсь, однако, что она сознательно выехала в Сибирь тем же поездом, что и Распутин: из разговоров выяснилось, что она в свое время часто его видала и, думаю, была из его «поклонниц». По ее словам, он человек исключительной доброты и бескорыстия, но, к сожалению, окружен-де людьми далеко не бескорыстными, обделывающими через него свои делишки. Вечером поезд остановился на какой-то маленькой станции, и, так как остановки у экспресса сравнительно редки, почти все пассажиры вышли промять ноги перед сном. Как всегда, я шагал быстро и, гуляя по насыпи (станция была маленькая, и поезд стоял на втором пути), обогнал другие группы гуляющих, когда с удивлением увидел в темноте Распутина и мою спутницу по купе, которая с ним говорила. Слов я не расслышал, но голос меня поразил: это был какой-то восторженно задыхающийся шепот, и не верилось, что четверть часа перед тем тот же человек со мной спокойно разговаривал.

На следующее утро на какой-то небольшой станции задний вагон был отцеплен. Утро было ясное, и его обитатели вышли пройтись. Среди них была Вырубова на костылях, потом какая-то очень красивая высокая дама (мне сказали, не

знаю, верно ли, что ее фамилия — Дек), затем две-три дамы вида купчих и два жандармских офицера, сопровождавших вагон. На душе было обидное чувство: думалось, что уж лучше провезти его особым поездом без остановок на станциях, чем демонстрировать это зрелище пассажирам полного людьми экспресса с многочисленными среди них иностранцами.

Вот единственный случай, когда мне пришлось встретиться с Распутиным. Надо сказать, что в Переселенческое управление он во время оно присылал свои записочки с просьбами за земляков, но заметив, что Глинка дает им обычный ход, видимо, обиделся и перестал писать.

Путешествие мое пошло благополучно, и намеченный в Петербурге маршрут удалось выполнить. Не очень помню, почему я не доехал до Томска — центра наиболее крупного промышленного района. Должно быть, боялся затянуть свою и без того длинную командировку и предпочитал соединить посещение Томска с поездкой в другой раз в Восточную Сибирь (Енисейскую и Иркутскую губернии), которых почти совсем не знал. Тогда ведь не думалось, что я в последний раз в жизни за Уралом.

В Новониколаевске меня встретил помощник заведующего районом (заведующий был в то время всецело занят заготовками для армии и в текущие дела района не вмешивался вовсе), и мы с ним вместе проехали до Павлодара, который входил уже в состав Семипалатинского переселенческого района. В Семипалатинске, пыльном городке с одноэтажными домами, я остановился у губернатора, Феди Черноцова, нашего ближайшего соседа по Беляницам, который видел меня все мое детство, а тут впервые встретил меня взрослым. Мне, впрочем, кажется, что я ему тогда не понравился; думаю, я довольно сильно бранил правительство, он же, недавно назначенный губернатором, считал это, должно быть, неуместным, хотя разговор шел, насколько помню, не при посторонних, а только при нем и Ольге Алексеевне, с которыми мы искони были близки.

За Семипалатинском начинался район, мне совершенно незнакомый. Переехав Иртыш на пароме, почтовая тройка покатила по совершенно выжженной и абсолютно ровной Голодной степи (Акмолинско-Семипалатинской, конечно, а не Туркестанской). Мне вспомнилась книга В. А. Соллогуба «Та-

рантас», где пейзаж во время путешествия Василия Ивановича описывается так: направо — гладко, налево — гладко. Так и тут. Выехал я из Семипалатинска около 4 часов дня и до границы Семиречья ехал 26 часов, не ночевав, а только сменяя каждые 25 верст лошадей. И вот от этих 300 верст степной дороги в памяти моей, и не то что теперь, а и тогда, лишь только я въехал в Семиречье, не осталось ничего, кроме смутного воспоминания, что и направо, и налево было «гладко» и только здания почтовых ста́нков отмеряли пройденное расстояние.

На второй только день к вечеру показа́лись холмы, и на закате я въехал в станицу Лепсинскую — административный центр Лепсинского уезда, где меня встретил переселенческий подрайонный чиновник. Еще в Семипалатинске до нас доходили слухи, что в Семиречье «неладно с киргизами». Здесь чиновник наш подтвердил, что хотя в уезде все, видимо, спокойно, но упорно говорят о восстании киргизов на юге области. Я тем не менее решил проехать в глубь уезда и посмотреть переселенческие поселки и — что меня интересовало еще более — участки, образованные незадолго перед тем для киргизов, желающих перейти «на оседлое положение». Процесс «оседания» киргизов в те годы начал обнаруживаться довольно сильно. Для задач Переселенческого управления ускорение этого процесса имело громадное значение, так как киргиз, переходящий на земледельческое положение, наделялся землей на равных основаниях с русскими переселенцами, то есть по 15 десятин на душу мужского пола (примерно по 50 десятин на семью), тогда как для киргизов, остающихся на кочевом или, вернее, на полукочевом положении (почти у всех киргизов были небольшие участки посева при их «зимовках», откуда они на лето уходили в горы на летние пастбища), переселенческим землемерам вменялось в обязанности оставлять в запасе площадь, необходимую для такого полукочевого хозяйства, то есть, естественно, гораздо большую. Поэтому «оседание» киргизов автоматически освобождало дополнительные площади для целей колонизации. Мне, однако, еще никогда не приходилось видеть «осевших» киргизов и потому хотелось проехать в ту часть Лепсинского уезда, где был ряд специально нарезанных для них участков.

На следующее утро мы туда выехали верхом, и я действительно увидел поселение необычайного типа, напоминающее группу раскинутых хуторов, но с постройками, напоминающими не русскую деревню, а сартовский кишлак.

Между прочим на почве слухов о восстании с нами случился полукомический эпизод. В начале пути один из моих спутников обратил внимание на едущую по соседнему увалу нам наперерез группу всадников с какими-то не то плетьми, не то винтовками за плечами. Уж не повстанцы ли? Кое-кто посоветовал, не повернуть ли обратно, но я решил продолжать ехать в том же направлении, так как все равно, если эти всадники хотят нас захватить, то сопротивляться, не имея оружия, нельзя, а нагнать киргизы всегда нас нагонят. Когда сблизились — дело оказалось совсем простым: киргизы ехали косить и за спинами были косы и грабли. Правда, что русский мужик никогда, кажется, не едет на покос верхом, оттого внешний вид этих киргизов и показался нам необычайным.

Дальнейший путь до Верного прошел без каких-либо происшествий, и в самом Верном все было спокойно, но из Пржевальска уже около двух недель не было получено никаких известий и из посланных областной администрацией на разведку через горы киргизов ни один назад не вернулся. Войск в сколько-нибудь достаточном количестве в области не было, и власти заняли выжидательное положение, благо вдоль линии почтового тракта на Арын все было спокойно, и отрезанным от внешнего мира оставался один малолюдный Пржевальский уезд. Проведя в Верном около двух дней, я выехал почтовыми на Туркестан и ехал на этот раз чрезвычайно быстро: проезжих на тракте почти не встречалось, на всех станциях были свободные тройки и до Пишпека (250 верст) я ехал менее суток. С другой стороны, и лошадьми пришлось ехать меньше, чем в предыдущие разы. От границы Аулиеатинского уезда с Чимкентским я уже ехал линией Семиреченской железной дороги, часть пути, кажется, автомобилем, а конец — поездом по временному железнодорожному полотну.

В Ташкенте я застал большие перемены. Оказалось, что восстание имело довольно серьезный характер и для наведения порядка генерал-губернатором был назначен, с особыми полномочиями, участник завоевания края, былой сотрудник Скобелева — генерал Куропаткин, отчисливший, по приезде, от должностей почти всех старших представителей власти в крае.

Восстание 1916 года — одна из печальных страниц русского господства в Туркестане, особенно обидная тем, что ее вполне можно было бы избежать. В основе его лежало решение привлечь местных туземцев, освобожденных законом от воинской повинности, к участию в тыловых работах (рытье окопов позади фронта, сопровождение гужевого транспорта и т.п.). По существу, решение было вполне справедливым: не было причин создавать для одной части русских подданных исключительно привилегированное положение в отношении несения военных тягот, в то же время использование туземцев в тылу освобождало соответственное количество русских, призванных для непосредственного пополнения воинских частей. Ошибка заключалась в спешном его проведении без предварительной подготовки почвы, без достаточного объяснения туземцам, к чему они будут призваны. Если не ошибаюсь, решение это было принято на совещании в Ставке без предварительной разработки вопроса, ни запроса местных властей. В том же совещании было, помнится, принято еще другое решение: произвести дополнительный призыв нескольких сроков ополчения в начале июля, то есть в момент самых горячих полевых работ. Когда об этом решении узнали у нас в министерстве — все ахнули, сознавая, что подрывается весь сбор урожая, и несмотря на то, что решение было принято, Риттих (товарищ министра), проявив большое гражданское мужество, поехал ко всем главным министрам, настаивая на отсрочке намеченного призыва до осени, в чем, к счастью, успел.

В отношении же призыва туземцев решение совещания в Ставке было протелеграфировано на места, и тотчас приступлено к его осуществлению. Возможно, что, как тогда говорилось, среди туземцев были турецкие агенты, ведшие пропаганду против русской власти. Для них новое решение создавало благоприятную почву для ложного истолкования его

смысла. «Вас зовут для рытья окопов, — говорили туземцам, — но каких окопов; ясно, что новых, расположенных впереди существующих, то есть под самым обстрелом противника, то есть остаться в живых вам нет почти надежды и проще умереть дома или уйти за русские рубежи».

Агитация эта имела успех: напоминали, верно, и все другие случаи, где туземцы могли чувствовать или считать себя обиженными или пострадавшими. В большинстве местностей, однако, брожение не вышло за границы скрытого недовольства — как я только что говорил, проехав около 1500 верст районом туземных селений, я нигде не встретил признаков восстания; да и в большинстве городов Туркестана дело ограничилось манифестациями в общем мирного характера. До кровопролития дошло в Джизакском уезде Самаркандской области, где был, кажется, вырезан гарнизон и пострадал ряд чинов местной администрации. Кара была жестокая. Посланный отряд под начальством полковника Иванова снес с лица земли ряд восставших кишлаков, уничтожив в них — так говорили тогда в Ташкенте — все население.

В Семиречье дело приняло несколько иной оборот. Большая часть киргизов в момент объявления указа находилась в районе высокогорных летних пастбищ юго-западной части области. При известии о предстоящей «мобилизации» они приняли решение уйти в Китай и потянули туда со всем скотом и имуществом кратчайшим открывавшимся им путем вдоль северного берега Иссык-Куля. По пути им встретились русские селения, многие из которых основались на месте былых киргизских зимовок. Вообще прохождение кочевников со стадами через район оседлых жителей легко может дать повод к недоразумениям. Здесь же обе стороны были, вероятно, возбуждены и... в результате все селения вдоль Иссык-Куля оказались окончательно разгромленными; были и человеческие жертвы.

Основная масса кочевников ушла в восточном направлении через хребты, отделяющие Россию от Китая. Но в Китае местные власти испугались этого обратного переселения народов и выставили воинские отряды, препятствующие спуску киргизов в долины. Поздней осенью последние решили тогда вернуться назад, но и с русской стороны было дано распоряжение преградить путь «восставшим». Конец был трагическим: тысячи кибиток оказались захваченными зимними бу-

ранами в районе высокогорных пастбищ, где зимовать нельзя, и погибли там окончательно. Так завершился этот прискорбный эпизод наших взаимоотношений с туземцами после свыше чем полувекового мирного нашего с ними сожительства.

По приезде в Ташкент мне надо было представиться Куропаткину. Оказалось, что в этот день был общий прием чинов гражданского ведомства и я — несколько опрометчиво — из любопытства стал с Сахаровым, но «напоролся» на сухое замечание нового начальника края, что «по полученным мною сведениям, одна из серьезных причин восстания — в деятельности Переселенческого управления», на которое при обстановке общего приема не мог возражать. Должен, впрочем, сказать, что в дальнейшем это мнение свое Куропаткин если и не изменил, то во всяком случае ни в чем реальном его не проявил и до своего ухода (с революцией) не поднял перед нашим министром вопроса о каких-либо переменах в политике переселенческих учреждений в Туркестане.

Ездил я еще в Голодную степь и с радостью увидел, что применением дренажа (открытыми канавами) удалось промыть и восстановить плодородие земель, казавшихся годом перед тем безнадежно засоленными.

На обратном пути мне захотелось навестить Галкиных, которые после отчисления старика от должности переехали к родителям Евгении Дмитриевны в Уфу. Бедный Александр Семенович был совершенно убит своей отставкой и, видимо, тронут моим участием. Заехал также по дороге, между поездами, в Самару, где губернатором был в то время Станкевич, которого я знал по Вильне у Брянчаниновых. Кроме того, он был когда-то помощником начальника Переселенческого управления; в ожидании поезда я у него завтракал и помню общее недоумение всех в связи с полученным в этот день известием о назначении Протопопова министром внутренних дел. После поездки последнего в Стокгольм, где он виделся с немецким финансистом Варбургом, репутация Протопопова резко упала, и назначение его на такой ответственный пост казалось непонятным.

За время моего отсутствия успел перемениться и министр земледелия: Наумов уступил место Бобринскому Алексею, Глинка получил назначение сенатором. По приезде я представился моему новому начальнику, который принял меня очень любезно и расспрашивал про мою поездку, но... так, как рас-

спрашивают интересного путешественника, а не подчиненного про командировку. Невольно вспомнились доклады у Кривошеина, когда указания давались на полуслове.

Впрочем, эпоха Бобринского длилась недолго; он, видимо, осознал свою неподготовленность и, будучи в основе человеком порядочным, предпочел вскоре уйти. На его место министром земледелия был назначен Риттих, на плечах которого в годы Кривошеина лежало все землеустройство Европейской России. Человек громадной трудоспособности и невероятной аккуратности; вместе с тем глубоко порядочный, вежливый, всегда внимательный.

В годы моей службы в Ташкенте он был товарищем министра и, по-видимому, хорошо ко мне относился. Непосредственно же работать под его руководством мне пришлось летом 1916 года, когда он был назначен председателем комиссии по выписке желтых рабочих с Дальнего Востока для пополнения начавшейся уже обнаруживаться нехватки рабочих рук внутри страны. Риттих тогда просил меня взять на себя делопроизводство совещания и, значит, выработку правил привлечения и выписки желтых рабочих в Россию, что, помнится, к большому удовольствию Риттиха, удалось выполнить в несколько дней. Но как подумаешь — ирония судьбы: в 1910—1911 годах все мы были заняты борьбой с желтой расой и вырабатывали драконовские правила, имевшие окончательно закрыть доступ к нам китайских рабочих; а пять лет спустя эти же лица вырабатывали льготные паспорта и тарифные меры для облегчения привоза к нам тех же китайцев. И, увы, в дни революции эти китайцы сыграли у нас самую отрицательную роль...

С момента назначения Протопопова отношения правительства с Государственной думой вступили в фазу резкого обострения, делу не помогло и последовавшее в конце ноября назначение премьером Трепова (Александра Федоровича), человека бесспорно умного и талантливого; Дума закусила удила и не хотела идти ни на какие компромиссы. Даже в нашей узкой сфере переселенческих вопросов пришлось столкнуться с примером думской непримиримости. Одним из вечных пунктов трений между правительством и Думой, за все время существования последней, был вопрос о праве правительства проводить законы по так называемой 87-й статье, гласившей, что в периоды между сессиями правительство утверж-

дает такие меры своей властью, внося их только потом на одобрение палат. Дума всегда настаивала, что это право может относиться только к вопросам исключительным, экстренного характера, а не ко всякого рода мерам, которые могут выждать открытия сессии. В порядке этой 87-й статьи наше министерство по просьбе приамурского генерал-губернатора издало указ, воспрещающий в Приамурье посевы мака, — в целях борьбы с опием. Указ был издан в 1915 году, был внесен затем в палаты и в конце 1916 года доехал до медицинской комиссии Государственной думы (пример обычной медленности прохождения законов в палатах). Я был командирован в заседание комиссии для дачи объяснений; вопрос был, в сущности, мелким и во всяком случае с точки зрения медицинской комиссии возражений, казалось, встретить не мог, отчего ни министр, ни Чиркин не сочли нужным идти самим. И вдруг, к моему вящему изумлению, на меня накидывается член комиссии Годнев (впоследствии государственный контролер во Временном правительстве) и высказывается за отклонение закона из принципа, как проведенного по 87-й статье. Все мои попытки обосновать целесообразность проектированной и введенной уже два года в жизнь меры, против которой с тех пор не было выдвинуто ни одной жалобы, успеха не имели: комиссия постановила к постатейному чтению законопроекта не приступать и предложить Думе закон отклонить. «А затем, — добавил Годнев, — никто не мешает ведомству взять свой проект обратно и внести его вновь на наше рассмотрение в обычном порядке», что даже не вызовет никаких задержек в существе дела.

Я рассказал Чиркину о своей неудаче, и у нас даже явилась мысль пойти путем, подсказанным Годневым, чтобы сохранить существо принятых нами мер. Но ввиду принципиального характера занятой думской комиссией позиции Риттих счел необходимым осведомить об этом инциденте Совет Министров, и там признали необходимым не идти на шантаж, но отстаивать права правительства пользоваться 87-й статьей, не создавая прецедента частичных уступок думской точке зрения.

Так в постепенно сгущавшейся атмосфере проходили осенние месяцы и наступила зима. После довольно долгого затишья на фронте в декабре имело место наступление Деникина, имевшее характер крупного тактического успеха, но

не отразившееся сколько-нибудь заметно на общем положении дел. С одной стороны, уверяли, что недостатку снарядов пришел конец, что они накоплены в громадном, неслыханном количестве и что весной-де начнется решительное наступление, имеющее целью повести к конечному успеху. Другие, напротив, указывали, что все идет хуже и хуже, что фронт прорван немыслимо, а разрухи в тылу, ведущей к общему развалу, не устранить, пока назначения министров будут делаться не по принципу их годности, а по степени их близости к Распутину, обладавшему волей Императрицы, а через последнюю парализуются все добрые намерения Государя. Так родилось настроение, в конце концов поведшее к довольно широкому распространению мысли, что для победы необходимо удаление Императрицы, иными словами, отречение Государя.

В декабре разнеслась неожиданная весть об исчезновении Распутина. На душе в первую минуту как будто отлегло. Показалось, будто возможен поворот к лучшему. Но уже через два-три дня этот минутный подъем угас. С одной стороны, выяснившиеся подробности этого гнусного убийства смутили даже тех, кто искренно считал, что Распутина надо удалить любой ценой; с другой стороны, стало ясно, что исчезновение Распутина не спасает положения: упадок веры в возможность победы при существующем правительстве препятствует серьезному улучшению общего положения. Лозунгом дня стала отставка Протопопова; между тем влияние последнего на Императрицу, видимо, только росло. Ходили рассказы (вымышленные или верные — трудно сказать), свидетельствующие почти о помешательстве министра внутренних дел (он всегда был театрален в разговорах; теперь эта театральность казалась сумасшествием). В самом конце года был уволен Трепов. Преемником его был назначен князь Николай Дмитриевич Голицын, милейший человек, но не государственный деятель большого калибра. Он сам это сознавал и долго умолял Государя отменить его назначение, ссылаясь на свою неподготовленность для роли премьера. Но затем, как верноподданный, подчинился и вступил в исправление должности, в которой, однако, по существу, оставался бессильным. Совет Министров, бывший в подавляющем большинстве против Протопопова, потерял всякий авторитет, так как не мог настоять на его отставке. Над всем тяготело какое-то жуткое чувство беспросветности.



1917

ДЯДЯ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ОГАРЕВ

Для нашей семьи 1917 год открылся трауром: в первых числах января скоропостижно скончался мой дядя Петр Николаевич Огарев. Простудившись в конце декабря, он провел несколько дней в постели, но затем, почувствовав себя лучше, начал вставать. Накануне его смерти ничто не предвещало близости конца. Утром, окончив одеваться, он вдруг почувствовал себя плохо и окликнул тетю Машу. Когда она пришла в кабинет — он уже не дышал: смерть была мгновенной. Тетя Маша была изумительной: с полным спокойствием распорядилась всем сама (Боря был на фронте и успел прийти только в церковь к отпеванию), стояла все панихиды и пешком прошла за гробом со Шпалерной в конце набережной, где стояла выстроенная при ближайшем участии Огаревых церковь Спаса на водах в память моряков, погибших в Цусиме, а оттуда опять пешком через весь город — в Александро-Невскую лавру. Теперь, после всего бывшего, невольно радуешься и благодаришь Бога, что Он взял к себе дядю Петрушу до начала того окончательного крушения всего, во что тот верил и чему был беззаветно предан. Не знаю, как бы он пережил февральские дни и месяцы, за ними последовавшие, всего вероятнее, что при первых же обысках солдатня его арестовала, а при его общем слабом здоровье он бы крепости или тюрьмы не пережил.

С Огаревым столько связано в моей жизни, что хочется сказать несколько слов об этом редком человеке. В годы беляницкие — он проводил у нас лето; потом, когда сестры вышли замуж, Боря женился и квартира на набережной стала нам велика, Мама взяла квартиру (на Шпалерной, 42) в доме,

принадлежавшем дяде Петруше, и составляющую продолжение их квартиры; впоследствии была даже пробита дверь между обеими квартирами, и мы заходили к Огаревым по нескольку раз в день.

Отец дяди Петруши был военным артиллерийским генералом, если не ошибаюсь, основателем Путиловского завода, но учился он в правоведении и всю жизнь служил по судебному ведомству, хотя до конца сохранил исключительный интерес к военному делу и, думаю, был бы выдающимся военным. Отличительными его чертами были невероятная аккуратность, абсолютная честность, крайняя добросовестность в отношении к своим обязанностям. Про его честность ходил анекдот, что когда в молодости его канцелярия была в той же квартире и он видел у тети в руках карандаш (казенный!) с его стола, то немедленно покупалась за его счет дюжина карандашей. «Если она взяла один, могла взять и больше...» — было его объяснение. «Петр Николаевич, вы кристалл», — сказал ему его министр, поздравляя с назначением сенатором, и это была не фраза, а действительная истина. Он состоял в Гражданском кассационном департаменте, но за сухой материей исков всегда видел реальные жизненные отношения и подчас, видно было, целый день мучился, стремясь найти юридическую формулировку, позволяющую восстановить справедливость в каком-нибудь сложном деле. Решения свои он всегда старался отлить в краткую, но точную форму, законченную во всех отношениях; «...и хвостик расчесать», — говорил он шутя, желая дать понять, что каждая работа должна быть завершена и закончена до последней подробности. Утреннее мытье... брало у него полтора часа: чистота была одним из его пунктиков. Работал он всегда до поздней ночи, редко ложась раньше 3—4 утра. Правда, и вставал поздно. Монархической идее был предан беззаветно, но никогда не искал близости ко Двору и придворного звания не имел. После гибели старшего сына в Цусиме задался целью создать памятник доблести русского флота и был душой и движущей силой комитета, построившего храм-памятник Спас на водах, ведя непосредственно сам всю переписку и отчетность комитета. Неудачи войны его глубоко в душе ранили. «C'est à pleurer...»[1] — были слова, которые все чаще приходилось от него слышать.

[1] Грустно до слез (*фр.*).

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

На службе — в Переселенческом управлении — начало 1917 года выдвинуло на очередь вопрос о колонизации Русского Севера: в конце 1916 года, преодолев громадные трудности, наши инженеры сумели открыть движение по вновь выстроенной Мурманской железной дороге, пересекли сотни верст совершенно безлюдной местности, но давшей нам выход к незамерзающей гавани в Северном океане, не могущем быть запертым тем или иным противником. Завершение железнодорожного пути ставило, однако, вопрос об экономическом использовании тяготеющих к нему местностей и привлечении в них трудового населения, без которого громадные местные, а рыбные, может быть, и неисследованные тогда еще горные богатства продолжали бы оставаться мертвым, втуне лежащим капиталом. Для начала казалось необходимым объединить деятельность всех местных учреждений и исследовательских партий нашего министерства. Чиркин докладывал этот вопрос Риттиху, и было решено войти в Совет Министров с запиской об учреждении должности уполномоченного по заселению района Мурманской железной дороги. Для придания веса предполагалось присвоить уполномоченному звание члена Совета Министров земледелия (4-й класс должности) и связать с ним все учреждения ведомства в Олонецкой и Архангельской губерниях. В окончательную форму проект Переселенческого управления к моменту революции, впрочем, не отлился, а затем события отодвинули его на задний план, но, помнится, я тогда серьезно готовился лето 1917 года проводить уже в районах, расположенных у Полярного круга, — резкая перемена обстановки для человека, проведшего перед тем три года в Туркестане.

«На прощание» «старый строй» подарил меня еще одной служебной наградой. В конце 1916 года нашему ведомству было разрешено представить вне очереди список лиц, представляемых к наградам в связи с обстоятельствами военного времени. В список был включен и я, и испрошено пожалование мне ордена Владимира 4-й степени, так как у меня еще ни одного ордена и не было, а в таких случаях, при наличии чина статского советника (выслуженного мною в

1916 году), можно было испрашивать сразу или Анну 2-й степени, или даже (в порядке особого отличия) прямо Владимира, который как-то ценился более других. Но, по иронии судьбы, эта награда явилась уже слишком поздно. 25 февраля я получил письмо от управляющего канцелярии министра, что «21 сего февраля Государь Император всемилостивейше соизволил пожаловать» мне этот орден, «о чем будет опубликовано в одном из ближайших номеров “Правительственного Вестника”», но... «Правительственный Вестник» прекратил через день свое существование, а Временное правительство одним из первых своих постановлений решило пожалование за гражданские заслуги орденов и чинов отменить, сохранив эти награды исключительно для военных. Так мое награждение осталось неопубликованным, и мне не пришлось продеть в петличку крестик на Владимирской ленте, о котором, что скрывать, очень мечтал.

Упомяну еще, что, по похожей иронии судьбы, мне ни разу не пришлось надеть большого придворного мундира, который я себе сшил, разорившись на 800 рублей, в предведении Романовских торжеств. Как я уже упомянул, Кривошеин тогда велел мне ехать срочно в Ташкент, и я не попал на торжества; в провинции же «большого придворного мундира» надевать не было принято, а в 1916 году, когда я вернулся в Петербург, «выходов» при дворце больше не делалось. Впрочем, мой мундир использовал несколько раз Ника, так как в Москве — второй столице — большая придворная форма надевалась при молебнах в соборе, а у Ники своего «большого» мундира не было.

Про дни революции и события, непосредственно ей предшествовавшие, было уже столько писано, что ничего нового по этому поводу сказать нельзя.

Упомяну только, что мне случайно довелось быть на последнем заседании Государственной думы в субботу 25 января. В этот день должно было состояться заседание какой-то думской комиссии, на которое я был командирован, но в связи с событиями комиссия не собралась, а я воспользовался случаем пройти в зал общих собраний. Обсуждали проект передачи продовольственного дела на местах в руки общественных организаций, проект, внесенный не правительством, а по инициативе членов Думы. Все речи носили краткий резкий ха-

рактер. От имени правительства выступал Риттих, и выступал бледно, без убежденности, без силы, отстаивая какие-то второстепенные пункты, имевшие сохранить нечто вроде типа власти за губернаторами. Возражал ему, кажется, Шидловский 1-й (Сергей Илиодорович), сказавший, что весь проект и направлен к тому, чтобы отнять у администрации право вмешиваться в это дело. Впечатление было самым тягостным, и когда днем в министерстве Зборовский спросил меня про мое впечатление от заседания и речи Риттиха, я мог сказать только одно: «впечатление полной капитуляции правительства».

Вечером я был в Лицейском клубе. Передавали носившиеся слухи и сплетни. Между прочим помню, что Хвостов (муж Марии Татищевой), приехавший, должно быть, в город в отпуск с фронта, рассказывал (может быть — врал, передаю только для характеристики тогдашних настроений), будто правительство собиралось вызвать в город на случай беспорядков туземную дивизию, но отказалось от этого, так как самый проект вызова этих частей для подавления беспорядков встретил будто бы резкие возражения со стороны офицеров дивизии.

В воскресенье днем были кое-где столкновения толпы с казаками, но в общем еще было спокойно. Днем я был у Этлингеров и помню — ирония судьбы — горячо спорил с Мамантовым (помощником управляющего канцелярией по принятию прошений), защищая целесообразность конституционного строя, он же отстаивал традиционное самодержавие.

В понедельник с утра была слышна стрельба, и я, должно быть, позвонил Чиркину предупредить, что на службу не приду. Занялся дома составлением отчета за 1916 год о деятельности учреждений благотворительного общества Народная помощь, в правление которого почему-то был выбран. И помню, как во время этого занятия мимо окон проехали грузовики с вооруженными людьми (не солдатами), украшенные красными флагами, направляясь к Думе. «Лешечка, что же это будет», — испуганно сказала стоявшая у окна Мама. Мой ответ оказался ошибочным. Я сказал: «Да что, через десять минут услышим пулеметы, и все это хлынет обратно». Но прошло и 10, и больше, а обратного движения грузовиков мы не дождались. Напротив, все новые толпы приливали по Шпа-

лерной в направлении Таврического дворца, и поздно вечером стало известно, что вместо правительства функционирует какой-то комитет Государственной думы, в который входят даже Керенский и Чхеидзе, и который-де сносился со Ставкой по вопросу о сформировании ответственного правительства.

В следующие два дня обстановка заметно ухудшилась. Началось какое-то хождение в Думу восставших частей. Туда же вели мимо наших окон окровавленных городовых и привозили на грузовиках под улюлюкание толпы бывших сановников: как теперь помню, старика Горемыкина, на козлах грузовика рядом с шофером, а сзади десятки разнузданных солдат с винтовками. Раздавались листки Известий Совета рабочих депутатов. Кругом Думы стояла густая толпа; передавались слухи. «А что, есть ответ из Ставки?» — спросил я, обращаясь больше в пространство. «Какое это теперь может иметь значение», — был презрительно-злобный ответ какой-то курсистки. Стало известием, что накануне на митинге Милюков говорил об отречении Государя в пользу Наследника с регентством великого князя Михаила Александровича.

2 (или 3?) марта я пошел в министерство; собрались почти все, но о положении дел никто точно не знал, равно как и о судьбе Риттиха и большинства министров. Вдруг разнесся слух, что в окне «Вечернего времени» на Невском выставлены какие-то телеграммы. Я немедленно пошел туда и действительно прочел краткое оповещение, что Государь отрекся в пользу брата, а последний отказался от власти до решения Учредительного собрания.

Помню смутные ощущения как бы общего крушения всего, и на фоне этого как бы резким диссонансом слова двух дам, отошедших от витрины с телеграммой к окну соседнего магазина: «Посмотри, какие хорошенькие туфли!» Не возвращаясь на службу, я прошел к Шидловским узнать, правда ли сообщенное публике известие. Застал Николая Илиодоровича, вернувшегося из Думы и подтвердившего верность известий.

На следующий день в министерство приехал новый министр — член Временного правительства Шингарев (убитый в январе 1918 года в больнице большевиками-матросами). Узнав, что собрались старшие чины ведомства, он вышел к нам на минуту и сказал очень просто, как бы задумчиво, всего

несколько слов, что в эти жуткие минуты не до речей и он должен просить нас продолжать каждого — свое дело.

Общий вид города в это время уже успокоился, и самочинные аресты, длившиеся в начале революции, быстро прекратились. Оказалось, что Риттих, как и некоторые другие министры, в том числе Борин министр Покровский, благополучно избежали ареста и никто их не тревожил.

В отношении личного состава министерства Временное правительство сочло автоматически уволенными только самих министров и товарищей министра; в отношении же директоров департаментов, а тем более младших служащих вопрос зависел от новых министров. В нашем ведомстве первое время перемен не было вовсе и из директоров ушли только Зборовский и Кошко, которые были на правах товарища министра.

Что касается нашего (то есть ведавшего делами Переселенческого управления) товарища министра Н.В. Грудистова, то его заменил в качестве комиссара Временного правительства член Думы сибиряк Н.С. Волков. Исконный член Переселенческой комиссии, близко знавший нашу деятельность и очень хорошо расположенный ко всему составу переселенческих организаций, Волков явился наилучшим кандидатом из всех, кого мы могли бы при новых условиях желать. Чиркину он вполне доверял, да и вообще предубеждения против чиновников не имел, и когда месяцами двумя спустя выяснился уход управляющего Отделом земельных улучшений Массальского, Волков обещал Чиркину поддержать мою кандидатуру на эту должность (вопрос, впрочем, вскоре отпал, в связи с отставкой Шингарева и заменой его социалистом-революционером Черновым).

На местах переселенческие организации смогли тоже продолжать свою деятельность в прежнем направлении. Больным местом могли оказаться вопросы взаимоотношений переселенцев с киргизами, бывшими владельцами тех земель, из которых были выделены переселенческие участки, но и в этом отношении дело обошлось лучше, чем мы ожидали. И хотя во время оно левая часть Государственной думы всегда принципиально становилась на защиту туземцев и старожилов, ставши у власти, представители этой левой части поняли государственную необходимость защиты правопорядка. Помню, когда

мы с Чиркиным долго обдумывали текст бумаги из министерства на имя Туркестанского комитета (заменившего в Ташкенте генерал-губернатора), в которой настаивали на возвращении всех земель и ущерба крестьянам, пострадавшим от восстания, и оградить их от новых нападений со стороны киргизов, и были приятно удивлены, что этот текст, весьма твердый и настойчивый, не встретил никаких возражений со стороны Шингарева.

Деятельность Переселенческого управления не претерпела, впрочем, серьезных изменений и с появлением в составе Временного правительства нескольких министров-социалистов, заменивших, как говорилось тогда, «министров-капиталистов» (это Шингарев-то, по происхождению земский врач, типичный русский интеллигент, оказался вдруг почему-то представителем «капиталистов»). Министром земледелия стал глава партии социалистов-революционеров Чернов. На этот раз на приеме нового министра собрались все служащие ведомства, кончая курьерами и кухарками буфета служащих, а министр говорил, стоя на столе, о том, что его задача — дать свободно проявиться «народному правительству». Что под этими двумя словами подразумевается, было не вполне ясно, но говорил он несомненно легко, красиво и присутствовавших «младших служащих» (с землей связи в большинстве своем не имевших) как будто увлек за собой. Рукоплескания были дружными и шумными. В дальнейшем, впрочем, Чернов занимался почти исключительно партийной политикой и в текущую работу ведомства не вмешивался, предоставив это вновь назначенному товарищу министра Вихляеву. Позднее, после первого большевистского выступления, было выяснено, что Чернов причастен к «немецким деньгам», и он из министерства ушел. Заменил его член той же партии эсеров (социал-революционеров) Семен Маслов. Этот, кажется, даже приема служащих не устраивал, а может быть, назначение его состоялось во время моего отпуска. Я его, по крайней мере, в глаза не видел, да и Чиркин, кажется, тоже с докладом у него ни разу не был. На наше счастье, нами продолжал ведать на правах товарища министра Волков, и от него мы узнавали про новые веяния и новые планы на верхах. Текущая работа постепенно сводилась к минимуму. Приходилось бывать в совещаниях, вырабатывавших проекты новых законов. Помню ко-

миссию по введению земства в Сибири, запутавшуюся в стремлении, согласно указаниям свыше, распространить земское самоуправление на все без исключения части Азиатской России, не исключая самоедов (?) северной тундры и чисто кочевых племен юга степного края и горных частей Туркестана.

В первые дни после революции начался приток в Петербург людей, потерявших места в связи с переменой строя или вынужденных уехать из деревень, где жизнь становилась подчас слишком тягостной, а иногда и не вполне безопасной. С другой стороны, в столицу хлынули тысячи людей, связанных с новой властью, и квартиры стали цениться чуть ли не на вес золота. Но наряду с этим росла дороговизна, исчезали подчас с рынка продукты и вообще жизненные условия становились хуже. Наконец, сознание, что фронт держится главным образом тем, что немцы, перекинув лучшие части на Западный фронт, воздерживаются до поры до времени от наступления, но может рухнуть в любой момент, открыв неприятелю путь к Петербургу, все это вместе начало постепенно способствовать чувству, что «Петербургу быть пусту» и что лучше загодя из него уехать. Лето 1917 года многие знакомые проводили в Финляндии, где, несмотря на падение курса рубля по отношению к финской марке, жизнь была все же дешевле, а некоторые предметы, как обувь и одежда, чуть не вдвое дешевле против Петербурга.

Начало лета семья Ники проводила в Териоках (в полутора часах езды от Петербурга), и я к ним раза два ездил на воскресенье. Ездил тоже в Выборг, где гостил день или два у Мейендорфов (Бада был призван и служил в Выборгском гарнизоне) и встретил ряд других знакомых.

Мама провела большую часть лета в городе, но в июле было решено, что при первой оказии она уедет к Ребиндерам в Шебекино, где и останется, если можно будет, на всю зиму. Получить плацкарту на один из скоростных поездов, идущих на юг, было, однако, не так просто: места бывали расписаны вперед на две недели, лишь только открывалась на них запись, и Мама уехала временно в Финляндию к дяде Леле Мещерскому (отцу Майки Спешневой), а я стал от времени до времени наведываться на городскую станцию билетов. Раз как-то, в конце месяца, зайдя туда, я узнал, что случайно возвращено

одно место на севастопольский поезд, отходящий через два дня; хотя место было верхнее, я все же решил, что благоразумнее его брать, и в тот же вечер поехал за Мама. Приехал на Красную Мызу уже почти к ночи и на следующее утро вместе с Мама вернулся в Петербург, а через два дня Мама покидала этот город... как оказалось — навсегда.

Я забыл упомянуть о сделанной нами было попытке вывезти из Петербурга часть вещей поценнее, из опасения занятия города немцами. Было это еще в марте, в самом начале революции. В Петербурге тогда гостил и уезжал обратно в Москву, где со времени эвакуации Радома жила его семья, Дима Брянчанинов, и мы с Мама решили послать с ним сундук вещей. Уложили в него меха, шубы, часть вынутых из рамок купленных в свое время моим отцом картин итальянской школы (мадонна с ребенком и портрет дожа, который я очень любил), кой-какие фотографии и серебряные вещи. Сундук был вручен нашему старику лакею Ивану Посадовскому, который должен был его передать на Николаевском вокзале Диме Брянчанинову, чтобы тот его увез как свой багаж. Что в точности случилось на вокзале, объяснить трудно. Там в эти дни была большая сутолока, и старик был видимо затуркан и дал нести сундук не настоящему носильщику, а какому-то солдату и... в толпе потерял его из вида, о чем плача пришел нам доложить.

Я бросился в полицию, в здание бывшего градоначальства. Нашел там в дежурной комнате любезного молодого человека, который сказал, что запишет мое заявление, что у них «сегодня вечером как раз организационное собрание» и что, когда милиция будет окончательно сформирована, будут несомненно приняты все меры к розыску сундука, о котором я говорил.

Нечего и говорить, что о сундуке этом мы больше не слыхали.

Теперь часто удивляются, что никто из нас не принял никаких мер к спасению хотя бы части состояния, ни к ликвидации ценностей и покупке валюты. Но надо помнить, что была война, что покупка валюты была, с одной стороны, и официально воспрещена, и с другой стороны, морально осуждалась как поступок, идущий вразрез с патриотическим долгом.

Что касается имений, то постановлением Временного правительства продажа и залог недвижимостей был воспрещен, а образованные на местах земские комитеты, если не легально, то фактически брали помещичьи хозяйства на учет и не позволяли собственникам извлекать из хозяйства суммы иначе как на нужды самого хозяйства или на текущие потребности оставшихся в деревне владельцев.

Денежный же капитал наш лежал в Государственном банке, и по толкованию юрисконсультом банка духовного завещания моего отца, не мог быть взят оттуда до смерти Мама. При таких условиях в распоряжении Мама были только процентные бумаги, купленные ею со времени смерти Папа, которые она и увезла с собой в Шебекино, а потом за границу.

В начале августа я уезжал в отпуск. Заезжал в Покровское к Шидловским, откуда проехал лошадьми в Шебекино, а оттуда через Полтаву в Снетин. В Полтаве навестил Быковых и услышал подтверждение уже слышанной мной версии о смерти Саши Быкова, моего товарища по Лицею. Он служил товарищем прокурора на юге, кажется в Симферополе, и незадолго перед тем женился на женщине иного круга и, кажется, иных понятий. В день, когда пришло известие об отречении Государя, он ушел к себе и застрелился, оставив записку, в которой говорил, что теперь, когда Государя нет, все кончено, не для чего жить и он уходит. Допускаю, что одной причиной этого решения могло быть различие общего мироощущения его и его жены, как-нибудь резко сказавшееся в момент столь трагический, как получение известия о царском отречении. Но во всяком случае — его решение свидетельствует о способности глубоко чувствовать, которую никто из нас, его товарищей по курсу, при жизни в нем не угадывал. «Дядя Бык» казался всем нам человеком очень славным, глубоко порядочным, но недалеким и уж во всяком случае не «героем». А оказалось...

В Снетине я провел два дня, обсуждая с Протопоповым вопрос восстановления усадьбы — постройки нового сарая для склада табака и кой-каких посадок. Теперь это кажется диким. Думаю, что одним из мотивов могло быть стремление проявить свое хозяйничание к моменту земельной реформы, хотя, собственно говоря, самая возможность отчуж-

дения усадебных земель в то время и в голову не приходила. Возможно, что в глубине души подумывал о возможности в будущем приезжать в Снетин на лето. Больше я в Снетине не бывал и, что сталось с усадьбой при большевиках, не знаю.

Вернулся я в Петербург в конце августа, должно быть, за несколько дней до корниловского восстания, явившегося новым поворотным пунктом в кратковременной истории злосчастного Временного правительства. Последующие недели были уже его агонией.

В это время разрабатывался вопрос о разгрузке Петрограда, ввиду определившейся после падения Риги опасности со стороны фронта и все ухудшающегося, в связи с расстройством транспорта, снабжения столицы продовольствием. Образованная по этому вопросу комиссия высказалась за перевод в провинцию всех учреждений, функционирование которых вне столицы могло бы протекать без ущерба для дела. Многим из наших чиновников мысль заблаговременно унести ноги до беды даже улыбалась, и, если не ошибаюсь, начата была переписка с Челябинском о приспособлении пустовавших из-за войны зданий переселенческого пункта для приема Центрального управления и тех служащих, которых семейные или иные обстоятельства не привязывали непосредственно к Петербургу. Мы знали, что продукты там были дешевы и что переселенческий пункт представляет там своего рода маленькую усадьбу, где перезимовать, казалось, будет неприятно.

СНОВА НА КАВКАЗЕ. БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

Совершенно неожиданно мне пришлось еще раз собраться в служебную поездку на Кавказ. В первых числах октября из Тифлиса пришли известия, что русские поселки на Мугани подвергаются нападениям со стороны татар, и было решено командировать на место комиссию, которая разобралась бы в вызывающих междоусобицу вопросах землепользования и водопользования. Председателем комиссии был назначен профессор Тулайков, почвовед, членами: от Департамента земле-

делия — Шахназаров, уроженец Кавказа, от Отдела сельскохозяйственной статистики — Н.П. Макаров (народный социалист, видный экономист), от Отдела земельных улучшений инженер Кениг и я — от Переселенческого управления. На месте к нам должен был присоединиться представитель Закавказского комитета.

Выехали мы все вместе в прямом тифлисском вагоне; в первый раз я надел видоизмененную форму корпуса лесничих: петлички с ветками, но без перекрывающих их вензелей Павла I (основателя корпуса) и Н. Ехали мы по расписанию скорого поезда, довольно быстро, коротая время в разговорах. Спутники оказались людьми интересными и приятными.

(Между прочим в день отъезда я невольно причинил крупный материальный ущерб бедной Мане Карцевой, которая жила с детьми в Шебекине и, узнав, что я проеду мимо Белгорода, просила меня взять с собой багажом сундук с ее вещами — бельем, шубами и пр. По непростительной рассеянности, привез сундук на вокзал утром в день отъезда и сдал его по моему билету, упустив сказать, что сдаю его только до Белгорода, и спохватился только вечером, когда сундук уже успели отправить почтовым поездом, отходящим днем. В результате сундук отправился в Тифлис, а было известно, что в Ростовском узле значительная часть багажа раскрывается. Так и случилось: сундук никогда не доехал до Тифлиса, и все последующие попытки розыска его остались тщетными.)

В Тифлисе мы всей компанией пошли представляться членам Закавказского комитета, заменившего власть Наместника. В то время на Кавказе все учреждения были построены по принципу коллегиальному, включая трех членов: армянина, грузина и татарина; иногда прибавлялся четвертый — русский, когда первые три явно тянули в разные стороны и дело стопорилось и останавливалось. Представителем комитета был Пападжанов, принимавший нас в том же кабинете и в том же кресле, в котором я год перед тем видел великого князя. Надо, впрочем, отдать справедливость Пападжанову: он был головой выше остальных членов комитета и местные вопросы рассматривал с точки зрения общегосударственной, без предвзятости. Остальные члены комитета были явно деятели масштаба не выше губернского (если не уездного). Прикомандировали к

нам татарина, забыл его фамилию, но юноша был приличный и добронамеренный и при разборе русско-татарских претензий на Мугани проявил полное беспристрастие.

События, последовавшие за возвращением нашей комиссии в Петербург, каюсь, до такой степени заслонили предшествующее, что я при всем желании не могу восстановить в памяти ни точной картины выясненных нами русско-татарских отношений, ни тех мер, которые наша комиссия советовала принять для их урегулирования. Насколько мне кажется, комиссия наша никакого даже доклада о своей поездке не составила: некому было его представлять. Помню смутное впечатление от разговоров с переселенцами: так же, как и мы, они понимали, что власти вообще больше нет, что защищать их со стороны некому и что им нужно самим устанавливать какие-то новые взаимоотношения с окрестными туземцами, мирясь с некоторыми неудобствами, вытекающими из соседства с населением, не вполне еще расставшимся с пережитками кочевого быта.

Назад члены нашей комиссии возвращались почему-то одиночным порядком. Я по дороге заехал в Шебекино, где при мне пришли газеты с известием о большевистском перевороте и с первыми декретами новой власти: об упразднении частной собственности на землю и фабрики, об уничтожении процентных бумаг, о передаче всей власти советам. Все это показалось столь невозможным, что в первую минуту даже не внушило беспокойства за будущее: прочтя газету, пожали плечами и решили, что такая власть больше двух недель удержаться не сможет.

В самом Шебекине еще с весны установился смешанный порядок хозяйствования. Администрация имения осталась на месте, но по вопросам более важным требовалось согласие заводского комитета. Чеки тоже подписывались администрацией, но с визой комитета. В личных расходах владельцев не стесняли, и они по-прежнему покупали за счет имения все, в чем нуждались. Но, думаю, снять крупную сумму для перевода на имя владельцев в другое место комитет бы не разрешил. Помощник Санди — Бронштейн Владимир Исаевич входил в комитет и о всем затем докладывал Санди и Коле Ребиндеру; впрочем — все ли и точно ли — кто скажет?

Проведя в Шебекине несколько дней, я поехал в Петербург (после Петербурга в Москву). Помню, что — зрелище по тем временам необычное — поезд был наполовину пуст. Только что кончилось вооруженное восстание в Москве, и публика еще боялась ехать, не будучи уверена в возможности благополучно пробраться через Московский узел.

В Петербурге внешняя жизнь мало изменилась по сравнению с тем, что было при моем отъезде. Новая власть царила в Смольном, но только постепенно захватывала в свои руки различные части правительственного механизма. Что сталось с министрами, было не вполне ясно. Керенский, переодетый, бежал в Финляндию. Из членов Временного правительства, арестованных при взятии Зимнего дворца, — «министры-капиталисты» были посажены в Петропавловскую крепость, «министры же социалисты» были оставлены на свободе, но к управлению своими ведомствами предпочли не возвращаться. «Управляющим» Министерством земледелия оказался, таким образом, товарищ министра Вихляев, но в здании министерства он не показывался, а требовавшие его утверждения доклады мы передавали, кажется, Волкову, который через третьих лиц доставлял их Вихляеву, и наличие карандашных инициалов на возвращаемых докладах мы считали за признак одобрения предложенных мер.

Фактическое руководство перешло при таких условиях к Союзу служащих министерства, вернее, к его президиуму во главе с Кокоулиным, который входил в состав междуведомственного бюро, охватывавшего аналогичные союзы всех ведомств. В качестве меры противодействия «захватчикам власти» бюро это постановило объявить общую чиновничью забастовку во всех учреждениях, разрешить продолжать лишь работу, строго необходимую для предупреждения общего развала. Для этой текущей работы разрешалось оставлять в каждом департаменте небольшой «рабочий» состав — 3—5 человек (не считая начальника учреждения). Предложения бюро были одобрены на общем собрании всех служащих, которое состоялось под моим председательством. Я счел долгом обратить внимание служащих на несенный ими материальный расход, но под влиянием пламенных ораторов, особенно Тресвятского, предложение о забастовке было принято единогласно. В Переселенческом управлении в «рабочий» состав вклю-

чен был и я, почему продолжал до конца ходить в опустелое здание министерства, подавляющее же большинство служащих оставалось дома, заходя в министерство лишь время от времени узнать, что делается нового; многие, в том числе Вощинин, уехали совсем из Петербурга.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОЕЗДКА В БЕЛЯНИЦЫ

К этому времени относится последняя моя поездка в Беляницы. После Февральской революции там были некоторые недоразумения с селом, но в общем дело обошлось мирно, тем более что, не будучи материально заинтересован в результате хозяйства (Беляницы до конца чистого дохода не давали, если не считать выручки от рубки лесов), наш управляющий Соколов не мешал местному земельному комитету превышать свои полномочия, держать имение на учете, то есть не позволять продажу инвентаря, чего Соколов и не собирался делать. Но большевистские декреты меняли в корне положение, так как лишали помещиков самого права на недвижимое имущество. Что эти декреты не могут быть долговечными — казалось тогда очевидным, и главной задачей казалось предупредить немедленное расхищение имущества отдельными крестьянами; с этой точки зрения нахождение усадьбы «под учетом» у местного комитета представляло даже известные выгоды. Кроме того, возникал вопрос о судьбе оставшихся в Беляницах служащих. Ника в это время был уже с семьей в Ессентуках (на Кавказе), и я решил поехать в Беляницы для выяснения всех могущих возникнуть вопросов.

Стоял уже санный путь. Не помню, вызвал ли я лошадей на станцию, думаю, что нет и что приехал я на наемных. Обратно же меня доставили на полустанок в маленьких санках на одну лошадь; о езде тройкой не могло уже быть и речи.

Остановился я в конторе и ни в дом, ни в кладовые в этот мой приезд не входил, все из того же соображения: не дать местному комитету повода проверять, все ли на месте, и под этим предлогом утащить из дома гораздо больше, чем то немногое, что я мог сам с собой увезти. Скрыть же

посещение мною дома, а особенно каменной кладовой (где был ящик с Ambraser sammbung, собранной моим отцом коллекцией кубков), было бы невозможно: выдали бы меня следы на снегу. И Соколов, и Василий были окончательно сбиты с толку событиями, но на враждебное отношение со стороны Совета не жаловались, и я пошел в Совет не без интереса.

Помещался он в прежнем волостном правлении. Встретили меня очень вежливо, я бы даже сказал предупредительно. На первых порах им, видимо, льстило «быть властью», и они старались произвести впечатление своей «сознательности». Я объяснил, что целью моего приезда является исключительно выяснение вопроса о судьбе служащих имения, а также живущих в усадьбе пансионеров, бывших наших служащих. Что все, о чем я прошу, — это чтобы их оставили в занимаемых ими помещениях, а затем, ввиду крайнего обострения продовольственного положения на общем рынке, чтобы этим служащим и пансионерам было предоставлено по-прежнему получать молоко, муку и прочее довольствие в натуре из запасов хозяйства, хотя бы, если Совет это признает нужным, за плату по справедливой цене. На все это члены Совета заявили полное согласие, обещали никого из комнат и квартир не выгонять, а относительно «Минны Васильевны» заявили, что так как ей 70 лет, то «надо полагать, согласно декрету, даже выйдет ей пенсия от государства».

Покончив с «деловой частью» разговора, перешли к беседе на общие темы. За несколько дней до этого происходили выборы в Учредительное собрание, и члены Совета с гордостью сообщили, что в селе, как, впрочем, и во всей округе, на сходах было постановлено голосовать за список N, то есть за большевиков. На мое возражение, что ведь каждый имеет право за кого хочет, возразили, что это может быть так у вас (чуть ли не сказали «у господ»), у нас — как сход решит, так и должны голосовать. Из этих объяснений стало ясно, почему в деревнях процент поданных голосов почти всегда достигал 100 процентов имевших право голоса.

Ушел я из волости сравнительно успокоенный и вечером уехал, проведя в Беляницах немногим более суток. Увез с собой два каравая черного хлеба и, кажется, масла — все, что

в Петербурге уже начинало делаться редкостью. Не думалось, что уезжаю навсегда; не думал также, что все данные Советом обещания разлетятся скоро, как дым.

Не прошло, кажется, и двух месяцев, как всех наших служащих выгнали из усадьбы и им пришлось владчить бедственную жизнь в Бежецке.

«ИГРА» С НОВОЙ ВЛАСТЬЮ

Но возвращаюсь к Петербургу. Как известно, «чиновничья забастовка» оказалась не в силах сломить большевиков; впрочем, и непосредственной ее задачей тогда ставилось только побудить большевиков созвать Учредительное собрание, выборы в которое уже состоялись, а в результате последних большинство должно было принадлежать в Учредительном собрании не большевикам, а партии эсеров (социалистов-революционеров).

В свое время Временным правительством был даже назначен день созыва Учредительного собрания (в который ему собраться большевики, однако, не дали), и помню, что по этому поводу Союзом служащих было постановлено идти с манифестацией к зданию Государственной думы. Решено было, что и старшие служащие примут участие в шествии. Каюсь, что чувствовал себя довольно глупо, шагая в длинной процессии (участвовали все ведомства), впереди которой несли красные флаги и плакат «Вся власть Учредительному собранию». В нашей группе впереди шли меланхолично члены президиума нашего союза с Кокоулиным, затем чиновники и младшие служащие. Временами последние затягивали, как в то время полагалось, Марсельезу, но выходило недружно и плохо. Я шел рядом с Книзе (директором Департамента земледелия), который был в пальто с бобровым воротником, и мы слышали насмешливые замечания из толпы на тротуаре: «фальшиво поете». Фальшь была, несомненно, не только в музыкальном отношении. Доброй половине манифестирующих, старым петербургским чиновникам, «Учредительное собрание» было абсолютно не интересно; да и в том, чтобы наша манифестация могла на кого-нибудь произвести впечатление, сомневаюсь, чтобы верили и сами ее устроители.

Но... так в то время полагалось делать: флаги, плакаты и пение Марсельезы.

Некоторое как бы движение воды обнаружилось в конце ноября. Большевикам удалось овладеть Государственным банком и Казначейством, так что для получения денег чиновникам пришлось бы вступить так или иначе в контакт с фактической властью (у забастовочного комитета были некоторые средства, но явно недостаточные для выплаты всем служащим жалованья в течение нескольких месяцев). И Совет народных комиссаров решил постепенно начать овладение всеми учреждениями, принявшими участие в забастовке.

Помню, как-то я оставался на службе немного позже других, вдруг услышал шаги в коридоре: в комнату вошел, сопровождаемый любопытными взглядами наших курьеров, незнакомый мне молодой человек в офицерской форме без погон.

«Вот господин помощник начальника управления», — указал на меня один из пришедших курьеров.

Молодой человек подошел и объяснил, что он помощник народного комиссара земледелия, что его фамилия Красильников, что он очень рад познакомиться со мной и надеется на установление взаимного доверия и сотрудничества со стороны всех служащих нашего управления. Я напомнил ему о существовании Союза служащих и о принятом постановлении о забастовке. «Поэтому, — объявил я, — в качестве своего «начальства» вас принять не могу. Но Переселенческое управление всегда работало в тесном общении с общественностью, работы своей никогда ни от кого не скрывало и, наоборот, всегда было радо тем людям, которые обращались к нам за разъяснениями». Поэтому я большой охотой расскажу ему о нашей деятельности, если она его интересует. Он попробовал сослаться на возможность найти среди служащих несколько человек, вполне сочувствующих советской власти, но после моей реплики о невозможности все же повести дело, имея за собой только одного-двух переписчиков да курьеров, не стал настаивать, а сказал, что они надеются на скорую перемену в тактике Союза служащих. В результате я ему предложил прийти опять на следующий день пораньше, когда он застанет Чиркина, с которым ему и естественнее договориться о дальнейших действиях.

Свидание это состоялось. Я на нем не присутствовал, но о результатах его Чиркин рассказал подробно и получил одобрение Волкова о занятой им позиции. Красильников объяснил, что он, как и сам народный комиссар земледелия Калечаев, принадлежит к фракции левых эсеров, которые-де тоже добиваются от составляющих в Совнаркоме большинство большевиков созыва Учредительного собрания. При таких условиях пожелания его фракции совпадают с требованием, предъявленным Союзом чиновников, и, по его впечатлению, цель эта будет в ближайшие дни достигнута, так как и большевики начинают склоняться на созыв Учредительного собрания. Поэтому чиновники, по мнению Красильникова, должны бы прекратить забастовку, причиняющую несомненный вред стране, и спокойно ждать созыва Учредительного собрания. С своей стороны Чиркин предложил меру, сходную с сделанным мною накануне предложением, то есть что он будет держать Красильникова в курсе принимаемых нами мер, но при условии, что тот воздержится от каких-либо проявлений своих полномочий как помощника комиссара. По-видимому, на первых порах такое предложение показалось Калечаеву приемлемым, потому что с его согласия Красильников несколько раз приходил и подолгу беседовал с Чиркиным о положении дел, немножко затрагивая и переселенческие вопросы. Официально мы, правда, продолжали считать своим «начальством» Волкова и Вихляева, но фактически это сделалось чистой фикцией, и даже Волков тоже перестал посещать министерство.

В середине декабря пришлось начать двойную игру. Хотя при первоначальном принятии решения о забастовке, состоявшемся под моим председательством, общее собрание служащих всецело поддержало пламенные выступления некоторых ораторов, клеймивших как малодушие мои напоминания о материальной стороне забастовки для малообеспеченной части служащих — в момент, когда привыкли получать рождественские наградные, высокие соображения были несколько отложены в сторону, и мы прибегли к способу, быть может, не вполне порядочному. Была составлена требовательная ведомость на получение наградных, причем составлена одна ведомость на всех — и старших, и младших служащих, и курьеров, и сторожей, а затем эта требовательная ведомость вручена на руки курьерам: разбирайтесь как знаете. В душе я,

конечно, знал, что курьеры понесут мою ведомость комиссару Главного казначейства, но сделал вид, что этого не понимаю, когда наш старый курьер — вполне, конечно, нам сочувствовавший — принес из Казначейства полную сумму всех наградных.

Впрочем, этим успехом дело и ограничилось. Через несколько дней Красильников заявил Чиркину, что Совет комиссаров видимо потребовал от Калечаева приступления чиновников министерства к работе и что, поскольку созыв Учредительного собрания разрешен и назначен на 5 января 1918 года, дальнейшее продолжение забастовки не имеет под собой оснований. Похоже было, что Красильников искренно желал и искал нашего сотрудничества: по словам Чиркина, он имел огорченный вид, когда Чиркин заявил о невозможности еще идти на соглашение, и расстались они без резкостей. Еще несколькими днями спустя фронт забастовки был прорван со стороны младших служащих — техников — в Отделе земельных улучшений. 29-го, кажется, декабря на дверях здания появилось объявление, что для входа в здание необходимо испрашивать пропуск у товарища Петровского. С этого момента я прекратил хождение на службу.

Сам Петербург за эти месяцы заметно опустел: масса знакомых, особенно же те, у кого были дети, спешили уехать на юг, в Крым или на Северный Кавказ, чтобы избежать неудобств, связанных с трудностью получать и с дороговизной продовольствия, дров, с перерывами в освещении из-за нехватки угля и т.п. Жизнь в Петербурге делалась все труднее и сложнее. Начались ночные грабежи на более пустынных улицах и площадях. Для охраны спокойствия жильцы в больших домах организовали ночные дежурства у запертых ворот дома. У нас в огаревском доме жильцов было немного, и дежурить приходилось, кажется, раз в десять дней.

В гости, однако, ходили, пожалуй, даже чаще обычного. Очень уж неуютно было сидеть дома в одиночестве, в плохо натопленных комнатах после не слишком сытного обеда. Со службы я обычно заходил к Боре и Варусе, которые со времени большевистского переворота поселились в квартире Димы Пушкина на Литейной. Дети их были у Даруси в Киеве.

В это время вернулась из своего отряда Юля из-за невозможной обстановки, создавшейся на фронте, и поселилась в

небольшой квартире на Литейном, 15. Помню, что, чтобы скрасить и отеплить ее комнату, я притащил к ней большой персидский ковер, купленный мной когда-то в Асхабаде, который лежал на Шпалерной свернутым, так как я перебрался осенью в комнаты Огаревых, чтобы не топить нашей квартиры. Заходил еще к Родзиевским и к Плетневым, и почему-то к Марусе Филипповой, где встречался с ее отцом Вонлярлярским. Последний хотел меня привлечь в какую-то организацию, установившую связь с югом. Был разговор о поездке на Дон для передачи поручений Родзянки якобы от имени Покровского (бывшего министра иностранных дел). Но у меня было впечатление, подтвержденное потом Борей, что Покровский никаких полномочий Вонлярлярскому не давал, и я от этого дела уклонился.



1918

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

4 января под вечер мне позвонила Варуся, прося спешно прийти к ним переговорить. Оказалось, пришла телеграмма из Кисловодска, что ее отец при смерти, и Варуся решила поехать туда. Но в условиях железнодорожного сообщения тех дней женщине ехать одной через всю Россию было трудно; вместе с тем Боря не мог оставить тогда Петербург (он поддерживал еще некоторые связи с иностранными посольствами), да и при его слабом здоровье такая поездка могла бы кончиться слишком плохо. Поэтому Боря просил меня поехать с Варусей, на что я с готовностью согласился. Позвонил Чиркину и сказал, что по семейным обстоятельствам вынужден спешно выехать на Кавказ, откуда рассчитываю вернуться недель через шесть (в душе, про себя, подумал — едва ли раньше мая, но не сказал).

Выехать решили на следующее утро и условились, что я приду часам к 10 на Николаевский вокзал. Вечером я укладывался и разбирал бумаги. Ходили слухи, что в дороге часто бывают обыски, поэтому я не решился брать с собой имевшихся у меня процентных бумаг (мои экономии за годы службы — в общем тысяч, кажется, на 15—20) и запрятал их в разные книги своего и огаревского книжных шкафов. Оставил денег на расходы и на жизнь оставшейся у нас горничной Анюты и лег спать поздно ночью. Утром был на вокзале, но оказалось, что до вечера поездов на Москву не предвидится, так что опять вернулся на Шпалерную — не без опасности, так как это был день, назначенный для созыва Учредительного собрания и на улицах были манифестации, разгонявшиеся вы-

стрелами. Днем ко мне на Шпалерную заходила Юля и благословила на дорогу образком. Когда стемнело, я вышел и отправился опять на вокзал (вещи были оставлены с утра у носильщика). Сделал небольшой крюк, чтобы пройти мимо Таврического дворца, ярко освещенного, — шло (оказавшееся единственным) заседание Всероссийского Учредительного собрания. Зашел еще проститься к Родзиевским, изумившимся моему внешнему виду: я был в полушубке и высоких сапогах. На вокзал пришел около 7 часов. Сперва долго стояли на одной платформе, потом прошел слух, что поезд подадут на одну из дальних платформ, и вся толпа потянула туда. Около 9 часов действительно показались вагоны подаваемого поезда, и... началось нечто невообразимое в смысле давки и толкотни. В результате все же и я, и Варуся оказались внутри вагона. В первую минуту Варуся подалась в сторону «наименьшего давления» и оказалась втиснутой в wc, откуда, впрочем, ей удалось потом выбраться и примоститься на краю скамейки у входной двери, место, оказавшееся, однако, не особенно приятным, так как дверь не закрывалась, а при одновременно открытых дверях внешней платформы внутрь вагона наметало снег, и Варуся чуть не проморозила ног. Я был счастливее. Во время моих многолетних железнодорожных странствий я всегда любил верхние места и в данном случае сразу полез наверх. В результате я оказался в «третьем ряду» — то есть на полках для багажа, которые в вагонах III класса были деревянными и почти одной ширины со скамейками для пассажиров. Правда, на двух полках нас было пятеро (в том числе один китаец), но в общем разместились удобно: при моем росте я ухитрился перекинуть ноги через среднее пространство и в такой позе даже недурно спать. Вещи наши оказались при нас — носильщик был молодцом. Пропал только при посадке мой серебряный портсигар, который я имел неосторожность оставить в кармане полушубка. Около 10 часов поезд тронулся и шел сравнительно прилично. К вечеру следующего дня мы уже были в Москве — ехали, значит, всего около 20 часов — где остановились, чтобы выяснить способы дальнейшего следования, Варуся — у А.Д. Оболенского, я — у Брянчаниновых.

Дальнейший путь оказался, против ожиданий, со всеми удобствами. Нашелся толковый носильщик, который за срав-

нительно умеренную сумму (кажется, 800 рублей) взялся посадить нас с Варусей в вагон Международного общества (Wagons Lits), идущий из Москвы в Туапсе, и сумел это сделать. Насколько знаю, это был последний международный состав, ушедший из Москвы в кавказском направлении. Но что было особенно ценно, это что с Рязанского вокзала отошли в день почти один за другим два поезда, из которых наш был вторым. Благодаря этому сотни пассажиров, скопившихся на станциях в ожидании поезда, брали атакой и заполняли до отказа первый поезд; наш же состав шел сравнительно свободным, а получившие от нас хорошие чаевые забравшиеся в вагон немногочисленные красноармейцы защищали вход в него от людей, пытавшихся проникнуть на промежуточных станциях. Общее волнение вызвал вопрос, удастся ли благополучно проехать станцию Чертково, где начинался район не признававшего советской власти Дона, — но, постояв на этой станции минут 20, поезд пошел дальше. Надо сказать, что профессиональный союз железнодорожников «ВИКЖЕЛЬ» объявил своего рода нейтралитет между враждующими сторонами, чем и объяснялось непонятное на первый взгляд явление, что поезд мог беспрепятственно переходить через линии воюющих между собой фронтов. Иногда, правда, пассажиры подвергались обыскам и подозрительные чем-либо лица снимались с поезда производившими обыск солдатами, но поезд свободно пускался дальше. Благодаря этой неразберихе властей мы добрались до Ростова. Здесь мы стояли довольно долго: Ростов — крупный железнодорожный узел, где паровозы всегда менялись. Разнесся слух, что состав дальше вообще не пойдет, но кто-то из пассажиров надоумил устроить складчину в пользу машиниста. Собрали много: не то 10, не то даже 35 тысяч рублей, и... машинист согласился везти поезд дальше, притом, так как оказалось, что все пассажиры держат путь не на Туапсе, а на Кисловодск, то машинист согласился без новой доплаты изменить первоначальное направление поезда и доставить нас в Кисловодск.

За Доном начиналась Кубань — житница России, и мы, выехавшие из голодавшей уже Великороссии, с жадностью набрасывались на станциях на продававшиеся в изобилии и по дешевой цене караваи чудного белого хлеба, жареные цыплята и прочую живность. Здесь советской власти еще не было,

и только на больших узловых станциях хозяйничали местные советы солдатских депутатов, вернее, группы солдатни, возвращавшейся с незадолго перед тем рухнувшего Кавказского фронта.

До Минеральных Вод мы добрались без всяких инцидентов. Варуся приехала в Кисловодск (не застав, впрочем, уже отца в живых: он скончался в этот же день в 9 утра, а мы приехали в 4 дня, на руках у ухаживавшей за ним Кати Урусовой — впоследствии вышедшей замуж за Димика). Я же остановился в Ессентуках, где жили в большой даче общим хозяйством семьи Ники и Маши Трубецкой. В Ессентуках же жили тогда Ламсдорфы, Маня Фельдман, Машенька Конич и многочисленные другие знакомые из Петербурга и Москвы.

Жизнь была довольно странная. Работы ни у кого не было, и время проходило в хождении друг к другу, прогулках по Ессентукам, чтении короткой газеты, выходившей, кажется, в Пятигорске, и собирании и передавании слухов. Точных сведений, в сущности, ни у кого не было: столичные газеты доходили в виде исключения с людьми, приезжавшими с севера (после нас с Варусей никому больше не удавалось ехать с удобствами; большинство добиралось с трудом в битком набитых теплушках).

Ессентуки напоминали глухую провинцию; напротив, Кисловодск был полон петербуржцев и москвичей. Темп жизни там был гораздо более живым. Начинали уже спекулировать, покупая и перепродавая дома и ценности. У нас рассказывали, что живший в Кисловодске Олег Дубасов заработал 30 000 на перепродаже купленного им по приезде дома. Ставшее нам теперь столь знакомым и общеизвестным явление падения стоимости денег и роста всех цен было тогда внове и вызывало изумление. Появились разного рода «местные» деньги, выпускаемые банком, так как настоящих денежных знаков при росте цен, естественно, не хватало.

В смысле политическом группа Минеральных Вод подчинялась «Терско-Дагестанскому Временному правительству», поддерживавшему кое-какие отношения с Кубанской радой и с Донским кругом. Были еще какие-то более мелкие горские правительства. Помню, в местной газете появилось письмо одного из таких горских представителей, который заявлял о

своем согласии принять участие «в мирной конференции» (не помню уж с кем именно), но при условии, чтобы эта конференция состоялась в помещении такой-то мельницы, а не на верху холма, так как он стар и не хочет простудиться из-за холодного ветра (!). По ту сторону хребта действовало, по слухам, грузинское правительство. Что делалось в Баку, точно не знали. Борис Зейме, состоявший в дирекции нефтепромышленных предприятий, решил туда поехать, какой-то носильщик обещал за 15 000 рублей посадить его в вагон на станции Минеральные Воды.

Я лично проводил много времени в прогулках, пилил дрова, отсыпался и отъедался; сравнительно мало курил, но зато много щелкал семечек (занятие, почему-то широко распространившееся среди беженцев из Петербурга, хотя, казалось бы, оно должно было именно нам быть противным по воспоминаниям о солдатне, начавшей лузгать семечки после Февральской революции; думаю, в основе лежала потребность организма в жирах, которых из-за сравнительной дороговизны масла стало меньше в нашей обычной еде). В результате я сильно пополнел и достиг веса в 4,5 пуда (72 кило), которого не имел со времени окончания Лицея.

После 40-го дня по Михаилу Михайловичу Варуся стала собираться обратно в Петербург. Я решил к ней присоединиться на начало пути и свернуть затем на Шебекино. Ехали мы сравнительно благополучно, и через станцию Армавир, где хозяйничали демобилизованные солдаты Кавказской армии, проехали благополучно и без задержки. То же — в Ростове. В Лисках мы с Варусей расстались: она поехала в Старо-Ивановку посмотреть, что там делается и нельзя ли что спасти. Я свернул на запад и без затруднений добрался до Ребиндеров.

В ШЕБЕКИНЕ: РАССТРЕЛ РЕБИНДЕРОВ

Общее положение в Шебекине было довольно тревожным. В материальном отношении владельцы имения особенно стеснены не были. Продукты из запасов имения отпускались в мере потребности, кроме молока, которое было ограничено, так как его получали бесплатно все служащие имения. В деньгах

на личные расходы также хозяев не стесняли, и в усадьбе продолжали жить многочисленные родственники и свойственники: в доме Санди — кроме Мама и меня, еще Маня Карцева с девочками, у Николая Александровича — старуха Кутайсова с двумя сыновьями, у Мансуровых — М. Толстой с двумя мальчиками кадетами.

В смысле «власти» — имелось в Шебекине два органа, с настроениями которых приходилось считаться: заводской комитет и сельский совет. Первый из них — председателем которого был Голобко, один из старых служащих экономий, — относился к владельцам с известным сочувствием. В сельском совете — чисто крестьянском — преобладали настроения, Ребиндерам, скорее, враждебные. Но поскольку вопросы каждодневной жизни входили, скорее, в компетенцию заводского комитета, общая обстановка была более или менее приемлема, и хотя жили со дня на день, но думалось — «образуется».

Сам Санди еще с начала революции отошел от управления делами, всецело доверив их своему помощнику Владимиру Исаевичу Бронштейну, которому и оба брата, и Мара Мансурова доверяли, казалось, вполне. Вынужденное состояние без дела очень тяжело отзывалось на настроении Санди, видящего притом постепенный развал и разрушение созданного им громадного предприятия. Он был невероятно мрачен; будущность семьи представлялось ему совершенно безотрадной. Особенно как-то болезненно представлял он себе, что его любимец, младший Миша, будет «голодать», и он както чуть не взял с меня слово, что я до этого не допущу. (Ему казалось, что я смогу продолжать работать и при новых условиях.)

Недели через две после моего приезда стали все более настойчиво приходить слухи, что немецкая армия по какимто причинам возобновила наступление и постепенно оккупирует Украину. Газеты, по-моему, об этом молчали, но ряд косвенных признаков свидетельствовал, что какая-то сила действительно приближается в направлении к Белгороду, кроме же немцев, другой силы быть не могло. Наконец и белгородские «власти» перестали отрицать наступление немцев. Оставалось неизвестным, какие цели ставит себе наступающая армия и докуда предполагает она идти; про то, что

немцев позвала на Украину вытесненная большевиками из Киева Украинская рада (точнее, ее правительство), мы не знали.

Ребиндеры были всегда поклонниками немецкой деловитости и честности; неудивительно, что слухи о приближении немецких войск воспринимались ими в душе с радостью. Им казалось несомненным, что немцы не могут не водворить порядка, что жизнь снова станет переносимой и безопасной, что можно будет начать восстанавливать хозяйство. Горечь военного поражения отступала на задний план: с приходом немцев можно было надеяться снова мочь свободно дышать. Разумеется, при посторонних об этом не говорили, но среди своих разговор нередко принимал тяжелую форму: мы с Мама тогда еще не примирились с мыслью о неизбежности мира с Германией, и мысль встречаться с немцами и «под немцами» казалась нам тогда позорной и недопустимой.

Отошла первая неделя поста. В доме Николая Александровича была домовая церковь и служил иеромонах, присланный из ближнего монастыря. (Косвенный показатель ненормальности создавшихся отношений. Николай Александрович был ктитором шебекинской церкви и десятки лет читал там на клиросе псалмы.) Многие говели, в том числе Николай Александрович.

Что касается меня, то на пребывание в Шебекине я смотрел как на временное и тотчас по приезде написал Соне в Москву, прося ее выяснить с Вощининым (с которым она познакомилась через Вишневскую), что делается в Переселенческом управлении. Оказалось, что чиновничья забастовка кончилась, но что ввиду невозможности обеспечить продовольствием Петроград все центральные учреждения переведены в Москву, куда и я могу, если хочу, приехать. Я был в некоторой нерешительности, стоит ли пытаться возобновлять службу в министерстве, но на всякий случай написал Соне, прося выслать мне пропуск на въезд в Москву, без которого в то время никто в новую столицу не допускался, — и стал ждать ответа.

Прошла еще неделя или две. Началось движение через Белгород отступающих большевистских отрядов. (Регулярных частей в Красной армии тогда не было; да и само название «Красной армии» тогда только появилось вместо

термина «красная гвардия» или «отряд товарища такого-то».) Увы, появились и признаки, что «власти» начали интересоваться и вопросом «благонадежности» оставшихся в усадьбах помещиков. В Шебекино два раза приезжали какие-то лица из Белгорода, созывали митинги и укоряли местное население, что они терпят на свободе Ребиндеров. Крестьяне слушали эти речи охотно, но заводские служащие и на этот раз не поддались, но постановили оставить все по-старому.

Наступил апрель (по новому стилю, который был введен большевиками в начале 1918 года). Я все не получал пропуска, а вместе с тем сидение в Шебекине начинало делаться тягостным. С другой стороны, после неудачи белгородских агитаторов на шебекинском митинге положение Ребиндеров стало казаться более обеспеченным и безопасным. (Теперь часто себя спрашиваю, почему Ребиндеры не уехали в Харьков. Странно сказать, первоначальная причина была опасение продовольственных затруднений, как достать в городе хорошее молоко для детей, — и теснота бывшей у них в Харькове квартиры. В последнее время прибавилось опасение быть арестованными в пути в каком-нибудь селе, где не будет защиты со стороны сравнительно расположенного к ним заводского комитета. Проехать же незамеченными казалось неосуществимым — в округе их все знали и организовали бы слежку.)

Кажется 1 или 2 апреля я почему-то решил не дожидаться более все не приходившего «пропуска» и ехать наудачу. Поезд на Белгород проходил через ближайшую к Шебекино станцию Нежеголь утром, и я поехал на станцию. Оказалось, однако, что поезд сильно опаздывал и едва ли придет раньше вечера. Сидеть на станции мне не хотелось, и я вернулся домой, решив, что «не судьба». Вечером видел Николая Александровича, который, узнав о моей неудачной поездке, сказал: «Ну и слава богу, мне вообще кажется, что вам лучше не уезжать».

Наступило злополучное 4 апреля. Утром передавали, что на хутор при заводе приехали какие-то красноармейцы и реквизировали сена и кормов, которые послали на ребиндеровских подводах в Волчанск (уездный город), а сами пошли с хутора в сельский совет.

Днем принесли почту и в том числе на мое имя открытку, где за подписью Вощинина и с приложением казенной печати удостоверялось, что служащему Переселенческого управления Народного комиссариата земледелия Татищеву разрешается въезд в Москву. Я решил ехать и, пойдя на почту, отправил Соне телеграмму: «пропуск получил, постараюсь приехать, если удастся» (ходили слухи, что Белгород уже эвакуируется). Отправив эту телеграмму, я пошел домой и, к моему удивлению, увидел перед домом Николая Александровича пять верховых красноармейцев и небольшую толпу взволнованных служащих.

Оказалось, что солдаты, бывшие утром на хуторе, явились в усадьбу и заявили, что начальником отряда товарищем <...> (забыл фамилию, кажется, Лисовский) им поручено доставить на станцию Нежеголь «для проверки документов» владельцев, а именно (прочли по записной книжке) Ребиндера Николая Александровича, Александра Александровича, Мансурова Николая Николаевича, бывшего генерала Кутайсова и... Тельпа (Тельп был старшим бухгалтером имения, женатым на сестре нянюшки Варусиных детей).

Надо сказать, что в то время вызов «к властям» «для проверки документов» проходил часто и удивления не вызывал. Обычно эти вызовы использовались для вымогательства: под угрозой ареста — требовали денег или подписи чеков. В данном случае Ребиндеры уже давно не могли подписывать чеков без согласия заводского комитета. Поэтому тут же на месте было решено, что вместе с вызванными поедут два члена заводского комитета, которые и объяснят, что Ребиндеры своими деньгами не распоряжаются и всякое требование с них денег шло бы к ущербу «народного достояния». В существовании же самого отряда товарища «Лисовского» как-то никто вообще не усомнился и не позвонил на станцию, выяснить, в чем дело. Велели кучерам запрягать. Подали три коляски, четвертая поехала за Тельпом на его квартиру. (Почему в списке значился Тельп, так и осталось непонятным; политикой он не занимался и в имении занимал чисто техническую роль бухгалтера Шебекинского товарищества — акционерного общества, эксплуатировавшего Шебекино как имение. Одно из объяснений, что красноармейцы записали в своей книжке слово «Толстой», но столь неразборчиво, что

прочесть не могли, а кто-нибудь, не зная в чем дело, мог подсказать слово «Тельп».)

В первую коляску сел Санди с братом (потом рассказывали, будто Николай Александрович чувствовал, что поедет на смерть, и надел чистую рубашку). Имея в руках только что полученное удостоверение из Москвы и являясь, следовательно, официально «советским служащим», не рискующим быть, в свою очередь, арестованным, я решил ехать вместе с Санди, что называется «на всякий случай», и хотел сесть на козлы. Странная случайность, или воля Божия помогла мне не сесть в первый экипаж. В Ребиндеровой коляске кучер сидел, на английский манер, на дополнительной подушке, привинчиваемой к козлам. Чтобы дать и мне место, кучеру надо было передвинуть эту подушку вправо, что он и хотел сделать, но гайка оказалась туго завинченной и не поддавалась. Тогда я сказал Санди: «Ничего, я сяду в задний экипаж», — и пошел к третьей коляске, где должны были ехать члены заводского комитета — люди, как и я, худые, так что мы могли втроем усесться в ряд.

Кучера тронули, и мы все выехали из усадьбы, окруженные красноармейцами. Но лишь только наша (задняя) коляска оказалась за воротами, как к нам подъехал один из солдат и крикнул: «Вас не вызывали, вертайте назад». Голобко стал объяснять, что они члены комитета, но тот решительно заехал перед лошадьми и сказал: «все равно вас на станцию не пустят; распоряжения нет»

Считая, что происходит недоразумение, члены комитета решили позвонить по телефону на станцию и зашли в какое-то помещение на площади, где был аппарат. Ответ был самый неожиданный: никакого отряда товарища Лисовского на станции нет. Тут только заподозрили неладное и позвонили в Волчанск в уездный совет. Ответили, что отряд товарища Лисовского, кажется, накануне был на станции, но что никаких распоряжений о вызове или аресте Ребиндеров совет не отдавал. Добавили: «если эти красногвардейцы к нам их доставят, мы их освободим, но зря вы их так, без мандата, дали увезти».

Полные беспокойства, мы с членами заводского комитета отправились в усадьбу, и вот тут выяснилось, что худшее произошло. Не доезжая верст полутора до станции, на опуш-

ке соснового леска красногвардейцы велели кучерам остановиться, а всем сидевшим в колясках — выходить и всех их застрелили. После этого велели кучерам шагом ехать домой и, вернувшись, передать, что ехать на место убийства запрещается, а сами карьером помчались по направлению к Волчанску.

Трудно передать, что происходило в последующие часы. Естественное стремление поехать на место преступления встретилось с невозможностью достать лошадей из-за запрета, наложенного «штабом Шебекинской красной гвардии». Помню противного вида юнца, пришедшего к нам в дом с вызывающим видом: «что за контрреволюция, приказано не двигаться, так сидите дома». На мое напоминание, что ведь Ребиндеры, может быть, не убиты, а только ранены, ответ: «Не беспокойтесь, убиты». С Сашей (сыном Николая Александровича) сделался нервный припадок. Мансурова же вместе с дочерью и ее гувернанткой куда-то исчезли (потом оказалось, что они переночевали у лесника и на следующий день перебрались на поезде в Белгород).

Нечего и говорить, что о сне не думали. Под утро Катя пришла ко мне и сказала, что она хочет ехать на место убийства. Удалось убедить одного из трех кучеров запрячь экипаж, но когда мы ехали против сахарного завода, бодрствовавший, несмотря на ранний час, караул нас остановил и заставил повернуть обратно.

Начался второй день. Часть служащих ушла из дома. Бронштейн не показывался. Видно было, что нас начинают бояться.

Около двух часов дня позвонили из совета и велели передать родственникам, что совет постановил похоронить убитых на месте, что могила вырыта и что вроде разрешается приехать со священником.

Мы поехали в двух экипажах. Кроме Кати и священника, ехали еще Маня Карцева и я. В последнюю минуту Мама, по какому-то наитию, сунула мне в руку пять больших простынь прикрыть покойников. Когда поехали, я соскочил первым и пошел вперед, покрывая тела простынями, чтобы Катя их не видела. Стреляли, видимо, в голову, отчего кровь залила всем лица. Потом, когда их, видимо, грабили люди, подошедшие из Шебекина, и поворачивали тела по песчаному грунту, кровь

смешалась с песком и сделала лица неузнаваемыми. Набрасывая простыни, я называл покойников (скорее по общему облику, чем по лицу), и Катя припала к телу бедного Санди, целуя не закрытую простыней руку. Священник хотел начать отпевание, но кругом в толпе закричали: «чего там, нашего на фронте не отпевали, вали так в яму». Пришлось подчиниться. Я попросил помочь мне опустить тела в могилу. После некоторой заминки вызвались помочь двое служащих. Первых трех — менее тяжелых — мне подавали, и я укладывал их на дно ямы. Но Санди и Николай Александрович были слишком грузны, и нам пришлось поневоле их сбросить вниз на уже лежавшие тела. Потом начали закапывать. Тут еще несколько человек стали нам помогать, и яма быстро заполнилась. Между тем в толпе начали слышаться резкие замечания, и какая-то женщина, подойдя к Мане Карцевой, сказала: «уезжайте скорее», — что мы и сделали.

Вечер прошел в тягостном молчании. Надо было решать, что делать дальше и куда уезжать. Под Белгородом шли, по слухам, бои. В Волчанск надо было ехать через завод мимо сельского совета, и значит, отъезд не мог пройти незамеченным. Был еще проект ехать в Корочу (уездный город, расположенный не на железной дороге, а в глуши, что казалось преимуществом). Дорога туда шла не через завод, но ходил слух, что в 10 верстах от Шебекина снесло мост через реку, так что и этот проект был отброшен. (К счастью, так как Короча так и осталась в пределах Совдепии и, кроме того, после образования вблизи Корочи фронтовой линии, в этом городе произошли зверские избиения помещиков и других лиц.)

В результате было решено, что лучшим исходом все же является Волчанск и что я на следующее утро отправлюсь в сельский совет официально просить разрешения уехать из Шебекина семьям убитых. Вместе со мной поехал гувернер детей Николая Александровича — Михаил Иванович Гуревич.

В совете нас приняли очень корректно и охотно согласились дать разрешение на отъезд. С запиской совета на имя кучеров я вернулся домой, и начали готовиться к отъезду. В Волчанске было решено остановиться: семье Кати у Александры Васильевны Колокольцевой, жены скрывшегося тогда пред-

седателя земской управы (годом спустя она была расстреляна большевиками — человек удивительно сердечный и вместе с тем большого ума — кажется, она была из сельских учительниц), а детям Николая Александровича — у доктора Коншина, вместе с женой очень преданного семье Ребиндеров. Сомнение вызвало: брать ли с собой Мишу. В Волчанске предполагалось жить полускрываясь; между тем Миша, начинавший уже говорить, мог выдать. Поэтому решили на время отдать его няне, крестьянке одного из ближайших сел, которая унесла его с собой к своим родным.

Уехали мы в тот же день и были очень ласково приняты в Волчанске. О том, что делалось в Шебекине, мы не знали. Телефонное сообщение было для частных разговоров прекращено. Телеграф, впрочем, действовал, и помню, что, приехав в Волчанск, я послал телеграмму Соне о происшедшем, которая, как потом выяснилось, благополучно до нее дошла. Через Волчанск шло отступление красногвардейских отрядов, и по поведению местных большевиков видно было, что они себя чувствуют непрочно.

Дней через пять я решил пройти в Шебекино (13 верст). Наш дом имел опустелый вид, и я прошел прямо в дом, где жили учительницы. Оказалось, что в дом приходили грабить, что Мама поселилась у директора реального училища и что общее положение продолжает оставаться невыясненным. Чтобы не волновать Мама, я к ней не пошел, а, переночевав у учительниц, рано утром отправился обратно в Волчанск. Вместе со мной пошла Ольга Григорьевна (гувернантка Катиных детей). Помню, что на мосту нам встретился один из шебекинских красногвардейцев, что нам не понравилось: мы хотели пройти незамеченными. На полдороге к Волчанску вдруг слышим за собой топот скачущих лошадей. Откровенно говоря, на сердце екнуло: думали — погоня. Через минуту с нами поравнялся тот самый юнец, которого мы встретили на мосту; Ольга Григорьевна что-то у него спросила про Шебекино, и к нашему удивлению он что-то забормотал: «да я разве что... да...» — и, хлестнув лошадь, помчался вперед. Похоже было, что он нас боялся больше, чем мы его. Впоследствии оказалось, что в это утро немецкие передовые отряды уже подходили к Шебекину: днем завод был уже ими занят, а администрация имения вступила опять в свои права.

До Волчанска эти сведения дошли, впрочем, только через сутки. Немцы продвигались сравнительно медленно, тем более что они приблизились уже к границам намеченного к оккупации пространства. Заняв Белгород как железнодорожный узел, они дальше в пределы Курской губернии не пошли. Короча осталась в Совдепии.

Дня через три, когда выяснилось, что в Шебекине водворился порядок, было решено вернуться. Поселились мы, однако, в доме Николая Александровича. Дом Санди слишком пострадал при налете. Тотчас по приезде решили приступить к переносу тел убитых. Вызвались помочь санитары немецкого отряда; гробы изготовили в заводской мастерской и на подводах повезли к месту убийства. Меня просили тоже поехать, чтобы вспомнить, в каком порядке клались покойники: боялись, что началось разложение. Я приехал, впрочем, несколько позже, но оказалось, что тления не было никакого, наоборот, обмытые санитарами лица были совершенно спокойны: смерть, видимо, наступила мгновенно. К сожалению, пострадали лица Мансурова и Кутайсова, оказавшиеся под другими; поэтому мы решили закрыть все гробы тут же на месте и закрытыми везти их в Шебекино.

Процессия — каждый гроб на отдельной подводе — медленно потянулась к Шебекину, где ожидали их семьи; был свежий, но ясный вечер, и как-то запомнился мне вид этих подвод на фоне заходящего солнца. Гробы внесли в шебекинскую церковь, где они заняли всю середину. Ночью мы по очереди дежурили и читали псалмы.

Отпевание состоялось на следующий день. Церковь была сравнительно полна, но исключительно служащими, и тягостно было видеть, что почти никто из шебекинских крестьян не пришел отдать последний долг людям, всю жизнь прожившим среди них и так много, в сущности, для всей округи сделавшим. (Чего окрестные крестьяне, видимо, никогда не могли простить Ребиндерам, это политику Санди покупать каждый клочок земли, продававшийся в округе, и арендовать все, что можно было, у соседних помещиков. Будучи чудным хозяином, Санди не колеблясь платил за землю дороже, чем предлагали крестьяне, и в результате, начав в молодости хозяйничать на 7000 десятинах, Санди к моменту революции ввел в оборот шебекинского хозяйства, включая земли им арендуемые, чуть

не 30 000 десятин, — но тем самым, несомненно, вызвал чувство озлобления среди крестьян, видевших, как одно помещичье имение за другим ускользает от возможности покупки или аренды.)

Похороны эти состоялись, кажется, или в Лазареву субботу, или в начале Страстной. Отпевал причт шебекинской церкви (где Николай Александрович был ктитором), но на следующие службы Страстной и к заутрене мы ходили снова в домовую церковь большого дома.

Довольно тягостно встал в эти дни вопрос о взаимоотношениях с немцами. Старуха Кутайсова, Мизи и дети Николая Александровича стали с первого же дня на почву полного и всецелого признания немцев как избавителей и всячески приглашали начальника местного отряда. Более сложное чувство испытывали мы, не будучи в силах отрешиться от чувств, что немец враг, с которым мы четыре года вели войну, в которую вложили все силы. Вместе с тем нельзя было отрицать, что если мы опять спокойно живем в Шебекине, а не чувствуем себя травимыми, как волки, и не скрываемся больше в чужом доме в Волчанске, — то всем этим мы обязаны приходу немцев. Кроме того, справедливость требовала признать, что в вопросе похорон немцы были чрезвычайно предупредительны и корректны. Поэтому, поговорив с Катей и Мама, мы решили, что я пойду в Батуловку (?), где жил командир части, расквартированной в Шебекине, чтобы от имени Кати выразить ему искреннюю признательность за проявленное к нам отношение, — но тем пока что и ограничиться, то есть не заговаривать о его приезде с визитом. Так я и сделал. Офицер был очень любезен, но, видимо, понял, что встреча с былым противником нам в душе тягостна, и в Шебекино к Кате не приезжал.

Понемногу стали приходить известия и газеты из украинской столицы — Киева, и тут мы опять начали становиться в тупик. Приход немцев был всеми понят как праздник окончания развала, водворения на местах порядка и начала продуктивной работы. Между тем по газетам выходило, что в Киеве продолжает оставаться у власти социалистическое правительство, нисколько не отказавшееся от своей аграрной программы, ведущей к упразднению частной собственности, и продолжающее своими посулами поддерживать в народе бро-

жение. Ненормальность этого положения была настолько ясна, что никто не удивился, когда через неделю или две пришли газеты с известиями о происшедшем в Киеве — явно с благословения немцев — перевороте. Съезд «хлеборобов» (мелких земельных собственников) провозгласил власть гетмана и избрал таковым бывшего командира конного полка Скоропадского. Члены Рады и ее правительства частью были арестованы, частью скрылись и покинули Киев. Новая власть, поддержанная немцами, овладела положением без кровопролития и провозгласила решительный отказ от социалистических экспериментов.

КИЕВСКИЕ ПЕРИПЕТИИ

Мне в Шебекине не сиделось. Вопрос о возобновлении службы в Переселенческом управлении явно отпал после катастрофы 4 апреля и прекращения сношений между Украиной и Совдепией. Мысль поступить на государственную службу в Украине мне в голову тогда не приходила, но, насколько помню, я подумывал о частной службе и решил поехать «для ориентировки» в Киев, где не сомневался, что найду много знакомых. Ехал я через Полтаву, где навестил Быковых и жившую там с осени 1917 года тетю Мэри Мещерскую. Поезда в Киев из Полтавы ходили довольно регулярно, но в составе теплушек и очень медленно, так как в некоторых местах мосты были разрушены и поезд шел по временным деревянным настилам.

В Киеве я провел дня три, остановившись у Даруси на Институтской. Видел из бывших сослуживцев — Гаврилова и Шлегеля, которые советовали приехать опять через месяц-два, когда новый строй немного утрясется и можно будет рассчитывать на развитие экономической жизни, а следовательно, и на большую легкость найти где-нибудь достаточно оплаченное занятие. Так я и решил сделать и, простившись с Дарусей, отправился, помню, на вокзал.

Лишний раз пришлось убедиться, от каких случайностей зависит иногда судьба человека. На вокзале оказалось, что поезд отойдет позднее, чем я думал, и что в моем распоряжении еще два-три часа. Вокзал был полуразрушенный; возвра-

щаться в город к Дарусе не имело смысла: дорога туда и назад взяла бы почти все время. Решил просто побродить по окрестностям вокзала и, увидя проходящий трамвай, сел в него. Тут почему-то вспомнилось, что из былых сослуживцев я не видел Романова, адрес которого я, однако, знал. Спросил у соседа — не знает ли он, в какой части Киева Обсерваторный переулок. «Да вот — первая остановка». Я обрадовался и, к удивлению кондуктора, только что продавшего мне билет, слез на остановке и через пять минут звонил у квартиры Романова.

Владимир Федорович мне искренне обрадовался; на вопрос, что он делает, сказал, что официально занят еще ликвидацией дел Управления главноуполномоченного Красного Креста Юго-Западного фронта, но что накануне получил неожиданное для него предложение стать помощником у его знакомого Гижицкого, который в новом гетманском правительстве числился державным секретарем (должность, совмещающая функции государственного секретаря и управляющего делами Совета Министров в Белой России). Дело в том, что мать Владимира Федоровича была довольно известной малороссийской писательницей, да и сам Романов детство и молодость провел в Киеве, так что являлся «украинцем», хотя, насколько помню, сам в деревне не живал и потому по-малороссийски не говорил.

«Так вот, Алексей Алексеевич, знаете, давайте опять вместе служить, — закончил Владимир Федорович свой рассказ. — Увидим, что это за правительство. Ну а придется погибать, будем вместе погибать», — добавил он шутя.

Ничего определенного он мне, впрочем, обещать не мог, так как и его собственное назначение еще не было оформлено, ни каких-либо штатов центральных учреждений выработано не было. Поэтому дело ограничилось пока тем, что Романов записал мой адрес и угостил чаем, после чего я отправился опять на вокзал и поехал обратно в Шебекино.

В Шебекине — к моему изумлению — была пустота. Оказалось, что через день или два после моего отъезда среди прислуги начали ходить панические слухи. Будто бы крестьяне села замышляют повторить погром, но на этот раз с тем, чтобы «самое гнездо вывести». Откуда пошел этот слух — установить не удалось, но настроение стало столь

тягостным, что, посоветовавшись, решили всем Ребиндерам усадьбу покинуть и переехать в Харьков, что и было чуть ли не в один день выполнено. «Дальние» родственники — Карцевы и Толстые, впрочем, в Шебекине остались, но старуха Кутайсова с обоими внуками и уцелевшим полунормальным сыном, а также Катя с детьми и с Мама — уехали. Первые водворились в Харькове в комнатах громадного Дворянского пансиона (покойный Николай Александрович был харьковским губернским предводителем дворянства), Катя же со своими временно устроилась на квартире неких Хазацких — очень симпатичной еврейской семьи, искренне преданных Санди Ребиндеру, который снимал у них вообще часть их квартиры, где и останавливался во время своих поездок по делам в Харьков. Старик Хазацкий был, кажется, маклером на сахарной бирже, а один из сыновей — недурным доктором.

В дальнейшем Катя наняла довольно большую квартиру на Мироносицкой улице, где поселилась и Мама. При детях были Ольга Григорьевна, англичанка miss Atkins и Мишина няня.

В Шебекине мне делать было нечего и я, кажется, в тот же день уехал тоже в Харьков, к Кате, написав на всякий случай Романову о перемене адреса.

Несколькими днями спустя на мое имя пришла телеграмма за подписью державного секретаря Кистяковского с предложением должности секретаря Совета Министров. Я тотчас ответил согласием и, не теряя времени, простился с Мама и Катей и уехал в Киев.

Остановившись опять у Даруси и получив ее согласие взять меня в число своих «пансионеров» (она занимала большой особняк с чудным садом, принадлежавший одному из киевских Бродских, кажется Лазарю), я отправился на Крещатик (главная улица Киева), где в помещении бывшей гостиницы «Версаль» обосновалась Державная канцелярия.

Оказалось, что со дня нашего свидания с Романовым в составе правительства произошли перемены, и Гижицкий, видимо, отнюдь не подготовленный для предназначавшейся ему роли, уступил место известному московскому адвокату, но родом киевлянину, — Игорю Кистяковскому. Последний оставил, впрочем, в силе предложение, сделанное Романову, и не возражал

против моего назначения, но имел и своих кандидатов на роль помощника секретаря, разрешил вопрос просто: учреждением двух должностей помощников и двух — секретарей Совета Министров, тем более что работы предвиделось достаточно много.

Кистяковский встретил меня вполне любезно, после чего Романов познакомил меня со вторым помощником державного секретаря милейшим Николаем Михайловичем Могилянским, с моим коллегой В.Ф. Дитятиным и с двумя директорами департаментов, унаследованными еще от генерального секретаря Украинской рады, — Володковским и Гаевским. Тут же был изготовлен для подписи гетманом (должность предполагалась IV класса) указ, гласивший, что «Призначаеться Секретарем Ради Міністрів — Олексій Олексиіович Татищев». Дата — 25 травня (мая) 1918 року (года).

Вечером того же дня я отправился вместе с Романовым и Дитятиным в заседание Совета Министров Украинской державы, сменившей Украинскую народную республику. Заседания происходили в гетманском дворце (Будинок пана гетмана) — бывшем доме генерал-губернатора. Из членов правительства я знал кажется только троих: премьера Ф.А. Лизогуба (бывшего председателя Полтавской земской управы); министра продовольствия Ю.Ю. Соколовского (бывшего полтавского агронома) и Колокольцева (волчанского председателя Земской управы, жена которого приютила Катю с детьми после шебекинского убийства). Остальные были главным образом киевляне, в том числе из «щирых» (ярых националистов) Д.Д. Дорошенко — министр «закордонных справ» (иностранных дел).

Заседания Совета начинались поздно. К назначенному часу — 8 часов — почти никого не бывало; постепенно подходили отдельные министры, и по-настоящему обсуждение дел редко начиналось раньше 9½, затягиваясь обычно до часу ночи, а подчас при обсуждении бурных вопросов длилось до рассвета. Помню одно заседание, когда разошлись в пятом часу утра. Попытка секретариата установить программу заседаний и перечень дел, подлежащих обсуждению, сталкивалась с обилием непредвиденных заявлений «вне программы» по «вопросам дня», по которым начинались бесконечные прения. Сказывалось также отсутствие в Киеве хорошо

налаженного бюрократического аппарата, снабжающего начальников ведомств «справками» по вопросам, подлежащим рассмотрению в Совете Министров. В итоге прения не сводились, как в Петербурге, к обсуждению лишь спорных пунктов, вызвавших в предварительных стадиях разногласия между ведомствами, но Совет нередко обсуждал в полном составе — статью за статьей — длинные законопроекты. Помню, например, как осенью Совет потратил ряд заседаний, читая постатейно длинный Устав о воинской повинности (который, к слову сказать, так никогда и не был введен в жизнь).

В дальнейшем мы с Дитятиным распределили между собой обязанности; я взял на себя делопроизводство так называемой малой рады министерства, которая в составе товарищей министров (или заменявших их директоров департаментов) обсуждала законопроекты, не имевшие принципиального значения, главным образом об отпуске средств на непредусмотренные надобности. При отсутствии бюджета таких законопроектов было множество. К сожалению, по той же причине — недоверие министров к своему чиновному аппарату — постановления малого совета вступали в силу не сами собой, а лишь по одобрении их большим советом, что требовало вторичного их доклада; чтобы облегчить это оформление «вермишели» в большом совете, я заготавливал периодически краткие реестры дел, одобренных малой радой, но первоначальная надежда, что удастся добиваться их утверждения «без прений» или только по пунктам, вызвавшим в малой раде разногласия, оказалась напрасной. Министры не успевали просмотреть реестры до заседания и требовали, чтобы я докладывал подряд все постановления, принятые малой радой.

Все же скажу, что эта работа давала мне известное удовлетворение и гораздо более привлекала меня, нежели работа бедного Дитятина, который просиживал ночи в заседаниях большого совета, ведшихся крайне безалаберно и, в сущности, малопродуктивно. Тогда как в моем ведении была мелкая работа по удовлетворению разных нужд текущего дня, из которых слагается каждодневная жизнь государства; в этой работе моя роль сводилась к оформлению дел, справках о прецедентах и т.п. Заседания малой рады

происходили, кажется, два раза в неделю и бывали строго деловыми. Председательствовал в них С. В. Завадский, бывший вначале товарищем министра юстиции. Впоследствии он заменил Кистяковского в должности державного секретаря, после чего председательствование в малой раде, насколько помню, перешло к товарищу министра продовольствия, моему сослуживцу по Переселенческому управлению Н.А. Гаврилову.

Говоря о киевском периоде моей жизни и службы, нельзя не коснуться хотя бы вкратце тех основных вопросов, вокруг которых велись в то время горячие споры: вопрос об общей нашей ориентации и вопрос о независимости Украинского государства.

Первый вопрос, впрочем, до известной степени был уже предрешен самой жизнью: гетманство было провозглашено в городе, оккупированном немецкими войсками, с согласия и благословения немецкого командования, разочаровавшегося в деловых способностях социалистических министров Украинской рады, которая месяцем перед тем сама позвала немцев спасать Украину от большевиков. Естественно, что при этих условиях о прежних союзниках и о верности обязательствам, принятым Россией при объявлении войны в 1914 году, говорить не приходилось. Но наряду с этим во многих кругах крепло и искреннее убеждение, что в орбите Германии России легче будет окрепнуть и преодолеть заразу большевизма. Наконец, много было людей, которые не могли отрицать, что самой жизнью своей и возможностью вернуться в свои дома они обязаны исключительно приходу германской армии. (Я уже упоминал выше о том смешанном чувстве — национального унижения и одновременно почти животной радости личной наконец безопасности, — которые мы испытали в Волчанске при виде вступившего в город немецкого отряда.)

Надо вообще отдать справедливость оккупационным войскам Германии (гораздо менее тактично вели себя, по общему отзыву, в сфере их оккупации власти австрийские — Херсонщина и Екатеринославщина), что вели они себя с большим достоинством и выдержкою и по возможности старались уклоняться от прямого вмешательства во взаимные распри между отдельными группами населения (во что, грустно

сознаться, их усиленно старались втянуть некоторые помещики).

При всем том отношения киевского общества и должностных кругов с немцами ограничивались чисто официальными, и за все лето я, например, не встретил таковых ни в одном частном доме. Был, кажется, впрочем, раут в здании Городской думы (или Купеческого общества) в день Петра и Павла (именины гетмана), где я впервые увидел немецкого посланника Мумма и австрийского — пресловутого Форгача, одного из инициаторов войны. Некоторое исключение составляли 2—3 семьи, носившиеся с графом Альенслебеном (флигель-адъютантом Вильгельма, командированным состоять на каких-то особых основаниях при гетмане), но и в данном случае это объяснялось отчасти личным шармом Альенслебена, отчасти же теми — не оправдавшимися впоследствии — иллюзиями, будто немцы ведут только с большевиками двойную игру, а в действительности имеют целью восстановление монархии и единой России.

Да и сами немцы не стремились, видимо, завязывать связи с местным обществом и держались очень настороженно. Большая часть Липок (нагорный квартал города, где жила киевская знать и богачи) была с самого начала выделена в квартал расквартирования германских властей и оцеплена рогатками, за которые немецкие часовые пропускали только лиц, имевших особые пропуска от комендатуры. Эти меры не помешали, впрочем, покушению, сделанному русским эсером Донским на германского фельдмаршала Эйхгорна, после чего надзор сделался еще более строгим и из оцепленного квартала были выселены почти все его обитатели, кроме людей, лично известных немецким властям.

С другой стороны, как рассказывали, в провинции, а особенно в деревне, отношения русских с немцами слагались гораздо проще, и случаи вполне дружеских отношений были чрезвычайно распространены.

Гораздо острее и болезненнее для русского национального самолюбия ставился другой больной вопрос внутренней политики Украины — о ее самобытности и государственном бытии, независимом от остальной России.

В этом отношении германское правительство продолжало политику Украинской рады, провозгласившей в 1917 году

сперва автономию, а затем, после большевистского переворота, полную независимость Украины. Но в составе Рады было действительно много украинских шовинистов с революционным прошлым, которые свою ненависть к царскому правительству перенесли и на все вообще идущее из Петербурга или центра единой России, и искренно хотели строить новое государство — «Вільну Вкраину», силами одних настоящих «щирых» украинцев. Между тем для правительства гетмана лозунг «самостийной Украины» был, скорее, оппортунистическим ходом, дающим теоретическое обоснование отделению малороссийских губерний от остальной России, подпавшей под власть большевиков. Было и практическое соображение: подчеркивая свою преданность националистической идее, правительство думало привлечь на свою сторону те довольно многочисленные кадры низшей, преимущественно сельской интеллигенции (учителя, служащие кооперативов и т.п.), которые иначе оказались бы в рядах непримиримых противников, особенно при той недемократической позиции, которую это правительство заняло в вопросах социальных, в частности же — земельном.

Но возвещение лозунга требовало и соответственных действий. И как часто бывает, человек, решивший по тем или иным соображениям играть какую-либо роль, не вполне совпадающую с его действительными взглядами и настроениями, начинает «переигрывать». То же случилось и с гетманским правительством.

За единственным, может быть, исключением (Д.Д. Дорошенко) первый гетманский кабинет состоял всецело из людей общерусской культуры. Малороссийское происхождение части министров и долголетняя связанность с Киевом других не мешали тому, что все их миросозерцание было общерусским, а не специфически украинским. Но вступив, так сказать, в должность «украинского министра», они стремились вести себя так, как должен был себя, по их мнению, вести украинский националист, и постепенно работая над строительством новой «державы», проникались психологией своей новой должности, забывая или стараясь забыть о привычках и традициях предыдущей своей жизни и деятельности.

До известной степени эта позиция могла быть оправдываема. Украина имела свою многовековую историю и куль-

туру, и поощрение последней после пренебрежительного к ней отношения петербургского периода было только разумным и целесообразным. К сожалению, в стремлении проводить украинизацию и в отталкивании от всего, напоминающего традиции былого имперского единства, и сам гетман, и его министры нередко переступали границы допустимого и достойного.

Сюда относится, например, речь, произнесенная Скоропадским на Всеукраинском съезде народных учителей. Речь эта была, очевидно, составлена кем-либо из украинских шовинистов (сам гетман по-украински говорил не свободно) и прочтена гетманом на съезде; в ней говорилось буквально о «200-річном (двухсотлетнем) ярме Московщины», угнетавшем-де живые силы украинского народа.

Лично у меня осталось очень тягостное воспоминание о двух заседаниях Совета Министров (большого), где были затронуты вопросы, серьезные исключительно с точки зрения национального шовинизма.

Первое было в начале июня: незадолго перед тем состоялся съезд украинского духовенства для выбора Киевского митрополита на место убитого большевиками владыки Владимира. Не помню теперь, чью кандидатуру поддерживало правительство (в душе мечтавшее о постепенном переходе к автокефалии), но на съезде большинство голосов получил Харьковский митрополит Антоний (Храповицкий), наиболее яркий представитель общерусской тенденции. Гетманское правительство, недовольное таким оборотом, долго не давало никакого ответа и не сообщало о своем признании состоявшихся выборов. Между тем Антоний решил вступить в управление своей новой епархией, и стало известным, что на следующее утро он прибывает в Киев и, очевидно, в первый же день приедет с визитом к гетману. Министр исповеданий (грустно писать, что это был Василий Васильевич Зеньковский) стоял на том, что гетман должен ему отказать в приеме, и часть министров явно ему сочувствовала. Прения сильно затянулись, и в результате уже под утро вопрос был поставлен на голосование. Результат получился довольно неожиданный: голоса поделились пополам при трех воздержавшихся (католик, протестант и еврей). Теоретически голос председателя (за отказ в приеме) давал перевес, но Лизогуб

явно сознавал неудобство такого «большинства» и стал настаивать, чтобы и иноверцы высказали свою точку зрения. На что министр финансов Ржепецкий с некоторым раздражением заявил, что он не понимает, как можно не принять архиерея, если он к вам приедет, — после чего все как-то поняли, что они «переиграли». Кистяковский придумал, правда, способ «спасти лицо». После свидания гетмана с митрополитом в газетах было помещено сообщение, что «пан гетман принял такого-то числа Харьковского митрополита Антония». Уловка, оказавшаяся, впрочем, неудачной, так как через день появилось в русских газетах интервью с владыкой, разъяснявшим, что по каноническим правилам он иначе как в качестве Киевского митрополита приехать в Киев себе бы не позволил, о чем гетману, вероятно, известно. На том дело и кончилось; правительство примирилось с совершившимся фактом и в церкви гетманского дворца стали, как и в других киевских церквах, поминать Антония как «Господина нашего». (Патриарха поминали как «Великого Господина» без добавления слова «нашего».)

Другой случай был вызван событием более печальным. Пришла весть о екатеринбургском убийстве, и Зеньковский поднял вопрос о том, что нельзя допустить панихиды, где бы убитый Государь поминался своим прежним титулом (да и что вообще служение особо торжественных панихид неудобно). Прения опять обострились, кто-то даже подал мысль о формуле «о боярине Николае». В результате решили, что, несмотря на поздний час (около 11 вечера), Зеньковский тут же из заседания поедет к митрополиту условиться о форме поминания. Вернулся он через час несколько сконфуженным: митрополит отказался входить в обсуждение формулы, так как он сам умеет служить панихиду и не нуждается для этого в указаниях Совета Министров.

Панихида состоялась на следующий день в Софийском соборе, переполненном толпой со свечами: многие плакали. Владыка сказал прочувствованное слово, упомянув между прочим, что «не сыны Украины совершили это злодеяние». Государя, однако, почему-то поминал как «Благочестивейшего Императора Российского Н.А.». Ни гетмана, ни кого-либо из членов правительства на панихиде, увы, не было. Говорили, будто гетман служил в домовой церкви панихиду, на ко-

торую были приглашены «бывшие в свите». Правда ли, не знаю.

Но если такие поводы «большого порядка» в жизни встречались редко, то неудобством «каждодневным» являлось сохранение гетманским правительством в силе постановлений Украинской рады о признании украинского языка — «мовы» как единственного государственного языка в Украине.

По вопросу об «украинской мове» было много говорено и пролито немало чернил. Противники ее утверждали, что это язык «выдуманный» австрийскими профессорами из галичан и что полтавскому крестьянину он совершенно непонятен и что с языком Шевченко он имеет весьма мало общего. Думаю, что эти возражения не вполне справедливы. «Украинская мова», о которой в этих спорах шла речь, была языком правительственных канцелярий; но ведь и язык наших петербургских канцелярий был мало понятен пермскому мужику, а тяжелые его обороты всегда осмеивались в русской литературе. Дело, однако, в том, что народный говор Малороссии, несомненно, сильно рознится от народного говора Великороссии, и поскольку язык литературный и язык юридически-административный любой страны представляют в известной мере результат творческого развития и приспособления местного народного говора к потребностям усложнившейся жизни и культурных понятий, постольку и «украинская мова» представляет собою административный язык, возникший на почве местного наречия в областях, где отсутствовало подавляющее влияние успевшего ранее развиться административного языка петербургских и московских канцелярий, то есть в былой Польше и в современной нам Галиции. Мне приходилось читать официальные акты малороссийских учреждений XVIII века, и должен сказать, что языком они больше напоминали мне «украинскую мову», чем современные им акты петербургских коллегий. О большей же близости полтавского народного говора к галичанскому, нежели, скажем, к соседнему с ним курскому, спорить, думаю, не будет никто.

Поэтому я не стал бы никогда принципиально отрицать прав «украинской мовы» как литературно-административного языка, соответствующего духу и корням малороссийской речи. Ошибкой, однако, было признание его единствен-

ным государственным языком Украины, тогда как для значительной, и притом вполне культурной, части его населения эта «мова» была действительно совершенно непонятной, так как эта часть населения — горожане, а затем значительная часть крестьян в Херсонщине — с малороссийским наречием, господствующим в селах, вообще знакома не была. Кроме того, было, разумеется, бессмысленным создавать на малороссийской основе новые слова технического характера, вместо того чтобы сохранить всем известные термины из языка русского.

Фактически — господствовала неразбериха. В некоторых министерствах в приемных висели плакаты «Порахають балакати на державний мові», но фактически не мешали, конечно, говорить по-русски. Писали же, вставляя в русские фразы отдельные малороссийские слова.

Серьезно, кажется, относились к этому вопросу только у нас в Державной канцелярии, где подобрались «специалисты», следившие за правильностью и чистотой языка на официальных актах и поминутно обращавшиеся за справками к толстому словарю украинского языка Очіенко. Неудобством было то, что опубликование новых, одобренных правительством законов этим сильно задерживалось. Директор Департамента законодавчих справ (дел) Володковский изнемогал от количества валившейся на него работы, но из самолюбия не хотел допускать опубликования текстов, грешивших в смысле правильности оборотов или употребления слов, неизвестных словарю Очіенки.

Лично я с вопросом языка справился довольно легко. Как ни странно, из всего секретариата Рады Министров (нас было, как я уже говорил, два секретаря и два помощника секретаря) я был наиболее знающим практически малороссийский язык. Начало этому знакомству было положено еще в детские годы в Полтаве, в дальнейшем же приходилось много говорить с переселенцами, среди которых преобладали выходцы из малороссийских губерний. Кроме того, большинство дел, проходивших через Малую раду, были стереотипными законопроектами об отпуске средств, так что журналы этого собрания я обычно писал прямо на «мове». В тех же сравнительно редких случаях, когда приходилось излагать мнения членов Малой рады по вопросам более сложного характера, я составлял

журнал по-русски, но для успокоения совести украинерствующих членов надписывал сверху слово «пересклад» (перевод), объясняя с серьезным видом, что это для удобства рассмотрения дела в большом совете, в котором, все знали, прения ведутся по-русски.

Действительно, из первого состава гетманского правительства добрая часть по-украински не понимала вовсе. Помню только один случай, когда в заседание был приглашен представитель Всеукраинского союза народных учителей, сделавший доклад о нуждах народного образования, и после этого доклада с пламенной речью по-украински, поддерживая пожелания доклада, выступил Д.Д. Дорошенко (министр иностранных дел). Демагогический характер этого выступления был столь ясен, что после речи Дорошенки никто больше слова не просил и, когда представитель учительского союза удалился, Совет спокойно перешел к деловой программе по-русски, и только некоторые министры с улыбкой покачивали головой.

Положение несколько изменилось, когда осенью Скоропадский, кажется, под давлением немцев (в Германии обнаружилось к этому времени движение политики влево) изменил состав кабинета, введя в него четырех представителей украинских националистов (при сохранении премьером Лизогуба).

Эти новые министры начали в заседаниях Совета говорить по-украински, к явному неудовольствию ряда коллег из прежнего состава. Помню забавный эпизод, происшедший в заседании, где председательствовал вместо случайно отсутствующего Лизогуба Ржепецкий (министр финансов). Рассматривался какой-то законопроект, текст которого был напечатан в докладе на обоих языках, причем, как обычно, обсуждению подвергался русский текст. Один из министров-«националистов», кажется Леонтович (брат наших снетинских соседей), выразил довольно справедливое недоумение, почему из двух параллельных текстов не обсуждается тот, который будет иметь силу закона, на что Ржепецкий раздраженно заметил: «Надо же хоть нам понимать, что мы утверждаем». Остальные «украинцы» смолчали, и прежний порядок остался в силе, только прения шли в дальнейшем на двух языках.

Другую язвительную реплику пришлось выслушать от того же Ржепецкого представителю Министерства шляхів (путей сообщения). Испрашивался кредит (сравнительно небольшой) на издание украинского словаря железнодорожных терминов. Министерство финансов, как водится, возражало против непредусмотренного сметой расхода. Товарищ министра, отстаивая свой доклад, сослался на громадные убытки, получающиеся из-за того, что служащие часто не понимают даваемых им на украинском языке приказаний: бывали-де даже крушения. Ржепецкий невозмутимо спросил: «А не проще ли отдавать эти приказания по-русски?» Все улыбнулись, но так как кредит был небольшой, то Ржепецкий добавил, что он в конце концов не возражает.

Министерство торговли и промышленности, которому более чем другим приходилось иметь дело с кругами, не знакомыми с местным крестьянским говором, сделало как-то попытку «контрабандным путем» ввести в обиход двуязычие. Через малую раду был проведен законопроект об отпуске средств на издание этим ведомством своего периодического органа, причем было высказано пожелание, чтобы в «неофициальной» части этого органа помещались новые переводы на русский язык вновь появляющихся законов и распоряжений правительства. Через малую раду, которая рассматривала проекты с точки зрения их целесообразности, это новшество удалось протащить легко — но при докладе мною дела в большом совете против него заявил veto не кто иной, как Кистяковский: он обратил внимание совета, что этим путем была бы пробита брешь в одном из основных пунктов правительственной программы, и пожелание Малой рады было отклонено.

Приведу еще случай, характерный для облика Владимира Федоровича Романова. Положение товарища державного секретаря при Кистяковском, взглядов которого он во многом не разделял, ему стало скоро в тягость, и он предпринял шаги к тому, чтобы попасть в состав намеченного тогда к созданию украинского Сената. Кандидатура его была охотно поддержана министром юстиции, и Романов был включен в список первых сенаторов, подлежавший после предварительного утверждения гетманом одобрению Советом Министров. Неожиданно возникло затруднение. По проекту закона, судопро-

изводство в Сенате должно было идти на украинском языке. Поскольку фактически большинство намеченных сенаторов этого языка не понимало, Чубинский решил ограничиться обещанием новых сенаторов заняться изучением этого языка после назначения, не скрывая, что смотрит на это обещание как на простую формальность. Но Романов был слишком прямолинейным человеком и, узнав об этом требовании, написал Чубинскому письмо, прося снять его кандидатуру, так как не имеет намерения заняться изучением этого языка. Надо отдать справедливость Совету Министров, что он не нашел возможным вычеркнуть Романова из уже представленного ему списка, и Романов оказался единственным сенатором «без обещания». Конечно, некоторую роль могло играть то соображение, что Романова, сына украинской писательницы, которой «украинцы» очень гордились, было как-то неловко устранять за отрицательное отношение к «государственному» языку.

Я уже упоминал, что первое время я жил у Даруси. В дальнейшем она, однако, переехала в квартиру, меньшую по объему, в доме Наврозова на той же Институтской улице, но повыше, как раз против дворца гетмана, и мне пришлось найти себе кров в другом месте. Как чиновнику мне полагалась квартира по отводу, и комендатура города (украинская) отвела мне две комнаты на углу Крещатика и Николаевской. Комнаты эти представляли собой часть конторы какого-то еврея-спекулянта, и в смысле мебели имелись только большой кожаный диван, письменный стол и несколько кресел. Но так как у меня была походная кровать и комната была нужна мне только для ночлега, а спекулянту — только днем, то мы установили к обоюдному удовлетворению полный condominium. То есть я спал на походной кровати, скрытой днем от взоров посетителей спинкой дивана, и уходил в 10 утра, когда появлялся хозяин и вступал в полное обладание всей квартирой, так как возвращался я самое раннее в 11 вечера, а обычно гораздо позднее — по окончании заседаний. Комнату мою убирал и чистил сапоги и одежду Мойша, обслуживавший квартиру и приходивший в 9 утра. Столовался же я по-прежнему у Даруси и у ней же проводил обычно и вечера, забегая подчас через улицу из заседаний Совета, которые, как я уже говорил, происходили в гетманском дворце.

У самого гетмана я не бывал и был только ему представлен во время одного из первых заседаний (в Петербурге я с ним как-то не встречался, так как был гораздо моложе его, здесь же знакомиться не очень тянуло, так как его линия резкого шовинизма мне была антипатична). К тому же работы было больше чем вдоволь, так что я вообще мало где бывал тогда с визитами. Заходил иногда к Вете Пушкиной, был несколько раз у Гали, но этот флирт, начавшийся и оборвавшийся еще в Петербурге, как-то не возобновился. Одной из причин сидения дома была и некоторая денежная стесненность. Кругом шел безудержный разгул, поддерживаемый, с одной стороны, спекулянтами, с другой — помещиками, продававшими по высоким ценам и урожай, и просто скот и инвентарь. У меня же было только жалованье, правда довольно приличное, но далеко не поспевавшее за дороговизной и во всяком случае не позволявшее ходить в рестораны. Доходы же неслужебные в то время уже или прекратились (процентные бумаги), или при обесценении рубля свелись почти к нулю и едва покрывали расходы Мама (имения наши были в аренде, а покупательная стоимость рубля едва составляла в 1918 году 10 процентов довоенной, соответственно упала, значит, и реальная доходность имений).

Впрочем, об этой невозможности кутить я как-то тогда особенно не жалел. День весь был занят службой, а вечера — поскольку не было заседаний Малой рады или интересующих меня прений в большом совете — я даже предпочитал проводить со своими. Надо сказать, что в середине лета из «Большевизии» постепенно стали выбираться последние оставшиеся там родные и знакомые. Приехал брат Боря, и почти одновременно Варуся с матерью (дети их провели часть лета с детьми Горчановыми в Одессе и затем тоже вернулись в Киев). Позднее приехала через Киев и затем направилась в Шебекино Соня (Брянчанинова) с детьми (Дима пробрался в Харьков через Курск). Приехали еще Игнатьевы, старик Куломзин и многие другие, которых ходил навещать и расспрашивать про жизнь в Петербурге.

В смысле служебном мое положение оставалось в течение лета без перемен. Осенью под давлением немцев, которые хотели придать и украинской политике соответственно принятому ими в Берлине более «левый» курс, гетман, как я

уже упоминал, видоизменил кабинет. Одной из перемен был уход Кистяковского как слишком «правого» в смысле политики социальной. В должности державного секретаря его заменил Завадский, с которым я работал уже в Малой раде. Почти одновременно состоялось назначение в Сенат Романова, на место которого был назначен Володковский, о чем мне с долгими оговорками сообщил Завадский, стараясь объяснить, что при принятом новом курсе «на национальные элементы» он не мог поддерживать моей кандидатуры, хотя по служебному стажу я, конечно, старше Володковского. Я его успокоил, сказав, что вполне отдаю себе отчет в обстановке. Должен сознаться, что о возможности моего назначения товарищем Державного секретаря я даже не думал и вполне удовлетворялся своей чисто технической ролью. (В кругах украинских приглашаемые из Петербурга чиновники — специалисты своего дела, заполнявшие в Киеве все министерства, назывались полупрезрительно-полузавистливо специалистами-«фаховцями з Московщины».)

В общем жизнь текла спокойно, и о происходивших в крае разрозненных сельских восстаниях говорилось мало. Военная цензура не пропускала в газеты сведений, не благоприятных германской армии, и последняя нам казалась верно приближающейся к конечному успеху. К такому же выводу пришел — если верить его словам и рассказу в Совете Министров — и ездивший (кажется в августе) в Берлин Скоропадский. По его словам, Германия сильна, как никогда, и все слухи о недоедании населения и недовольстве — миф. После этой поездки в витринах появилась фотография гетмана вдвоем с Вильгельмом, и гетмана стали титуловать «Светлостью» (до поездки официальная формула была «Ясновельможный»).

Катастрофа разразилась почти неожиданно, когда пришли известия о прорыве македонского фронта, а через несколько дней определилась и неизбежность крушения германской мощи на западе.

Гетманскому правительству надо было менять курс и приспосабливать свою политику к предполагаемым взглядам Антанты.

Последнее выразилось в смене почти всего кабинета и опубликовании манифеста, в котором говорилось, что судьба

и развитие Украины не могут быть мыслимы вне тесной связи с великой, свободной от большевиков Россией; не помню точно слова, но смысл был ясен: это была ориентация на *Россию*, и, должно сказать, что при чтении этого манифеста с души свалился тяжелый камень, лежавший незаметным, но тяжелым гнетом в течение целого полугода. Увы, мы не думали, что этот манифест окажется одновременно и камнем преткновения гетманского режима.

Премьером был назначен Гербель (бывший в Петербурге начальником Главного управления местного хозяйства, а потом членом Государственного совета). министром внутренних дел — опять Кистяковский (!), переставший говорить об украинизации, иностранных дел — бывший управляющий киевским отделением Госбанка, очень симпатичный старик чисто русского мироощущения. Украинцы-националисты, входившие во второй гетманский кабинет, и Д.Д. Дорошенко остались за флагом.

Но кабинету этому не было суждено заняться проведением в жизнь возвещенной гетманом новой политики. Украинские националисты (ряды коих незадолго перед тем пополнились выпущенными из тюрьмы по настояниям немцев Петлюрой и его сподвижниками) не сочли себя побежденными, а решили, наоборот, сыграть на карту демократизма и попытаться — умалчивая о том, что именно они пригласили в свое время немцев на Украину, — привлечь на свою сторону симпатии новых победителей против гетмана — «ставленника Германии».

Не прошло и трех дней с появления манифеста о «новом курсе», как мы узнали о вспыхнувшем в Белой Церкви восстании против гетмана. Во главе восставших образовалась Директория из ярых националистов-украинцев. Председателем был украинский писатель Винниченко, но наиболее деятельным членом и действительно яркой личностью — Петлюра. Выбор Белой Церкви как исходного пункта восстания имел свои основания: здесь были крупнейшие склады военного имущества, а в уезде было много недовольных на почве бывшего летом и жестоко подавленного при помощи германских войск крестьянского восстания. Необходимо особенно подчеркнуть роль в восстании украинских военных. Военное министерство во все время гетманства было наибо-

лее шовинистическим. Одной из причин было то, что это ведомство сохранило почти неприкосновенными свои кадры времен Украинской рады и насчитывало в своих рядах много галичан.

В этом отношении не могла не сказаться слабость гетманского режима, не сумевшего (быть может, не смогшего) создать преданной ему вооруженной силы. Основным препятствием являлось, видимо, противодействие немцев, не желавших видеть появления в оккупированной ими стране независимой от них военной силы. Должен сказать, что до последней минуты я не отдавал себе ясного отчета в отсутствии у гетмана реальной собственной силы, так как существовали довольно многочисленные штабы дивизий, но в которых не было нужных чинов, так как прежняя армия демобилизовалась, а первый призыв в новую должен был состояться зимой 1918/19 года на основании закона, только в самом конце рассмотренного Советом Министров. Были, наконец, в Киеве тысячи бывших офицеров русской армии, которым периодически выплачивались какие-то пособия (чтобы дать им возможность не умереть с голода), но к использованию которых в качестве вооруженной силы никаких мер не предпринималось.

Большой, впрочем, вопрос, поддавалась ли вообще эта масса аморфная былого офицерства возможности какой-либо организации: подавляющее большинство ее составляли прапорщики запаса, оставшиеся без дела после крушения фронта, но не движимые никаким новым лозунгом и, во всяком случае, менее всего склонные бороться за сохранение власти гетмана

Оставалась одна надежда: на иностранцев, в первую очередь, на наличные силы немцев, во-вторых — на более чем проблематичную помощь Антанты. Нам, сидящим в Киеве, казалось невероятным, чтобы победоносные союзники не пожелали послать какие-нибудь три дивизии (по расчетам киевских штабов это было бы достаточно), чтобы поддержать порядок, а следовательно, и экономическую продуктивность в мировом обороте такой обширной страны, как Украина. Надежды эти оказались тщетными: союзники, видимо, симпатизировали более националистическим элементам Украины как более демократическим. Посланные гетманом эмиссары к

союзному командованию в Румынию не были даже, кажется, допущены до «настоящего начальства». В Одессе появился какой-то «французский консул г-н Энно», но были ли у него какие-либо полномочия, оставалось неясным. Для «вида», «перед публикой» правительство поддерживало с ним какие-то сношения.

Власть Директории быстро укреплялась, и через неделю столица Украины оказалась осажденной. Немцы держали известного рода нейтралитет, не желая ссориться ни с той, ни с другой стороной и думая, главным образам, о возможности быстрой эвакуации всех своих воинских частей и учреждений на родину. В Киеве был объявлен набор добровольцев для защиты города. Был назначен главнокомандующий — Долгоруков (товарищ Скоропадского по кавалергардскому полку); параллельно появились организации, подчиненные генералу Келлеру. Но в общем была неразбериха, и, думаю, если Киев продержали около месяца, то этим мы обязаны были не столько малочисленным и плохо вооруженным добровольцам, сколько германскому командованию, которое занимало какую-то двойственную позицию и давало Директории повод опасаться, что в случае резкого наступления на Киев немецкие войска окажут повстанцам решительное сопротивление.

В середине декабря, однако, стало чувствоваться, что немцы сговорились с Директорией и препятствовать ее наступлению не будут. Связь Киева с провинцией была почти полностью нарушена. В Харькове и Екатеринославе вспыхнули местные восстания, со стороны Белгорода определилось наступление большевиков. Гетманское правительство явно теряло всякую почву под ногами. О планах Скоропадского мы ничего не знали. Помню, как днем 13 или 14 декабря один из товарищей министра внутренних дел говорил, будто имеется план пробиваться правительству с бронепоездом на восток (?!). Это оказалось, конечно, мифом, но я привожу для характеристики настроения.

Вечером 14-го было заседание малой рады. Рассматривали мелкие законопроекты, почти без прений. Когда заседание кончилось, я остался и тут же составил журнал заседания. Мне было ясно, что это заседание последнее и никто этого журнала подписывать не будет. Но хотелось перед новой вла-

стью хвастнуть деловитостью «фаховців з Московщины» — исполнением долга до самой последней минуты. Пусть это было донкихотством, но чтобы никто из «щирых» не мог упрекнуть нас, что мы даром ели украинский хлеб.

На следующее утро пришел в канцелярию и от Дитятина узнал, что в ночном заседании Совет Министров постановил передать власть Городской думе. Постановление это гетману представлено не было, так как, к изумлению министров, оказалось, что Скоропадского во дворце нет. Рассказывали, что его переодетым вывезли немцы. Скрылся в подполье Кистяковский. Долгоруков тоже уехал, не озаботившись предупредить о прекращении борьбы оставшихся на позициях добровольцев. Вообще, конец гетманства был позорным.

В 2 часа дня по Бибиковскому бульвару вступали в Киев петлюровцы. Население смотрело на них с любопытством. Группа добровольцев заперлась в здании Педагогического музея.

Занятие города особых эксцессов в первые дни не вызвало; не надо же забывать, что немецкая комендатура продолжала существовать и германские войска, хотя и с дисциплиной, сильно пошатнутой введением солдатских советов, все же представляла собою сдерживающий элемент. Так или иначе, но в массовом терроре петлюровский режим обвинять было бы несправедливо, и расчеты с политическими противниками происходили, скорее, в порядке «единичных эксцессов», совершаемых «неизвестными личностями». Первым из таких было убийство «при попытке бежать» (!) старика Келлера и его адъютанта бывшего кавалергарда Пантелеева, когда их переводили из Михайловского монастыря в тюрьму. В дальнейшем каждое утро на окраинах города находили два-три трупа людей, так или иначе связанных с гетманским режимом, но, скорее, малого калибра. Министры, которые были арестованы, провели недели две под арестом, но были затем выпущены. (Правда, что те из них, деятельность которых носила в глазах петлюровцев особенно одиозный характер, сочли более благоразумным скрыться и в дальнейшем, под чужими фамилиями, уехать за пределы Украины.)

Лично моя судьба разрешилась вполне благополучно. 16 декабря и я, и Дитятин пришли, как обычно, утром на службу

и узнали, что в бывшем кабинете Завадского уже сидит новый генеральный секретарь с нашими двумя «щирыми» — Володковским и Гаевским. Мы попросили о нас доложить и были почти тотчас приняты. Разговор, впрочем, не был долгим. На наши заявления, что в наших услугах Директория, надо полагать, не нуждается, генеральный секретарь (забыл его фамилию) кивнул головой, а на вопрос, кому сдать дела, промолвил: «Пану Володківскому», — и на том аудиенция кончилась. Через час нам был сообщено, что мы «тимчасово усовываемся з посади» (временно отстраняемся от должности). Видимо, не было решено, не следует ли возбудить против нас преследование. Но затем эта мысль была, видимо, оставлена, и через две недели, 29 декабря, я прочел приказ о моем окончательном «звільненой з посади». Эпизод украинской службы кончился.

Гетманская эпоха не пользовалась популярностью. Виною тому прежде всего лживость, лежавшая в основе всей ее политики, а затем отсутствие у ней собственных корней в населении: режим держался почти исключительно силою и обаянием германских штыков. В тот день, что эта поддержка была отнята, режим пал. Искренних сторонников, готовых проливать за него кровь, у гетманского режима не было, а те немногие, которые в декабре 1918 года защищали подступы к Киеву, были гетманом и его главнокомандующим брошены на произвол судьбы самым постыдным образом, и, если бы немцы не озаботились впоследствии эвакуацией за границу всех запершихся в здании Педагогического музея, — эти защитники Киева были бы, вероятно, перебиты.

Впрочем, с момента победы Антанты всякий режим, связавший свою судьбу с Германией, должен был, естественно, пасть. Пришлось ведь уйти и не повинному ни в каком сепаратизме донскому атаману Краснову, всегда подчеркивавшему, что свою будущность Дон видит в неразрывной связи с Россией.

Мне хотелось бы все же отметить, что существованию гетманской Украины и Белое движение в целом, а в особенности же отдельные «белые», обязаны очень многим. В течение лета и осени 1918 года Украина была тем местом, куда при посредстве так называемых «украинских поездов» и во-

обще украинских документов выбирались тысячи и тысячи людей, для которых оставаться на севере значило попасть в «чеку» и быть расстрелянными. Часть этих людей пополнила потом ряды Белого движения, часть непосредственно ушла в эмиграцию. Политическая обстановка не позволяла тогда вести из Украины борьбы с большевизмом, но о чем почему-то не любят вспоминать, это о том, что через посредство Украины — правда, с согласия немцев — снабжалось летом 1918 года военным снаряжением Войско Донское, а через последнее и та самая Добровольческая армия, которая не жалела красок, чтобы клеймить «предательство» русскому делу гетманской Украины.



1919–1921

В СЕЛЬХОЗСОЮЗЕ

С увольнением от службы встал вопрос о крове, так как я жил тогда «по отводу квартирной комиссии» и с утратой службы терял право на мою комнату. К тому же мой квартирохозяин (с октября я жил в квартире одного доктора-еврея на Лютеранской улице) явно боялся меня как «гетманского чиновника» и вздохнул с облегчением, когда я в тот же, кажется, день забрал мои немногочисленные пожитки. Поражала меня тогда Вета Пушкина, которая жила в довольно большой усадьбе на Львовской. Семья Бори, перенесшего осенью тяжелую форму «испанки», уехала еще до начала восстания сперва в Полтаву, а затем в Крым.

В предвидении скорого ухода немцев все, кто мог, стремились уехать из Киева. Большинство уезжало в Одессу, занятую союзным десантом. Но получение документов на право выезда из города, а еще более самая организация поездки были делом нелегким. Поезда ходили набитыми до отказу, и носильщики-специалисты брали большие деньги «за посадку в вагон». Но главная опасность была в пути, так как в районе между Киевом и Одессой, кроме властей Директории, хозяйничали еще разные «атаманы», которые осматривали поезда и нередко грабили пассажиров, а подчас арестовывали людей, казавшихся им подозрительными. Поэтому особенно ценилась возможность попасть в служебный вагон какого-нибудь «дипломата», уезжавшего из Киева по окончании своей миссии при гетмане. Об «оказиях» этих не любили рассказывать, и уезжавшие обычно до последней минуты скрывали, что им удалась «устроиться», боясь, что дело полу-

чит огласку. Особенно удачно устроилась Даруся: ее с матерью, детьми, прислугой и сундуками взял в коридор своего вагона возвращавшийся домой турецкий посол при гетмане, и мне, помнится, тогда еще пришло в голову: «что бы сказал, если бы это мог увидеть из гроба, покойный канцлер, дядя ее мужа».

Во всех этих хлопотах и беготне по учреждениям я не участвовал, так как с самого начала решил из Киева не уезжать. Из полученных писем я узнал, что сестрам удалось уехать из Харькова в Новочеркасск, но что Мама заболела перед самым их отъездом своим обычным недомоганием настолько серьезно, что в условиях того времени (путешествие в теплушках) везти ее было немыслимым, и она осталась в Харькове, который несколькими днями спустя был занят сперва каким-то атаманом Балбачаном, а затем и регулярными советскими войсками. Временно мы оказывались таким образом с Мама в разных государствах; но в недолговечности Украинской народной республики сомнений у меня не было, и мой план сводился к тому, чтобы дождаться занятия Киева большевиками, после чего поехать к Мама в Харьков. О том, что свободного передвижения по стране при советском режиме может не быть, я как-то не думал и спокойно выжидал приближения советской армии к Киеву. Материально я считал себя сравнительно обеспеченным: в день падения гетмана всем служащим успели выдать ликвидационное пособие в размере 3- или 4-месячного жалованья.

Существование Директории оказалось, однако, несколько более продолжительным, чем я первоначально предполагал. Был даже некоторый внешний успех: делегаты Галиции провозгласили о своем присоединении к Украине, и помню торжественное богослужение на площади перед Софийским собором, когда со специального помоста четыре диакона, повернувшись лицом в разные стороны, оглашали новый «универсаль» (манифест): «отныне стае едина, незалежна, суверенна Украиньска народня республика». Должен сказать, что минута была волнительная: казалось, что действительно сбывается единение Ярославовой Руси. После молебна произнес довольно красивую речь Петлюра. Я его видел впервые. Внешне он мне очень напомнил Керенского.

От нечего делать я часто заходил в бывшую Державную канцелярию, со служащими которой у меня сохранились лучшие отношения. Меня стали уговаривать вновь к ним поступить, и в конце я было согласился, наметив для себя оставшуюся с самого начала незамещенною должность помощника библиотекаря. Оклад был ничтожный, но и работы было бы немного, некоторым же преимуществом было бы получение опять известного социального положения, притом скромного, покрывающего мою бывшую «громкую по названию» должность. Впрочем, когда я пришел за ответом, было уже поздно. Положение на фронте резко изменилось к худшему, и Директория покинула внезапно Киев, переехав в Винницу. В здании Державной канцелярии было почти пусто. В комнате секретаря валялась на столе забытая папка со всеми журналами гетманского Совета Министров; оставались только младшие служащие, которые в предвидении прихода большевиков поспешили образовать «профессиональный союз бывших служащих Державной канцелярии»; так как я, по существу, тоже таковым являлся, то и меня в этот союз приняли и выдали удостоверение за подписью временного «Головы Революционного Комитета бувших співробітников (сотрудников) Державной Канцелярии». Снабженный такой, казалось мне, «хорошей» бумагой, я отправился домой и стал выжидать прихода в Киев большевиков.

Последний состоялся 2 февраля. Авангард состоял из «товарищей» Богуновского полка, которые, едва вступив в город, разбрелись с обысками по домам, заходя в первую очередь в дома, казавшиеся «побуржуазнее». Вета с семьей давно уехала, и в доме, кроме оставшейся прислуги, жили несколько человек, охотно впущенных для «уплотнения» квартиры. Кроме меня, жили под фамилией Старковичей только что поженившиеся Оболенские (Коленька, сын Алексея Дмитриевича, свадьба которого с Урусовой состоялась в январе уже после ухода немцев). Группа красноармейцев, человек в пять, зашли в нашу усадьбу и, застав нас за кофеем, потребовали документы. Я вытащил мои и, к моему изумлению, мое удостоверение за подписью головы Революционного комитета Державной канцелярии привело большевиков в ярость. О Державной канцелярии они, конечно, никогда не слыхали, но оно напомнило им о «Державной варте», как при гетмане называлась полиция.

«А здесь скрывается начальство Державной варты», — завопили они и решили вести меня «в Штаб». Никакие разъяснения не помогали: слова «Варта» было достаточно, чтобы вывести их из равновесия, и через две минуты меня посадили на извозчика и повезли к центру города (между прочим, занявшись мною, они забыли об остальных жильцах и даже не произвели никакого обыска в доме). Положение мое казалась довольно скверным. Помню, что, проезжая мимо церкви в начале Львовской, я по привычке перекрестился, на что мои спутники с насмешкой заметили: «крестись, крестись, из штаба Духонина не ворочаются» (на жаргоне того времени «отправить в штаб Духонина» значило расстрелять; Духонин — последний Верховный главнокомандующий великой войны был убит солдатами после большевистского переворота). Привезли меня к помещениям Михайловского монастыря и повели в один из внутренних корпусов. По дороге один из конвоиров наклонился ко мне и шепнул: «заплати 20 000, отпустим». Я ответил, что таких денег у меня и в помине нет. «А сколько есть?» — «1000 рублей» (я действительно носил в те дни эту сумму в голенище сапога — «на всякий случай»). Привели в какую-то комнату, где был небольшой караул, и некоторое время совещались по поводу какого-то начальства, которое отлучилось. Затем отвели меня в пустое помещение и там довольно долго со мной оставались, рассматривая забранные ими, видимо, в это утро часы и другие ценные вещи. Заставили меня разуться и взяли мою пачку «карбованцев» (украинские деньги). Видимо, «начальство» не приходило, а им было обидно терять время, так как они после некоторого перерыва еще раз меня обыскали, а затем объявили, что один из них меня отведет «в штаб» на ту сторону Днепра, и ушли, предоставив младшему из их группы меня конвоировать. Мы вышли и пошли в направлении к бывшей Городской думе, где перед тем помещалась комендатура. Спутник мой был явно в первый раз в большом городе, на вид глухая деревенщина. Проходя мимо здания Думы, я быстро вошел в дверь и спросил у стоявших в прихожей красноармейцев, «где комендант». «Еще не вступил в город», — был ответ. Пришлось опять идти за своим спутником, но, видя его бестолковый вид, я решил, что от него уйду. Во всяком случае идти в штаб через Днепр было бессмысленно: оттуда меня бы не выпустили, это

было ясно. Между тем мой конвоир, увидев продавца папирос, стал покупать себе пачку и совсем обо мне забыл, чем я моментально воспользовался и замешался в толпе. Думаю, что мой парень был даже рад этому обороту, возвращавшему ему свободу действий. Никто меня не преследовал, и я спокойно пришел в Липки к знакомым, где все уже были в переполохе. Ветин управляющий Максименко только что приходил сообщить о моем увозе богуновцами. После обсуждения решили, что безопаснее мне со Львовской от Пушкиных на некоторое во всяком случае время съехать, и посоветовали попроситься жить к молодым Праховым, у которых будто была комната, а квартира Прахова, как художника, была благонадежным в политическом смысле местом. Так я и сделал, но почему-то переехать смог только на следующий день, а в этот вечер, сидя на Львовской, чувствовал себя как на иголках и инстинктивно прислушивался к каждому стуку на улице.

Все обошлось, однако, благополучно, и до конца моего пребывания в Киеве никто мною более не интересовался.

Поселился я у Праховых, прописавшись по удостоверению, выданному мне фиктивно как якобы служащему в его предприятии Шлеемм (в то время распространился слух, будто всех мужчин до 25-летнего возраста будут забирать или в Красную армию, или на принудительные работы, оттого в удостоверении этом было указано, что мне 36 лет — а не 33, как было в действительности, — и с этого момента и позднее я числюсь по документам на три года старше своего действительного возраста). Кормиться ходил днем к Джаваховым, которые держали тогда столовников, ужинал у Веры Чичериной. Заходил иногда на Львовскую и в дом Наврозовых, где оставалась горничная Даруси и сами хозяева.

Как я уже упоминал, причиной, почему я остался в Киеве, было намерение проехать к Мама в Харьков. Но когда в городе водворился известный порядок и возобновилось железнодорожное сообщение с другими центрами, оказалось, что выезд из города частным лицам воспрещен и разрешение дается только Чрезвычайной комиссией («чекой»). Идти же в «чеку» мне явно не хотелось. Пришлось выжидать благоприятного времени и заняться снова оформлением своего юридического положения во избежание — не дай бог — нового ареста.

Не помню, кто мне сказал, что в бывшей городской Управе заведует отделом контроля В.А. Панафидин, бывший когда-то в Бежецке непременным членом Земледельческой комиссии, а потом, кажется, вице-губернатором в Твери. Я с ним был в свое время в хороших отношениях и решил обратиться к нему за помощью. Панафидин отнесся ко мне самым отзывчивым образом и тут же зачислил меня контролером. Жалованье было маленьким, но мне надо было, главное, получить официальное место и бумажку о том, что я состою «служащим при коллегии городского хозяйства Киевского исполкома». В смысле деятельности приходилось производить ревизию наличных товаров и денежных отчетов городских продовольственных лавок и складов фуража, учреждений, которыми большевистское начальство мало интересовалось и где я не рисковал особенно встречей с новыми хозяевами. В учреждения, непосредственно возглавляемые «товарищами», Панафидин контролерами посылал служащих с менее «контрреволюционными» фамилиями, чем моя. Так прошло недель шесть; кончался апрель, и я решил попытаться осуществить мой переезд в Харьков. Панафидин разрешил мне небольшой отпуск «по семейным обстоятельствам», но на всякий случай попросил меня оставить ему с незаполненной только датой прошение об увольнении от службы.

Уехать оказалось, однако, не так просто. Правда, разрешения от «чеки» на выезд из города более не требовалось, но удостоверения на право посадки в поезд выдавались специальным учреждением, у дверей которого толпились бесконечные вереницы, причем до «едущих по личной надобности», повидимому, очередь вообще не доходила: я простоял все утро, и двери учреждения закрылись за раздачей всех удостоверений на очередной день, а ни один из «частников» удостоверений на отъезд не получил.

Помог случай. Днем я зашел в бывшее помещение своей канцелярии, где застал заседание президиума профессионального союза бывших киевских чиновников. (Первое время после занятия Украины новообразованное правительство обосновалось в Харькове, где чувствовало себя более твердо среди заводских рабочих, чем в Киеве.) В числе текущих дел было доложено о созываемом через три дня в Харькове Всеукраинском съезде профессиональных союзов, на который, впро-

чем, нельзя будет послать делегата, так как едва ли кто согласится ехать в другой город без суточных, а денег в распоряжении президиума нет. К тому же делегат все равно имел бы только право совещательного голоса, так как решающий голос имеют только союзы, насчитывающие более определенного числа членов. Меня внезапно осенила мысль, и я (так сказать, из публики) заявил, что если бы меня командировали, то я мог бы поехать в Харьков на собственные деньги. Думаю, что большинство членов президиума поняли, в чем дело, и так как председателем союза был один из моих сослуживцев по канцелярии, то дело тут же разрешилось в положительном смысле и я оказался «делегатом професcиональной спилки б. спивработников державних институций миста Киева», в качестве какового я на следующий день не только с легкостью получил удостоверение, но и места в «делегатском» вагоне. Нечего добавлять, что с моими спутниками я старался разговаривать поменьше и не вдаваться в споры о задачах профессионального движения на советской Украине.

В Харькове я застал Мама, живущей на бывшей Катиной квартире. Здоровье ее, после довольно плохой зимы, слава богу, наладилось. Кроме Мама, в квартире жили Ольга Григорьевна, miss Atkins и Катина горничная Нюта и вся многочисленная семья Энденов. Последние водворились там еще осенью после разгрома их Тихого Хутора (в 15 верстах от Шебекина) и не могли никуда уехать из-за начавшейся у детей скарлатины, унесшей одну из девочек и протекшей с тяжелыми осложнениями у остальных.

В разговорах выяснилось, что в Харькове застряло по пути на Дон много знакомых и в том числе Юрий Барановский, который с чужим документом выехал из своего уезда и живет в Харькове под фамилией Савченко-Бельского. Я, конечно, постарался в тот же день разыскать; оказалось, что он служит в бывшем харьковском Обществе сельского хозяйства — кооперативном учреждении с очень симпатичным, по его словам, составом работников, куда он сумел и меня пристроить. Надо сказать, что я, еще будучи в Киеве, подумывал о работе в кооперативных учреждениях и, уезжая оттуда, взял с собой несколько рекомендательных писем к руководителям кооперации в Харькове, которых, однако, из-за удачной встречи с Барановским, так и не использовал.

(На съезд профессиональных союзов я все же, из деликатности по отношению к моим «доверителям», зашел и расписался среди делегатов с «совещательным» голосом, но прения меня не заинтересовали и вторично я туда не заглянул.)

В Обществе сельского хозяйства меня зачислили (как в то время полагалось, сперва на двухмесячный стаж) помощником начальника хозяйственно-административного Подотдела — по вознаграждении IV класса с жалованьем, кажется, в 1000 рублей (обед из двух блюд в дешевой столовой стоил тогда 15 рублей).

Общество это было еще до войны крупным учреждением и помещалось в собственном большом доме на Московской улице. После прихода в Харьков большевиков его руководители преобразовали его на новых началах в областной центр сельскохозяйственной кооперации, почему его официальным названием в то время было Харьковский областной сельскохозяйственный союз кооперативов (сокращенно — Сельхозсоюз). Параллельными организациями в области потребительской кооперации был харьковский «Поюр» (Потребительские общества юга России), в области кредитной — Сельсоюз, объединивший кредитные товарищества района. Основными операциями было снабжение своих членов (уездных сельскохозяйственных кооперативов) семенами и сельскохозяйственными орудиями и посредничество между ними и «Поюром» в сбыте продуктов садоводства и огородничества и животноводства.

Но кроме отделов коммерческих — «торговых», Союз включал еще ряд отделов, посвященных разработке теоретических вопросов в области сельского хозяйства юга России и, наконец, довольно многочисленные кадры инструкторов-кооператоров, налаживавших и контролировавших деятельность местных кооперативов. Был, конечно, крупный финансовый отдел и бухгалтерия. На административно-хозяйственном отделе, во главе которого стоял мой непосредственный начальник Соломон Соломонович Векслерчик, лежало заведование зданием, покупка хозяйственных принадлежностей и вся переписка по вопросам общего характера с правительственными (то есть тогда советскими) учреждениями.

Руководили всем делом начальники отделов (в большинстве агрономы) и правление из трех или четырех членов,

избранных общим собранием представителей кооперативов. Секретарем союза был Резников. В партийном отношении большинство было, кажется, народными социалистами, то есть принадлежало к наиболее умеренному течению русского социализма, но были и социал-демократы, и эсеры. (Люди более «правых» взглядов называли себя в то время «беспартийными».) Что меня тогда поразило, это была их уверенность во всеспасающей роли кооперации. «Это — не кооперативно» было почти равнозначно слову «бесчестно»; письма к членам союза заканчивались словами «с кооперативным приветом».

Ко мне все относились очень внимательно и с сочувствием. В то время кооперация стала местом прибежища многих «бывших» людей, и надо отдать справедливость, руководители ее очень охотно ценили таковых, полагаясь на их добросовестность и желание работать в сфере «аполитической», где их прошлое не играло роли.

К сожалению, лично я не чувствовал себя на высоте положения. Уж не говоря о вопросах хозяйственных, в которых я пасовал совершенно, даже канцелярский мой отчет приносил мало пользы, так как методы сношений коммерческих предприятий были мне незнакомы, а вместо докладов по вопросам общего характера приводилось главным образом выдавать бесчисленные удостоверения личности и вести переписку об отводе квартир, отпуске дров и т.п.

Надо ведь помнить, что была пора «коммунистического строительства» и разрешение разного рода учреждений требовалось даже для таких мелочей, как перемена служащим комнаты в городе. Сам я только через свое учреждение добился ордера на право поселения в комнате, которую себе присмотрел (и в которой, правда, уже жил, но, так сказать, нелегально).

Время было, правда, довольно тревожное. В Донецком бассейне шли все время бои с Добровольческой армией, которая, по слухам, постепенно продвигалась к западу. В городе ощущался недостаток угля: чтобы сократить потребность в электрической энергии, вышел декрет о передвижении часовой стрелки вперед, сперва на три, а потом на четыре часа, так что солнце заходило около 12 часов ночи, а на службу мы шли при косых лучах солнца, только что вставшего над горизонтом.

Особенно тревожным стало положение в середине июня. Было ясно, что «белые» приближаются; выдача пропусков на выезд из Харькова в города, расположенные на восток от него, была комендатурой прекращена; начались аресты «бывших» людей и помещиков; многие из знакомых стали скрываться и менять квартиры. Помню, как раз в эти дни в Харьков приезжал в командировку при каком-то комиссаре мобилизованный в Красную армию Шурик Раевский. Мы долго с ним обсуждали, не «опоздать» ли ему на поезд, когда будет уезжать его начальник, но... в Москве оставалась его семья, и ни я, ни Юрий не решились толкать его на этот опасный, в случае неудачи, шаг. Так он и уехал, и в результате провел все же восемь лет в Бутырской тюрьме, а семья так и осталась бедствовать в России.

У ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Наконец, наступил день, когда все почувствовали, что «происходит серьезное». По улицам сновали военные автомобили, а грузовики отъезжали от казенных учреждений с наваленными до верха ящиками. Доносившаяся в предыдущие дни до города отдаленная орудийная стрельба прекратилась. После 2 часов дня город как-то опустел. Все с волнением ждали, что будет. После службы я пошел на Мироносицкую к Мама и Энденам. Рассказывали, что многих из арестованных, видимо, увезли, но что Софья Евгеньевна Носович сумела накануне выпросить ордер об освобождении ее мужа у временно заменявшего главного комиссара Березовского (бывшего полковника царской армии) и увезти его из чрезвычайки, спрятав у каких-то знакомых.

Вдруг уже под вечер разнесся слух, что в город входят «белые», и все высыпали на улицы. И действительно, вскоре увидели запыленных солдат добровольческого авангарда. Трудно описать общее ликование. Восторг был на всех лицах. Дамы закидывали солдат цветами, кричали «ура», каждый стремился хоть чем-нибудь выразить сочувствие «освободителям». Настроение было совершенно пасхальное, и только далеко после полуночи стали все усталые возвращаться к себе по домам.

Лично в мою жизнь приход Добровольческой армии не внес особенных перемен. До известной степени я был связан обещанием, данным моему учреждению. Дело в том, что, когда я пришел в первый раз за ответом, Резников сказал, что правление союза не хотело бы брать на ответственную должность человека, который уйдет при первой же перемене режима; на это я сказал (и совершенно искренне), что не собираюсь возобновлять государственную деятельность, но, напротив, хотел бы возможно ближе и прочнее войти в дело кооперации (разве, добавил я, если откроется возможность опять вернуться в Переселенческое управление, которому посвятил лучшие годы жизни, но это, видать, явно немыслимо). Поэтому я считал себя морально обязанным продолжать и при «добровольцах» свою работу в Сельхозсоюзе. К тому же в политике Деникина, насколько пришлось с нею ознакомиться, были некоторые стороны, в которых я с нею принципиально расходился; в частности, не разделял я его непримиримого отношения к национальным устремлениям русских окраин, поскольку таковые даже не противоречили действительным потребностям имперского единства страны; не нравилось, наконец, мне (чтобы не сказать больше) снисходительное отношение высшей власти к чересчур крутым мерам воздействия низших начальников и младшего командного состава по отношению к мирному населению и непримиримое отношение ко всем «служившим у большевиков» (хотя бы по нужде).

Мама, однако, воспользовалась восстановлением сообщений, чтобы уехать к Кате, которая тем временем переехала в Геленджик на побережье Черного моря. Уехали также miss Atkins и Эндены, так что квартира на Мироносицкой почти опустела. Я остался все же на Каразинской, не очень теперь понимаю, почему, так как в Катиной квартире комнаты были лучше. Юрий со службы ушел и поступил в ряды Добровольческой армии.

В середине лета приехали Катя (сестра) и Мара Мансурова выяснить ближайшие планы относительно Шебекина. Хозяйство возобновилось, но шло с большими затруднениями, так как за месяцы большевистского хозяйничанья и в связи с многократными военными реквизициями с той и другой стороны в имении почти не оставалось живого инвентаря. О том, что «добровольцы» смогут не удержаться, как-то не дума-

лось, и так же, как летом 1918 года, обсуждались вопросы восстановления нарушенного, а не ликвидации уцелевшего. Должно быть, такова уж натура человеческая. Теперь дико вспоминать, что до конца осени того года шла переписка с Николаем Борисовичем Щербаковым об организации опеки над детьми Ребиндерами и Катей Мансуровой и что я, после больших только сомнений, уступил настояниям Кати и согласился войти в состав опекунского совета. Шла также речь об акционировании самого имения, о привлечении в будущем иностранного капитала и т.п. Практичнее было бы продавать что можно и покупать по любой цене валюту или золото. Но это казалось тогда постыдным и даже оскорбительным для памяти Санди, положившего все силы на создание шебекинского хозяйства. Болезненным был, с другой стороны, вопрос о заведовании Шебекином. По инерции туда вернулся главноуправляющим Бронштейн, но Саша и Павлик не скрывали, что считают его одной из тайных пружин, поведших к убийству их отца. Мара и Катя этим наветам как будто не верили, но известную неловкость во взаимные отношения это невольно внесло.

Из эпизодов трагикомических этого периода вспоминается несколько случаев неприятных краж. Первый был в день встречи Деникина в Харькове; я стоял в толпе, приветствовавшей его при выходе из собора. Между прочим, это был день, когда Деникин объявил свою знаменитую директиву — похода на Москву. Выйдя из толпы, я заметил, увы, отсутствие часов и портфеля с деньгами и документами (пережившего мой киевский арест). Вообще Харьков был тогда полон воров, освобожденных из тюрем большевиками. Несколькими днями спустя уезжала miss Atkins, и я поехал проводить ее на вокзал и помочь с вещами. Поехали мы трамваем почти пустым, и я поставил ее чемодан на задней площадке, севши сам у двери, чтобы не терять его из глаз. Вдруг на последней остановке перед вокзалом на площадку ввалилась толпа новых пассажиров; я мгновенно вскочил и бросился в сторону к чемодану, но было уже поздно. На площадке произошла давка, и когда я протиснулся к выходу, вор уже исчез, и бедная Atkins потеряла навсегда добрую половину своих вещей.

Третий случай был еще более дерзким. Моя комната выходила окном в сад, отделяющийся от улицы глухим доща-

тым забором; из-за жаркого времени спал я с открытым окном. Как-то утром я проснулся довольно рано и, желая посмотреть, который час, протянул руку к висевшему на спинке стула у кровати пиджаку, где в боковом кармане держал часы; последних не оказалась. В комнате спал еще гостивший в Харькове Борщов. Он тоже заворочался. Я спросил у него, который час. Он сделал механически то же самое движение, что и я, и... привскочил. Ни часов, ни бумажника. Исчезли и мои штаны и пальто. Очевидно, вор влез в окно (было уже светло), осмотрел карманы (мой бумажник тоже пропал), вынул часы и деньги, надел мои панталоны и висевшее на стене пальто и был таков. Я попробовал пройти на базар, думая найти след пропавших вещей, но безуспешно. Особенно пострадал Борщов; его часы были со старинным золотым браслетом. Впрочем, он был в следующем году убит.

Да и вообще гражданская жизнь на территории, занимаемой «Вооруженными силами Юга России» (официальное название деникинского правительства), как-то плохо налаживалась. Со всех сторон слышались нарекания на отсутствие всякой системы в производимых воинскими частями реквизициях и в злоупотреблении понятием «военной добычи», к которой нередко относили сахар или спирт, находимый на заводах вновь занимаемых местностей. Объяснялось это в значительной мере тем, что у Добрармии не было ни правильно налаженного интендантства, ни полевых казначейств. Поэтому воинские части поневоле были вынуждены заняться «самоснабжением», а на этой почве хозяйственные части отдельных полков превратились в крупные предприятия, ведшие широкие торговые операции по закупке всего необходимого для их личного состава за счет средств, выручаемых от продажи захваченной данным полком «военной добычи». Доходило до того, что в полках, особенно выделявшихся по военным успехам, и склады имущества занимали сотни товарных вагонов, передвигаемых по железнодорожной сети при посредстве «собственных», то есть захваченных данным полком паровозов. Ясно, насколько такой порядок, с которым были бессильны бороться «штатские» железнодорожники, вносил хаос в область железнодорожного хозяйства, а косвенно, значит, и во всю экономическую жизнь захваченной территории.

Яркую картину этого я увидел, когда в августе возымел намерение съездить в Снетин и в Киев (в последний меня приглашал генерал Флуг, предлагавший занять должность чиновника особых поручений при Главнокомандующем Киевской области). Думая совершить эту поездку в четыре дня, я взял на этот срок отпуск и отправился в Харьков на вокзал. Для начала пришлось несколько часов ждать поезда, а затем суметь найти товарный вагон, не занятый солдатами, или, вернее, такой, в котором солдаты разрешили бы примоститься постороннему человеку. Неудивительно, что при этих условиях треть пассажиров ехала на буферах и на крышах вагонов. Выехали мы из Харькова под вечер и только к утру добрались до Полтавы. Затем предстояла пересадка, но на «Киевском» вокзале мне сказали, что раньше ночи нельзя ожидать прихода «вчерашнего» поезда. Пришлось, значит, провести почти весь день в городе, где у меня было, правда, много знакомых, но уходило время, плохо учтенное при отъезде. Уехал я из Полтавы действительно только в 12 часов ночи. Утром проснулся — смотрю, кажется, Кочубеевка, то есть за ночь продвинулись всего на 30 верст, и притом стоим. До двух часов дня проехали еще перегон и остановились на каком-то разъезде, и паровоз ушел один. Стало ясно, что таким аллюром моя поездка потребует не менее двух недель, и я решил махнуть рукой и вернуться. Через некоторое время появился встречный поезд, на разъезде не остановившийся, но шедший так медленно, что я без труда впрыгнул в открытую дверь одного из вагонов, предварительно бросив туда мой плед с дорожными принадлежностями. На следующий день я был опять в Харькове.

В смысле служебном мои «кооператоры» меня, видимо, оценили. По окончании моего стажа я был утвержден с «повышением», то есть меня сделали помощником секретаря и в течение лета, кажется, дали еще прибавку к жалованью. В конце сентября состоялось общее собрание членов союза, на котором М.З. Резников был выбран членом правления. Должность секретаря по уставу замещалась тоже общим собранием, но так как у меня не было «кооперативного» ценза, то эту должность решили оставить вакантной и предоставить мне исполнять соответственные обязанности по поручению правления, с полным, однако, окладом (по тому времени довольно крупным).

Поздней осенью мне пришлось съездить по делам союза в Ростов, тогдашний центр гражданских учреждений Добрармии. Я уже упоминал, что преобразование бывшего Харьковского общества сельского хозяйства в областной Союз кооперативов состоялось при большевиках и с точки зрения прежних законов было неправильным. Не помню теперь, отчего трудно было оформить это путем созыва общего собрания прежних членов общества; должно быть, не хватало кворума; и вот правление союза решило попытаться оформить это положение путем утверждения нового устава министром земледелия и командировало меня с этой целью в Ростов. (Они, видимо, несколько переоценивали мои связи в ростовских кругах в связи с появившейся незадолго перед тем заметкой в одной из ростовских газет, назвавшей меня — совершенно неизвестно почему — кандидатом на пост министра земледелия, освободившееся за уходом Колокольцева и фактически замещенной через два дня профессором Белимовичем.)

В Ростове я провел дня три. Повидал Варусю с детьми (они жили в Таганроге, Боря же был в это время в заграничной командировке), Диму Брянчанинова, получившего назначение в Ставрополь губернатором, и многочисленных знакомых, живших тогда в Ростове. Не могу сказать, чтобы обстановка внушала доверие к организационным способностям тогдашнего правительства. Носович (министр внутренних дел) спросил у меня, не имею ли я каких-нибудь сведений от Ники о том, что делается в Крыму, где Ника был губернатором. На мой удивленный взгляд он ответил, что сам довольно давно сведений не имел, так как — объяснил он — почтовое сообщение с Крымом поддерживается миноносцами (вероятно, из-за махновского восстания в Екатеринославской губернии), которые, однако, берут только письма из Штаба главнокомандующего, а корреспонденции «штатских», видимо, не доставляют. В эти же дни шли совещания представителей Добровольческой армии и Донского правительства о «финансовых взаимоотношениях». Так официально тогда именовался вопрос о распределении денежных знаков, печатаемых в Крыму.

Лично моя миссия успеха тоже не имела, и после трехдневных разговоров в Управлении земледелия было решено, что изменение устава невозможно без созыва общего собрания членов прежнего общества. Должен сказать, что основа-

тельности приводимых доводов с точки зрения обстановки мирного времени я не отрицал, но не удержался и при расставании сказал Зубовскому, что в былое время вопрос этот был бы в полчаса разрешен в том или ином смысле начальником отделения, а не потребовал бы последовательных докладов у директора департамента (Зубовского), товарища министра (Бурлакова) и, наконец, самого министра (Билимовича), которые так и не решились взять на себя разрешение столь мелкого, в сущности, дела (изменение устава местного Общества сельского хозяйства).

За дни моего ростовского сидения произошли печальные события; поступательное движение Добровольческой армии остановилось, и начался обратный ее откат: пришло известие об оставлении нами Орла. И удивительно, до чего быстро меняется в таких случаях вся обстановка: обратно в Харьков я ехал в почти пустом вагоне, а еще неделей перед тем поезда ходили в обоих направлениях набитыми битком.

В Харьков я вернулся около 1 ноября. События назревали с невероятной быстротой. Через две недели пал уже Курск, и большевики стали опять подходить к Белгороду. Началась паническая тяга всех из Харькова, стремление реализовать деньги. Помню свой разговор в эти дни с Бронштейном. Он говорил, что может перевести Кате в Ростов чеком до 7 миллионов рублей, но сомневается, чтобы по этому чеку в Ростове выплатили бы наличными. Можно еще, уплачивая за это до 30 процентов, купить на один миллион наличных бумажек, но как их доставить Кате, так как, по слухам, возобновились грабежи в пути между Харьковом и Ростовом и рискованно везти такую сумму на себе. Помнится, решили послать чек на ростовское казначейство, который превратить в реальные ценности Кате, впрочем, уже не удалось.

Если не ошибаюсь, 22 ноября в газетах появилось объявление о том, что все данные ранее отсрочки отменяются и люди призывного возраста имеют на следующий день явиться к воинскому начальству для немедленной отправки на фронт. Надо сказать, что после прихода «добровольцев» я из чувства какой-то совестливости показал опять свой настоящий возраст (хотя имел документы на 36 лет), но, по просьбе союза, получил отсрочку призыва, тем более что числился и без того ратником ополчения 2-го разряда и никогда вообще не призы-

вался. Новое распоряжение было редактировано так, что и я подлежал безоговорочному призыву в войска.

В это время в Харькове жил, заканчивая лечение после тифа, Коля Барановский. Я пошел к нему посоветоваться, что мне делать. Идти просто в маршевый батальон мне совсем не хотелось, да и, по совести, военная годность моя равнялась нулю. Барановский посоветовал мне поступить тотчас, так сказать, до призыва добровольцев, в его часть — 27-ю батарею Гвардейской конной артиллерии, часть обоза которой стояла тогда в Харькове, а там — видно будет. Сам Барановский собирался с этим обозом через день-два оставить Харьков и присоединиться к батарее, когда она в своем отступлении подойдет к городу.

Так я и сделал. Последние два дня посвятил попытке распределить по разным местам оставленное в Катиной квартире имущество: лампы и тому подобные вещи, главное же, громадное количество белья (простыни, полотенца и т.д.). По громадному сундуку поместил в каждом из трех помещений, занимаемых в городе учреждениями моего союза, где, думалось, они смогут уцелеть, если бы большевистское владычество оказалось опять недолгим. Перенес на чердак дома союза (Московская, 10) лично мой чемодан; раздал знакомым сделанный мною запас муки и дров и с чувством сердечной признательности распростился с Резниковым и другими сослуживцами по союзу. В назначенный день я явился в дом, откуда должен был выступать обоз. Должен сознаться, что вид у меня был отнюдь не боевой. На голове кепка, правда, с прикрепленной к ней солдатской кокардой; одет был в гимнастерку защитного цвета, поверх которой штатское демисезонное пальто и брезентовый плащ с нацепленными солдатскими погонами; на ногах — охотничьи сапоги с голенищами выше колен, которые я купил по случаю на харьковском базаре.

Обоз был самый смешанный. Вел его (верхом) поручик Гро, затем тянули ряд саней и подвод. Ехали «батарейные дамы», жившие в Харькове: княгиня Голицына (О'Рурк), Соня Лауниц с своей теткой Ширковой. В санях же ехали еще не вполне оправившийся Коля Барановский и взятый одновременно со мной «на правах вольноопределяющегося» Арсений Шидловский, который со своими «сто кило веса», безусловно, был неспособен идти пешком. Подводы были нагружены час-

тично воинским снаряжением (сбруя и подковы), частично сундуками Голицыной и др., и, наконец, личными вещами офицеров и солдат, в том числе и моим пледом и взятой мною накидкой из бобрика на шерстяной же подкладке, в которой отвозили в Шебекине зимних гостей на станцию.

«Подводчики» были из окрестных крестьян, взятых в порядке реквизиции, теоретически «до ближайшего волостного села»; фактически добрая половина их проследовала с обозом до Кубани. Кроме того, были нижние чины нестроевой команды и несколько строевых, случайно оказавшихся в Харькове, в том числе Вася Барановский (старший из братьев), который состоял нижним чином в 1-й батарее, в которую направляли из отпуска.

Ехали мы шагом, так как была ростепель и сани все время тыкались в лужи. Днем был привал во встречном селе, и все мы пообедали у крестьян, по хатам которых были размещены наши подводы. Помню, что после обеда я спросил у Васи Барановского: «Combien faut-il donner?» — «Mais rien»[1], — удивленно ответил он и объяснил, что, по установившейся практике, местное население кормит проходящие войска. «Может быть, у тебя и есть деньги, — добавил он, — но ведь мы-то, жалованья не получая, не можем платить за свою еду», — с чем я не мог не согласиться. Не могу, впрочем, утверждать, чтобы это обязательство кормления проходящих частей — повинность, к слову сказать, лежащая на населении чрезвычайно неравномерно, а в селах вдоль больших шляхов чрезвычайно обременительная, — было провозглашено официально, и думаю, что теоретически начальство должно было платить за все забираемое по «справочным ценам». Но у командиров частей сплошь и рядом не бывало на руках свободных денег, да и правило об оплате забираемого по справочным ценам трудно было применить в тех случаях, когда крестьяне кормили помещенных к ним на постой чем бог послал, то есть делились собственным обедом. Наконец, по моим наблюдениям, население «жалело» солдат и действительно от сердца давало им хлеб и еду, разумеется, в душе проклиная саму Гражданскую войну, из-за которой им всем нет житья и нельзя заниматься крестьянским настоящим делом.

---

[1] Сколько нужно заплатить? — Да ничего (*фр.*).

Вечером того же дня мы добрались до Мерефы, большого села и крупного железнодорожного пункта. Здесь наш обоз разбился на части: некоторых подводчиков просто отпустили домой (наши «дамы» со своими пожитками поехали дальше поездом), остальные же влились в стоявший в Мерефе основной обоз батареи. Тут меня представили и моему начальству: командиру 2-й батареи — Котляревскому (В.М.). Посмотрев на мой «штатский» вид, он оценил обстановку и сказал, что в батарее, которая в своем отступлении должна была подойти к Мерефе на следующий день, много лошадей с побитыми спинами и трудно будет дать мне лошадь под верх. Поэтому, принимая меня в батарею вольноопределяющимся, он предлагает мне, однако, оставаться пока при обозе 2-го порядка, а при случае постараться присоединиться к хозяйственной части батареи, где мне найдется работа.

В связи с этим на следующее утро я выступил при обозе в направлении на юг. Во главе обоза стоял подпрапорщик Семенов из крестьян Мелитопольского уезда, мобилизованный весной того года при наступлении из Крыма. Остальные нижние чины были все из пленных красноармейцев, весьма антипатичные и — чем меня особенно поразившие — не могущие произнести ни одной фразы без русского ругательства. Должен сказать, что, когда позднее я познакомился с нижними чинами строевого состава батареи, этого явления я среди них не наблюдал. То есть, конечно, и они временами пускали по..., но той сплошной похабщины, которую несли бывшие красноармейцы, я из уст настоящих «добровольцев» не слышал. Отмечаю это как факт характерный.

Двигались мы по довольно разбитому шляху; снег сошел, и мы шли на колесах в хороших телегах, купленных или взятых еще в северной Таврии. По тому же шляху двигались самые разнообразные путники: мелкие помещики со скарбом, крестьяне побогаче, священники; запомнился почему-то какой-то священник с женой и дочерью: у их тарантаса сломалось колесо, и они с недоумением оглядывались по сторонам, не зная, видимо, что предпринять. Куда все они двигались, не знал никто, ни они сами. Это был инстинктивный уход от большевиков, по неорганизованности своей совершенно безнадежный. На что мог рассчитывать встреченный мной батюшка, даже если бы ему и удалось починить свое колесо? Да

он, видимо, этим вопросом и не задавался, — просто уходил от беды, как говорится, куда глаза глядят.

Не помню точно нашего маршрута, тем более что я через два-три дня решил покинуть обоз и попытаться разыскать хозяйственную часть 2-ой батареи, расспрашивал про нее у комендантов железнодорожных станций. (Из тяжелых впечатлений — повешенный у входа в канцелярию этапа какой-то кондуктор с надписью «за торговлю казенным имуществом», и это в год, когда все вокруг расхищали что только могли.)

Под Николин день вечером я был у всенощной на ст. Константиновской и, кажется, не было более грустного дня рождения на моей памяти. Оторванный от всех близких, без денег и в смысле социальном дошедший до положения «нижнего чина», то есть существа по дореформенным понятиям совершенно бесправного.

«Своей» хозяйственной части я так и не нашел (она, потом оказалось, на подводах отправилась в Таврию), но набрел на хозяйственную часть 1-й батареи (классный вагон и 25 товарных), заведующий которой посоветовал мне отправиться в Павлоград, куда, по имевшимся сведениям, должна была прийти Гвардейская конная артиллерия. Так я и сделал.

В Павлограде я опять встретил Колю Барановского, который вместе с батарейным доктором Федором Федоровичем Ш. поджидал прихода строевых частей; тут же был и мой былой обоз с подпрапорщиком.

Коля предложил мне поместиться и столоваться с ним и доктором, чем я и воспользовался (хотя, собственно говоря, неизвестно зачем «разыгрывал» «нижнего чина», то есть вставал, когда в комнату входили другие нижние чины, и на ночь уходил спать к солдатам, то есть фактически к денщикам). Сознаю, что это было комедией, но слишком был проникнут ложно понятой или во всяком случае преувеличенной обязанностью действовать в рамках «своей должности», то есть в данном случае «вольноопределяющегося».

Дня через три от коменданта города внезапно пришло распоряжение всем обозам (а их в Павлограде было более десятка разных частей) немедленно выступить и следовать в направлении, которое будет ежедневно указываться начальниками обозов. Не прошло и часа, как мы все вытягивались из

города и началось наше «отступление», постепенно все ускоряемое и приведшее нас через десять дней к Ростову.

В дальнейшем мы выступали обычно еще при темноте, часа в 2 ночи, делали привал около 10 утра и успевали еще несколько продвинуться до вечера. Несколько дней мы не отдавали себе ясного отчета в направлении, куда нас ведут: Крым или Ростов. Затем стало ясно, что на Ростов, и на следующее утро, когда рассвело, обнаружилось, что из нашего обоза часть подвод (и наиболее ценных — с сахаром!) исчезло вместе с подпрапорщиком и тремя нижними чинами из его земляков. Они воспользовались, видимо, темнотой, чтобы незаметно при самом выезде обоза из хат, где отдельные части обоза ночевали, отбиться от других и, надо думать, отправились просто «домой» в мелитопольские свои края.

В Ростове нам отвели под постой дом одного адвоката, и как-то странно было жить в квартире, из которой только что выехал ее владелец, оставив почти все нетронутым. Кроме Барановского и доктора, здесь к нам присоединилось еще 2—3 офицера конной артиллерии, бывшие в Ростове в командировках. Если не ошибаюсь, появились опять княгиня Голицына и Соня Лауниц, поджидавшая брата. Устроили елку и выжидали событий.

Гражданские учреждения тем временем спешно эвакуировались из города. Управления земледелия уже не было. В Управлении внутренних дел застал заколачивание последних ящиков и подводы у подъезда. Мне хотелось повидать Андрея Раевского (брата Шурика); оказалось, что он простудился и лежит в номере гостиницы. Я его навестил и посидел с часок. Больше я его не видел; у него, оказывается, начался сыпной тиф, и он в Ростове и умер.

26 декабря под вечер живший с нами Гвозданович (адъютант дивизиона?) предложил мне пройти с ним на вокзал в штаб корпуса справиться о местонахождении наших батарей. К некоторому удивлению, нас впустили в оперативное отделение, где дежурный сказал, что на следующее утро батареи будут верстах в 10 от Ростова, где мы сможем к ним присоединиться. С этими сведениями мы отправились домой. Слышны были в разных направлениях единичные выстрелы, но в то время это не привлекало особого внимания. Однако, когда мы пришли домой (от вокзала мы жили далеко, через весь

город), то увидели вытянувшимися по улице подводы нашего обоза. Пришло распоряжение спешно сниматься, и около 10 часов вечера мы тронулись.

Вначале двигаться было нетрудно. Все шли в том же направлении — к Дону, и по большим проспектам обозы разных частей и учреждений тянулись в 3—4 ряда. Было немало и пеших. Какой-то штатский спросил у меня: «разрешите присоединиться». Я неопределенно пожал плечами, присоединиться — к чему?

Выйдя за черту города, стали спускаться в широкую пойму успевшего уже стать Дона. Посреди этой поймы были, однако, незамерзшие ручейки, через которые перекинуты были небольшие мостики, и вот здесь возникли серьезные трудности. Широкий многорядный поток обозов надо было вытянуть в один ряд, чтобы перевести через эти мостики. В темноте долго шла путаница, пока кто-то из наших офицеров не взял на себя роли, так сказать, начальника «переправы» и стал по очереди пропускать один обоз за другим. И кого только здесь не было: обозы различных учреждений, тарантасы с чиновниками (помню — управление одного из курских начальников уезда), обозы воинских частей. Наконец, переправились и мы и часам к 6 утра добрались до станции Койсуг, где заночевали в какой-то и без того битком набитой хате. За ночь мы передвинулись всего на 10 верст, но... Дон был позади.

В эту ночь через него переправились в разных местах почти все части Добровольческой армии, и к утру Ростов был в руках красных. Из нашей станицы мы смотрели на пламя целого ряда зажженных при отступлении пожаров. Слышалась стрельба. Но большевики на время остановились и нас по горячим следам не преследовали.

Соединиться с нашими батареями нам, впрочем, и тут не удалось. Обозам различных частей было велено немедленно продвигаться в глубь Кубани, чтобы очистить место для расположения строевых единиц. Для обозов гвардейской кавалерии была указана сборным пунктом станица Брюховецкая. Подвигались мы не торопясь; смежный с нашим шел обоз кирасирской дивизии, которым командовал Петя Струков, и мы часто шли рядом, обмениваясь мыслями и впечатлениями. После этого мы с ним больше не встречались. Он заболел

вскоре тифом и, видимо, не был эвакуирован из Новороссийска. Новый год мы встречали в станице Канеловской, а 5-го прибыли на стоянку в Брюховецкую. Здесь я стал себя чувствовать плохо, и доктор пришел к заключению, что у меня легкая форма тифа (только он считал, что не сыпного, а возвратного; какая между ними разница — не знаю).

На беду, пришло распоряжение запасной части возвращаться в Батайск на соединение с строевой, и меня вместе с группой других больных пришлось оставить в Брюховецкой на попечение одного из вольноопределяющихся батареи (настоящего, а не фиктивного, как я) милейшего Воронова. Болезнь моя прошла сравнительно легко, и через неделю я уже мог бродить. В то же время в Брюховецкую прибыл на стоянку Алексеевский полк, и хата с нашими больными оказалась в расположении «чужого» полка, что было чревато опасностью оказаться зачисленными в этот полк. Поэтому Воронов решил нас вывезти, благо большинство уже поправилось; нанята была повозка для доставки на станцию более слабых, и мы расположились в станционном помещении в ожидании поезда на Кущевку. Стоял сильный мороз, и я еле держался на ногах, но Воронов все меня подбадривал и помог влезть в теплушку. Тут я понял вполне, как важно бывает подчас быть «частью чего-то», а не одиноким. Помню на платформе какого-то солдатика с землистым цветом лица, который, видимо, отбился от части. Он пытался попасть тщетно в поезд; везде были «команды», неохотно делившиеся местом в и без того набитых теплушках, особенно в отношении лиц, явно схвативших «сыпняк». После некоторых перипетий Воронов благополучно доставил нас в Батайск, где стояли обе батареи. (Сам он через несколько дней схватил тоже сыпной тиф и не перенес его, скончался.)

Когда я явился к Барановскому, он объявил мне, что после разговора с Котляревским они решили перевести меня на офицерское положение и для этого назначить делопроизводителем батареи (настоящий делопроизводитель, как оказалось, отступил с хозяйственной частью в Крым) с производством в чиновники военного времени. Известие это меня, конечно, весьма обрадовало; с моей чиновничьей аккуратностью немного смущало, что назначение не было оформлено, как бы полагалось, «приказом по дивизии», но Барановский

весьма убедительно пояснил: «на кой прах тебе приказ по дивизии? Нацепляй себе свои погоны статского советника и будь рад, что можешь сидеть в офицерском собрании, вот и все».

Другим, не менее ценным, пожалуй, «пожалованием» было получение полного комплекта английского обмундирования. По установившейся практике, это обмундирование давалось нижним чинам лишь после нескольких месяцев службы, но моя штатская одежда пришла в результате «похода» в такой вид, что была даже не вполне прилична, а у сапог еле держались подметки, поставленные накануне ухода из Харькова. Новые сапоги были английские, как их называли «танки», весом — боюсь сказать чуть ли не в 18 фунтов. На голове осталась выданная в Ростове папаха белого меха (доехавшая до Парижа).

Исполнением своих новых обязанностей мне, впрочем, заняться не пришлось, если не считать поездки с Барановским в казначейство за жалованьем и деньгами на довольствие батареи, во время которой я, видимо, простудился (было 16 градусов мороза при сильном ветре). Когда мы вернулись домой, доктор заметил, что у меня ненормально распухли руки. То же оказалась и с ногами: по определению доктора, начинался нефрит (воспаление почек).

Заболевать в то время бывало опасно, так как лекарств не было, и милейший доктор только через три дня, съездив лично к корпусному врачу, раздобыл мне слабительного (глауберовой соли). Выручило офицерское положение, так как лежал я в теплой хате (вместе с Барановским и доктором) и повар офицерского собрания готовил мне манную кашу на молоке по несколько раз в день. Возможно, впрочем, что болезнь была в легкой форме; болей я, собственно говоря, не чувствовал, но лежал в какой-то апатии с очень слабым пульсом (около 48). Помню, где-то разорвался снаряд и сказали, что убита корова в соседнем дворе, но это не произвело на меня впечатления. Тем временем начались опять военные действия, и батарея выезжала каждое утро на позиции невдалеке от Батайска. В первых числах февраля мы даже перешли в решительное наступление и заняли Ростов.

Поздно вечером в тот день из Ростова вернулись наши офицеры и сказали, что батарею разрешено отвести на отдых

в район немецких колоний, вытянувшихся вдоль границы Кубанской области. Выступили мы, должно быть, на следующее утро. Я был еще сравнительно слаб и ехал в санях с доктором. (Помню, что, вероятно, как последствие болезни я все видел как бы через сетку — особенно если глядеть на небо или на снежные поля.)

В сущности, мне надо было серьезно отдохнуть — оправиться после болезни. Я и собирался было брать отпуск, который думал провести у Сони в Ставрополе, как приехавший в Батайск за несколько дней до взятия Ростова из Екатеринодара офицер нашей батареи рассказал, что Ставропольская губерния, по-видимому, нами оставлена и Ставрополь в руках большевиков. Характерно, что мы в Батайске этого не знали, хотя Ставрополь был от нас совсем близко. Вообще о том, что делается вокруг, знали мало; даже поезда ходили из Батайска в Кущевку (где был штаб корпуса) не каждый день, а ведь это расстояние верст с 50, не более.

Немецкие колонии я видел впервые, и они меня поразили своим аккуратным видом, хорошими постройками и зажиточностью колонистов. Хорошая, обильная пища (молока я выпивал по две кринки в день) меня быстро поправила.

Долго отдыхать в колонии, впрочем, не пришлось. Котляревский велел мне, взяв с собой трех нижних чинов, отправляться в корпусное интендантство и постараться получить — сколько дадут — английского обмундирования и белья для замены изношенного нижними чинами батареи. По имевшимся сведениям, интендантские склады были на станции Тимашевской, но ордер на получение вещей надо было получить сперва в самом интендантстве на станции Кущевка. Батарейные лошади доставили меня с моими сопровождающими на ближайшую к колонии станцию Ново-Минскую, где оказалось, что через час идет летучка — поезд малого состава (два вагона) как раз на Кущевку. Ехать всем четверым за ордером казалось мне бесполезным, и я велел своим спутникам дожидаться меня, а сам сел в отходящий поезд, рассчитывая вернуться с ордером не позднее следующего утра и тогда всем вместе ехать в Тимашевскую за вещами. Действительность спутала, однако, все мои планы. Хотя до Кущевки было всего 30 верст, наш поезд до нее не доехал. На первом разъезде (то есть на полпути) мне встретился бронепоезд какого-то полка,

который, увидев наш локомотив, его отцепил, так как оказалось, что паровоз был «краденый» и принадлежал тому же полку, что и бронепоезд. В результате все пассажиры нашей летучки (почти исключительно нижние чины) отправились в Кущевку пешими; я после моего недавнего нефрита побоялся, однако, пускаться в сравнительно длинный путь и, так как дело уже было к вечеру, решил заночевать на разъезде — в помещении телеграфа, против чего начальник разъезда не возражал, в надежде, что какой-нибудь поезд меня да заберет. Все было тихо, как среди ночи я проснулся от разговоров в «телеграфной». Это оказались офицеры кавалерийского разъезда, сообщившие, что началось общее отступление, что соседняя с Ново-Минской станция Старо-Минская уже в руках красных и что на следующий день, вероятно, будет очищена и Ново-Минская, на которой я велел ждать меня моим трем спутникам. Я решил, что мне надо немедленно во что бы то ни стало вернуться за моими нижними чинами, которые, по моим представлениям, получив распоряжение «дожидаться меня», рискуют пропустить последние поезда и попасть в руки красных. Лишь только начало светать, я покинул разъезд и по шпалам отправился в Ново-Минскую, не думая уже, конечно, о нефрите. Часам к девяти я уже был там, но никаких нижних чинов не нашел. Из расспросов выяснилось, что они — как только принесли сведения о начавшемся отступлении — сели в проходивший санитарный поезд и уехали в направлении к Екатеринодару. (Как впоследствии выяснилось, им не повезло: двое из них в пути заболели сыпным тифом и один от тифа умер; для меня их отъезд имел неприятным последствием пропажу последних моих вещей, которые я оставил у них и которые, по словам уцелевшего, были украдены у них в теплушке санитарного поезда.)

Не помню теперь подробностей дальнейших моих странствий. Если не ошибаюсь, я вернулся в колонию, где застал батарею снимающейся для следования походным порядком в Новороссийск. Сыпной тиф принял характер эпидемии. Трое из офицеров (в том числе Котляревский) были эвакуированы, четверо нижних чинов тоже. Мне дружески посоветовали ехать поездом и присоединиться к ним на станции Крымской, где шлях выходил на железнодорожный путь уже невдалеке от Новороссийска.

Так я и сделал. По дороге остановился в Екатеринодаре, чтобы разыскать Борю (он был по-прежнему начальником канцелярии ведомства иностранных дел) и вместе с ним в его купе вагона их министерства выехал через три дня из этой временной столицы «белых», которая через день была занята красными. Отступление было полное: помню, как параллельно нашему поезду тянулись по шляху караваны калмыков, бросивших насиженные места и в полном составе с семьями, пожитками и скотом направлявшихся к Новороссийску, — последнее, думаю, массовое переселение целого почти народа. На станции Крымской я простился с Борей и его сослуживцами и отправился в станицу ждать прохождения через нее моей батареи. Пришла она чуть ли не в тот же вечер, но в составе, едва достигавшем половины вышедших из Батайска. Остальные выбыли в пути из-за тифа, да, видимо, и просто так, «отставая». Вел батарею оказавшийся старшим среди офицеров Ника Мейендорф; по моим впечатлениям, он и остальные молодые офицеры как-то утеряли чувство реальности и обсуждали как будто серьезно проект пробиваться пехотным порядком вдоль побережья на Батум и даже далее (?). Мне Ника Мейендорф велел ехать в Новороссийск и там найти Юрия Мевеса (который, собственно, и был тогда «командующим» батареей), на случай же, если я его не найду, дал мне удостоверение о командировке в Крым для присоединения к хозяйственной части батареи (по предположению офицеров, эвакуировавшейся туда предыдущей осенью из Украины).

Приехав в Новороссийск, я опять поселился у Бори в вагоне Министерства иностранных дел. Вопрос об оставлении Новороссийска и вывозе всего, что удастся, в Крым был, впрочем, предрешен, и Боря должен был с своим учреждением эвакуироваться 13 марта на пароходе «Виолетта», идущем в Феодосию. Я же решился дождаться прихода в Новороссийск батареи и ехать с ней. Разыскал Мевеса и получил от него опять поручение пытаться получить что можно из ликвидируемых наспех интендантских складов. Чувствовал я себя, однако, очень плохо и, проходя по улице мимо амбулатории Красного Креста, зашел туда попросить поставить мне градусник. Оказалось 39,9 и язык сильно обложенный; сестра покачала головой, поставила на всякий случай банки (я сильно

кашлял), но предупредила, что похоже на сыпняк. Выдала, по моей просьбе, удостоверение о температуре, из-за которой я служебных обязанностей нести не могу. У меня было ясное сознание, что надо, главное, скорее выбираться из Новороссийска, не ожидая никакой батареи.

Я знал, что в Земском союзе уполномоченным Никола Родзянко, и прямо из амбулатории отправился к нему, прося помочь мне эвакуироваться «индивидуальным», как это называлось, порядком, т. е. не в составе воинской части или гражданского учреждения.

Никола тут же вручил мне ордер на право посадки на ту же «Виолетту», которой должен был ехать Боря, только ордер без нумерованного места, а просто на трюм.

Почувствовав себя «обеспеченным» в смысле эвакуации, я успел в течение дня разыскать Мевеса и взять от него официальное разрешение на эвакуацию, а затем забрать свои вещи из вагона иностранных дел (Бори уже не было) и отправиться пешком на пристань. Температура, видимо, усиливалась: я потом встретил людей, которые меня в этот день видели и со мной будто бы говорили, без того, чтобы у меня об этом осталось какое-либо воспоминание.

На пристани я встал в хвост бесконечной очереди людей, ждущих посадки на «Виолетту». Очередь, однако, не двигалась: в первую очередь проходили «учреждения», которые шли на нумерованные места, и я стоял, думаю, уже часа два или три. Вдруг я увидел приближавшийся ко мне в среднем проходе (которым шли чины «учреждений») ставший за предыдущие дни весьма знакомым кожаный окованный сундук архива иностранных дел. Его несли на плечах носильщики, а впереди шел знакомый курьер. Инстинктивным движением, когда сундук поравнялся со мною, я нырнул под него (как под плащаницу). Курьер видел меня, узнал и ничего не сказал, а через несколько минут я был на палубе «Виолетты», где меня привели к Боре. Дальнейшего я почти не помню. Знаю, что Боря положил меня на предоставленное ему место, переход я совершил в полузабытьи. Потом мне рассказали, что «Виолетта» ушла почему-то ранее назначенного часа и значительная часть ждавших на пристани посадки на нее не попала. Не увидь я тогда сундука иностранных дел — остался бы, верно, и я в Новороссийске.

В Феодосию «Виолетта» пришла утром 15 (должно быть?) марта. Надо было устраивать меня в госпиталь. На этапном пункте, куда меня Боря для начала, по моей просьбе, привел, дежурный доктор дружески посоветовал меня не оставлять: «если у него еще сыпняка нет, так здесь его наверняка схватит». Найти, однако, свободное место оказалась не легко, и Боря меня долго возил по городу (меня потом мучило, что он тогда истратил тысяч сорок на извозчиков), пока уже к вечеру, при протекции начальника санитарной части С. Н. Ильина, не устроил в Алексеевский лазарет (теоретически — хирургический, но в действительности наполовину заполненный сыпно-тифозными). К моему изумлению, меня повели в ванную. Впрочем, воды было невысоко, а санитар просил не застреваться, так как «после вашего благородия еще двое будут в этой ванне мыться». Затем положили на койку на полу (кроватей в этом лазарете не было), и дальнейшее я помню лишь смутно, как в полусне. Помню, что меня навещала Женя Пушкина (жена Васи), что был Ника (он уезжал в Константинополь), но я с ним не говорил. Впоследствии я встретил одну сестру милосердия, работавшую в этом лазарете: оказалось, что я требовал, чтобы меня называли не Татищевым, а Тятиным, и, вставая с койки, отправлялся в соседнюю палату класть поклоны перед иконой. (Я этого всего не помню; по поводу же «Тятина» думаю, что это был подсознательный отголосок разговора, который я имел в Новороссийске с Васей Барановским: он собирался остаться в Совдепии и говорил, что всегда можно жить под чужой фамилией, только лучше, из-за меток на белье, выбрать ее с теми же инициалами.)

К ясному сознанию я вернулся 25 марта, в день Благовещения, но чувствовал себя невероятно слабым и как-то плохо понимал, что происходит вокруг. Слышал разговор про военные действия на севере полуострова, но все это казалось каким-то чуждым и происходящим на другой планете. Между тем лазаретный доктор стал настаивать, чтобы я выписался. Чувствуя себя совершенно беспомощным, я позвонил по телефону в Земский союз и узнал, что в Феодосии и Никола Родзянко, и Борис Балашов, мой товарищ по Лицею, незадолго перед тем женившийся. В результате Никола устроил мне

командировку в ялтинскую санаторию Земского союза, а Балашов был несказанно мил и взял меня к себе на несколько дней набраться сил для путешествия. Сам себе я в те дни казался «конченым» человеком, так как не мог пройти пешком, не садясь, и ста шагов. Кроме того, было очень мучительно так называемое двойное сознание, когда сам себя все время наблюдаешь как бы со стороны: вот выдвинул ногу, вот протянул руку. Помню, через несколько дней характерный случай в Ялте: идя по набережной, я остановился против «Флориана» (ресторана) и думаю: «странно, ведь я не был в Ялте 15 лет, а помню название ресторана; а впрочем, помню или читаю?» (против меня была вывеска с названием) — и долго стоял, стараясь отдать себе отчет, является ли это действительно воспоминанием или просто результатом чтения вывески.

9 апреля Балашов проводил меня на пристань и посадил меня на малюсенький пароход, который за ночь благополучно доставил меня в Ялту, и на следующий день я уже лежал на койке в «санатории», открытой Земским союзом в громадных зданиях казарм в Массандре. Стояла дивная ранняя весна, и вся природа просыпалась. Я почти весь день проводил на воздухе; первые дни почти не сходил с одного большого камня невдалеке от казарм и все смотрел на горы, любуясь Ялтой (странно сказать, что если бы я прошел на 20 шагов дальше, то был бы на берегу моря, но обнаружил я это только через неделю, когда стал чувствовать себя крепче и отваживаться на небольшие прогулки).

В массандрских казармах я оставался, впрочем, не очень долго — меньше месяца. Как-то приехал осматривать подведомственную ему санаторию главноуполномоченный Земского союза Хрипунов и, увидав меня в числе больных, сказал, что переведет меня в санаторию более благоустроенную. Действительно, через несколько дней за мной прислали экипаж и перевели меня в чудную санаторию «Яузларь» около сада Эрлангера, в верхней части самой Ялты, где я и оставался до июня, наслаждаясь чудным воздухом, а временами спускаясь и в город повидать знакомых.

В числе последних оказался, между прочим, Глинка, у которого был дом на Виноградной улице. Сам он, впрочем, ездил часто в Севастополь и Симферополь для участия в совеща-

ниях по земельному вопросу. Вскоре он был Врангелем назначен начальником Управления (=министром) земледелия и обещал мне, когда я поправлюсь, привлечь меня к работе по намечаемой земельной реформе.

20 мая состоялась удачная высадка наших войск у села Ефремовка и началось успешное продвижение Русской армии в северной Таврии. Одновременно был опубликован врангелевский приказ о земле, становившийся решительно на точку зрения закрепления за крестьянами значительной части бывших помещичьих земель и порывавший с принципом неприкосновенности права земельной собственности.

В начале июня врачебная комиссия разрешила мне расстаться с санаторией, и я тотчас уехал в Севастополь, где как раз были собраны Глинкой лица, намечаемые к назначению уездными земельными посредниками. Мне Глинка дал один из прифронтовых уездов — только что очищенный от большевиков Мелитопольский, и военному начальству было сообщено, что помощник Правителя и Главнокомандующего (так именовался приехавший тогда в Крым А.В. Кривошеин) признал необходимым откомандирование мое в ведение начальника Управления земледелия для назначения посредником по земельным делам Мелитопольского уезда.

Впечатления мои о работе этого года и подробный разбор врангелевской земельной реформы я записал по свежей памяти, в эпоху константинопольского моего сидения. Записки эти сохранились, а потому не хочу здесь повторяться. Скажу только, что положенный в основу врангелевского приказа о земле принцип доверия к здравому хозяйственному смыслу «Его Величества русского Мужика», как шутя выражался Глинка, отражал действительно глубочайшую основу глинкинского мировоззрения, совмещавшуюся у него с почти религиозной же верой в русского Царя; этой «народнической» стороной своей Глинка вдохновлял во время оно нас, переселенческих чиновников, охотно прощавших ему за нее все шероховатости и неровности его порывистого характера. Но для того чтобы создавать новую реформу на началах близких и понятных крестьянину и в то же время началах простых и технически просто и быстро проводимых в жизнь, Глинке пришлось уделить почти решительную роль органам непосредственно крестьянским. Отсюда «волостной» характер реформы. Уездные

учреждения врангелевским приказом призваны, в сущности, только утверждать проекты, выработанные в мелких волостных советах, устраняя их увлечения, и только в мере возможности их согласовывать с общими задачами земельной политики. Но в этом отсутствии общего руководства реформой и в случайности «волости» как основной ячейки реформы лежал и главный недостаток последней. Мелитопольский уезд давал яркую картину ненормальности разрешения земельной реформы в волостном масштабе. Так, в уезде было более десятка волостей, состоявших каждая исключительно из самого села, тогда как прилегавшие помещичьи земли входили в состав громадной Веселовской волости, занимавшей всю среднюю часть уезда, но я далеко не уверен, чтобы Веселовский волостной земельный совет легко пошел на закрепление помещичьих земель его волости за, так сказать, «чужими» крестьянами. Другой стороной, вызывавшей нарекания, было постановление приказа о земле о неприкосновенности «надельных» земель. Вводя это правило, Глинка имел в виду избежать внутренней склоки среди самих крестьян на почве земельного передела; но на почве разрешенной при Столыпине продажи земель между крестьянами в пределах надельных земель получились новые «помещики», владеющие по 1000 десятин и больше. Естественно, что «неприкосновенность» таких владений, когда рядом в разверстку поступали земли частных собственников, по площади гораздо меньшие, вызывали нападки и возражения.

После короткой остановки в Симферополе, где я познакомился со своим «начальством» — губернским земельным посредником Шлейфером и с симферопольским уездным — Бибиковым (оба были расстреляны большевиками после оставления Крыма белыми), я приехал в Мелитополь, где мне отвели под канцелярию громадную комнату в здании бывшей земской управы. Сам же я поселился в маленькой комнатке, отведенной в квартире одной еврейской семьи. (В смысле обстановки, кроме моей походной кровати, был только маленький столик и два стула, из коих один — без сиденья — при помощи вставленного в дыру эмалированного таза изображал умывальник.) Впрочем, в этой комнате я только ночевал, так как день проводил в канцелярии, а вечером ходил обычно к Пете Гендрикову, у которого, как у начальника граж-

данской части прифронтовой полосы, собирались по вечерам. Обедал — на «этапе», дешевой столовой для приезжающих в город с фронта, утром же обычно ходил на базар, где покупал хлеб, кринку молока и часто арбуз, с которыми возвращался в канцелярию и «завтракал» с сослуживцами. Дело в том, что канцелярия моя служила одновременно и местом ночлега для моих помощников, когда они приезжали из уезда переговорить о делах. Спали просто на столе. По тем временам это казалось вполне естественным. Умывались во дворе земской управы у крана.

Большую часть времени я, впрочем, проводил в разъездах. Основной задачей земельного посредника было руководство деятельностью волостных советов, и должен сказать, что за то лето я подошел гораздо ближе к жизни крестьян, чем за все предыдущие годы службы в Сибири, так как ночевал и кормился обычно у того или другого из членов волостного совета. Для поправления здоровья, ослабленного перенесенными зимой болезнями, это оказалось чрезвычайно полезно: мелитопольские крестьяне жили всегда зажиточно, и, деля с ними их пищу, я кормился так, как при своем жалованье не смог бы никогда питаться в городе.

Между прочим, цены на все предметы росли все время с невероятной быстротой. Уж не говорю о цене валюты; английский фунт стоил в мае 25 000 рублей, в июле 75 000, а в сентябре около 250 000. Жалованье мое было, кажется, сперва 50 000, потом 84 000. Помню, как в сентябре, получив мои 84 000, я решил обратить часть их в «реальную ценность» и купил за 27 000 рублей три куска мыла Sunlight soap (в Париже оно теперь стоило бы по 1,5 франка штука). Но правда, что обед на этапе стоил в то время только 600 рублей, приблизительно то же, что кринка молока или арбуз.

В первое время деятельность земельных учреждений, естественно, сосредоточилась на незаметной со стороны работе подготовительного характера (составление списков крестьян с указанием земельной обеспеченности каждого, описание помещичьих имений и т.п.). Между тем Врангелю, естественно, хотелось, чтобы слухи о реальности начатой им земельной реформы получили возможно широкое распространение и тем самым могли повлиять в благоприятном для него смысле на настроения крестьян по ту сторону фронта. Поэтому Глинка

прислал в Мелитополь одного из своих сотрудников, чтобы выяснить, нельзя ли в той или иной волости ускорить работу, чтобы возможно скорее приступить к реальной нарезке земель и выдаче документов на передачу крестьянам в собственность бывших помещичьих земель.

Особенно с этой точки зрения казалось заманчивым двинуть работы в Балковской волости, где было большое имение Иваненок, то есть семьи Олеси Врангель, жены главкома. Однако от этой мысли пришлось отказаться: Балки лежали в непосредственной близости от линии фронта, и крестьянам там было не до земельной реформы; несмотря на двукратную поездку, мне даже не удалось там собрать сельского схода с кворумом, необходимым для избрания членов земельного совета. Удивляться этому не приходилось; помню, что, уехав в один из этих разов из Балок в соседнее волостное село (Васильевку), я попал в сферу артиллерийского обстрела, и, пока ждал на земской квартире прихода волостного писаря, в районе села упало и разорвалось несколько снарядов. Фронт проходил в этот день, кажется, в пяти верстах к северу.

При таких условиях мы сговорились с глинкинским сотрудником, что работу «ускоренного характера» я проведу в Ефремовской волости, в южной части уезда, с которой в мае началось наше наступление. Перепись крестьян была там закончена; фонд же помещичьих земель состоял из одного крупного имения (Атманы, наследников Филибера), который при большевиках был превращен в совхоз и в качестве такового, при занятии нами Мелитопольского уезда, поступил в ведение Управления земледелия; помещичьего же хозяйства там фактически уже второй год не было. Так и сделали, и в помощь Ефремовскому волостному совету была командирована целая партия землемеров для съемки земель и нарезки участков.

В связи со всем этим вторая половина лета оказалась в значительной мере занятой Атманами, куда пришлось съездить несколько раз. Не обошлось без осложнений: в начале августа кавалерия большевиков прорвалась через Днепр в глубь Мелитопольского уезда, и работавшие в Атманах землемеры быстро снялись и без предупреждения уехали за перешеек в Крым. Пришлось их снова возвращать и возобновлять прерванную работу. Кажется, 15 августа удалось провес-

ти в волостных советах утверждение основных принципов распределения атманских земель и начать отход в натуры участков каждого из новых собственников.

Самый проект разверстки земель имения был далеко не совершенен и вызвал в Симферополе резкие возражения со стороны как Шлейфера, так и Таврического управления земледелия; оба они находили, что площадь земли, оставленная за имением (кажется, 1500 десятин) недостаточна для продолжения ведшегося там в широком масштабе тонкорунного овцеводства, а распределение земель между домохозяйствами построено, в сущности, на принципе «поравнения» по «душевому» признаку, и тем самым создан нежелательный прецедент. Во многом они были правы, и, при других условиях, быть может было бы предпочтительно не торопить дела, а исподволь подготовить в волостном совете настроение в пользу «землеустроительно» более целесообразного проекта. На я видел в Атманах задачу, скорее, «стратегического» характера, то есть дать в кратчайший срок возможность возвестить urbi et orbi, что наделение крестьян помещичьими землями началось, и создать тем благоприятную обстановку для дальнейшего продвижения вперед нашей армии.

Разбивка участков с постановкой межевых столбов и изготовление документов для новых собственников заняли, однако, довольно много времени, и заседание уездного Совета для окончательного утверждения Ефремовского проекта мне удалось созвать лишь на 16 октября.

Заседание Совета прошло гладко; проект возражений не встретил. Были рассмотрены еще ряд вопросов текущего характера и дано мне распоряжение послать Врангелю своего рода «верноподданническую» телеграмму с приветствием по поводу положенного наконец реального почина земельной реформы. (Увы, телеграмма эта, если и была Врангелю доставлена, порадовать его больше не могла: положение на фронте — о чем мы в Мелитополе не знали — накануне резко испортилось, и части армии начали общее отступление.)

Помню, что вечером в тот день, после заседания, со всеми моими сотрудниками сидели за работой до глубокой ночи: составляли и переписывали журнал заседания, чтобы его на следующее утро могли подписать, не задерживаясь долее в городе, вызванные на заседание представители волостей; под-

писывались заранее подготовленные документы, которые один из моих помощников должен был тоже на следующий день везти в Ефремовку.

На следующее утро я пришел в канцелярию немного позднее обычного и встретил там одного симферопольского чиновника, приехавшего по делам; оказалось, что одновременно в Мелитополь приехал владыка Дмитрий, которого на лошадях повезли в одно пригородное село; обратно владыка должен был ехать на следующий день, и мой знакомый чиновник собирался воспользоваться гостеприимством владыки и на обратном пути (у того был служебный вагон).

Покончив с очередными делами, я отправился в канцелярию гражданской части узнать, нет ли новостей. Встретил меня там в первой же комнате Эмних, заменявший незадолго перед тем ушедшего со службы Гендрикова, и обратился ко мне с совершенно неожиданными словами: «Ах, Алексей Алексеевич, как я рад, что вы пришли, я все утро не могу вас добиться. Пожалуйста, примите меры, к 6 часам вечера надо, чтобы ни вас, ни кого-либо из ваших сотрудников в городе больше не было. Подвод дать вам, к сожалению, не могу, но постарайтесь как-нибудь доставиться с делами на вокзал. Сегодня поезда еще ходят».

Вопрос был ясен: эвакуация. Терять времени было нечего, и не расспрашивая Эмниха о подробностях (у него и без того было дел по горло), я вышел на улицу и отправился домой за вещами. На мое счастье, мне повстречалась пустая подвода, и я, остановив мужика, велел ему ехать ко мне. Тот даже не возражал и был, пожалуй, даже рад, что легко отделался, когда я обещал отпустить его в тот же день на вокзале. Собрать мои пожитки и проститься с моими евреями было делом нескольких минут, и через полчаса я уже был в канцелярии. Об эвакуации в городе еще не знали, и мне пришлось еще около часа провести с членом земельной волости (одной дальней волости), приехавшего переговорить о делах. Тем временем мои сотрудники уже начали укладку дел канцелярии и своих пожитков. Было решено, что один из моих помощников все же поедет с «документами на землю» в Ефремовку и — если бы оказалось, что северная Таврия действительно эвакуируется надолго (мы еще в этом не были уверены), — проберется в Крым через Геническ и Арабатскую стрелку.

Сам я с остальными сотрудниками часам к 3 уже был на вокзале. Но уехать было не так легко. Около 6 пришел с севера поезд, но до того набитый, что один из моих помощников, уже немолодой, с трудом уехал, забравшись на буфер. Я, однако, боялся простудиться и решил ждать следующей оказии. Тут появился на вокзале мой симферопольский сослуживец — Левицкий — и дал мысль попробовать устроиться в «архиерейском» вагоне. Проводник последнего, знавший Левицкого, который приехал именно в этом вагоне, охотно нас впустил. Но вопрос был в том, вернется ли владыка в Мелитополь или его прямо из Акимовки (село, куда он поехал) доставят на ближайшую станцию и оттуда с какой-нибудь оказией — в Крым; вагон же, естественно, бросят на произвол судьбы. Так или иначе, но в вагоне было натоплено, и мы с Левицким решили ждать. Решение оказалось правильным. Поздно вечером приехал владыка, а утром часов около 6 нас прицепили к отходящему на юг поезду, едва ли не последнему. После нас остался, кажется, только бронепоезд, прикрывавший отступление.

Двигались мы, впрочем, чрезвычайно медленно и за сутки проехали не более 30—35 верст. Днем сидели с владыкой и сопровождающим его духовенством и смотрели из окна на обозы и войска, тянущиеся по параллельному железной дороге шоссе. Весь вечер и всю ночь простояли совсем не двигаясь. На следующее утро меня разбудил Левицкий и спросил, не хочу ли я попытать счастья и отправиться с ним пешком на Геническ; что у него впечатление, что мы рискуем быть захваченными надвигающимися с севера красными. Я подумал и отказался. На дворе был мороз, а до Геническа было верст 40, да и оттуда пришлось бы идти пешком по Арабатской стрелке. Пускаться в одиночку Левицкому не хотелось, и он решил оставаться — и к лучшему. Вечером мы узнали, что в этот день был прорыв красных в направлении Геническа и железнодорожный путь был к югу от нас перерезан, так что, уйди мы пешком, почти наверняка встретились бы с красными разъездами. Между тем прорыв удалось ликвидировать, и на следующий день мы медленно двинулись опять к югу. Постояли довольно долго у станции Рыково, так что мы с диаконом успели сходить в ближайшее село и запастись провизией, а после полудня тронулись и к вечеру втянулись через насыпь в пределы Крымского полуострова.

Следующие дни я провел в Симферополе, где остановился у Павла Николаевича Яхонтова, бывшего моего начальника по Переселенческому управлению (помощника Глинки в 1906—1911 годах). То, что Крым отстоят, никто в городе не сомневался. Считали, что Перекопский перешеек взять почти невозможно. Не думали, что в октябре может случиться редкое явление — столь сильные морозы, что Сиваш замерзнет и большевики смогут пройти по льду.

Работы особой у меня в Симферополе не было, и я решил проехать в Севастополь повидать Борю и явиться с докладом к Глинке. Думал быть в отсутствии всего дня три и оттого поехал совсем налегке, не взяв с собою даже своих образков; все это осталось у Яхонтова.

Глинка меня встретил очень сердечно и поздравил с повышением. Оказалось, что ушел его помощник Бурлаков (бывший товарищем министра земледелия в Киеве, а потом в Ростове) и Глинка предоставляет мне это место. Я поблагодарил и, сколько помнится, уже в тот же вечер сидел в управлении, изучал дела отведенной мне отрасли. В Симферополь за вещами собирался поехать дня через два, а пока остановился у Бори, в канцелярии ведомства иностранных дел.

Между тем обстановка резко изменилась. Врангель вернулся на следующий день с фронта и объявил членам правительства, что борьба проиграна и остается эвакуировать армию и всех, кому грозит непосредственная опасность. Оказалось, что план эвакуации разработан и подготовительные меры были загодя, в секрете, проведены. Кривошеин в тот же вечер выехал в Константинополь подготовить почву для приема эвакуируемых.

Началось составление эвакуационных списков и укладка казенного имущества и своих пожитков. Объявлено было, чтобы брать с собой только строго необходимое. Куда повезут — точно не знали; надеялись, что разрешат высадку в Константинополе, но уверенности не было. Потом оказалось, что командующий французской эскадрой адмирал Дюмениль взял на себя ответственность разрешить выход в море всего Черноморского — торгового и военного — флота под покровительством французского флага и тем спас более ста тысяч русских людей.

Живя у Бори, я внес себя, с его разрешения, в эвакуационный список иностранных дел, тем более что формально назначение меня помощником Глинки еще не состоялось и вообще из Управления земледелия эвакуироваться решило меньшинство. Остальных, в особенности младших служащих, пугала неизвестность будущего, и думалось, что уцелеют при большевиках.

Ехать за вещами в Симферополь было поздно, и я погрузил свою походную кровать и мешок с полученными в кооперативе Управления земледелия пятью караваями хлеба и двумя отрезами материи на подводу, нанятую иностранными делами. Выехали мы среди ночи; по всем улицам тянулись обозы, и до пристани добрались мы только к утру. Для погрузки нам был указан большой пароход (9000 тонн) «Рион». К сожалению, он только что пришел с грузом из Константинополя и все трюмы были полны. Тем не менее на него удалось погрузить (на палубу и в каюты) более 7000 человек. Положительной стороной врангелевской эвакуации было то, что гражданское население успело сесть на суда до прихода в порты частей отстающей армии. Оттого, за сравнительно малыми исключениями, из Крыма смогло выехать большинство тех, кто считал свою жизнь в опасности. Как я уже упоминал, многих — особенно семейных — пугал уход в неизвестность эмиграции; кроме того, они надеялись, что, поскольку они не играли видной роли при «белых», большевики их особенно преследовать не будут. Многие, увы, ошиблись. Уверяют, что после ухода Врангеля в Крыму было Бела Куном расстреляно более 35 000 человек.

Погрузка учреждений закончилась к вечеру, и «Рион» отошел от пристани. В городе начались пожары военных складов, и зарево их освещало рейд. В течение ночи посадка, однако, продолжалась с приваливавших ботов. Погрузились юнкера военного училища и какие-то кубанские казачьи части.

На следующее утро «Рион» вышел на внешний рейд и немного погодя направился в открытое море в направлении к Константинополю.

Странно — у меня не было тогда чувства, что покидаю Россию навсегда. Отчасти оно заглушалось чувством, что удалось еще раз уйти от непосредственной серьезной опасности, отчасти надеждой, что большевики непрочны и мы скоро вернемся обратно.

Переход совершился при идеальной погоде; нас, что называется, не колыхнуло, и это к счастью. Бог знает, что произошло бы с «Рионом» в случае сильной бури. Дело в том, что он не успел забрать в Севастополе достаточного количества угля и машины пришлось остановить, когда мы еще находились на полпути. Попробовали подавать уголь с подошедшего к нам миноносца, но, несмотря на помощь пассажиров, погрузка шла медленно и взятого количества хватило на какие-нибудь 1½ часа хода. Поэтому нас просто взяли на буксир миноносца и таким способом доставили в Босфор, где мы простояли сутки против Буюк-Дере.

Лично я устроился на пароходе недурно. В первый вечер я выбрал себе показавшийся мне укромным уголок на палубе, но при ночной погрузке новых партий я чуть не оказался заваленным их вещами. Поэтому на второй день я облюбовал себе несколько неожиданное место: в лодке, прикрепленной над палубой. Пример оказался заразительным, и следом за мной в лодку забрался еще с десяток казаков. Как я уже говорил, погода была ясная, и, завернувшись в мою шебекинскую теплую накидку, я преисправно спал всю ночь до Константинополя. В смысле провизии нам раздавали галеты, оказавшиеся в трюме «Риона», а у меня был еще мой хлеб, которым я мог даже делиться с другими. Хуже было относительно с водой. Опреснителей «Риона» не хватало, чтобы снабдить в достаточном количестве водой всех 7000 пассажиров, и вода отпускалась по рационам, кажется стакан на сутки. Дали раза два и горячий суп.

Из Буюк-Дере нас провезли в Моду, куда мы прибыли под вечер. Здесь группа иностранных дел оказалась в привилегированном положении. За нами пришел катер из посольства, и нас сняли с «Риона» в тот же вечер. Странно было подыматься в гору по ярко освещенным улицам, видеть магазины, полные товаров, шумную толпу и т.д. В посольстве встретил Борю (он пришел с другими членами врангелевского правительства на французском крейсере), Нику и Дару. Помню в вестибюле посольства Веру Николаевну Дюмениль. Она ехала, видимо, на обед и была в вечернем платье. Мне все это казалась, после Крыма, страничкой из другого мира. Было 21 но-

ября нового стиля. Наш переход — от севастопольской пристани до Моды — длился больше недели.

На следующий день я поехал пароходом на Принцевы острова к Мама и сестрам. Жили они на острове Антигоне, находившемся в ведении итальянцев; беженцев было на этом острове сравнительно мало, и жили они довольно дружной семьей, сильно, впрочем, волнуясь из-за слухов о скором прекращении помощи беженцам деникинской эвакуации (весны 1920 года), к которым принадлежали сестры. Но пока что паек шел, и за комнаты, реквизированные под беженцев в пустовавших с начала войны гостиницах, беженцы ничего не платили. По утрам «дежурные» от каждого дома отправлялись в центральный пункт за чаем и «сухой провизией» (сардинки, винные ягоды и пр.); в 12 часов раздавали обед из двух блюд, вечером ужин. Плохо обстояло дело с отоплением: печей не было и приходилось поддерживать горячие угли в «мангалах» (род жаровни), дававших подчас угар.

В семье Кати числилась еще на пайке фактически уехавшая незадолго перед тем в город Ольга Григорьевна. Поэтому сестры уговорили меня остаться пожить у них, тем более что я фактически их, благодаря этому, не объедал, и я, помнится, действительно пробыл у них около недели.

Надо было, однако, искать себе заработка, так как денег у меня не было никаких. Привезенные мною из Крыма врангелевские кредитки (остатки последнего жалованья) по биржевому курсу стоили что-то около 5 франков.

В это время Дара дала мне знать, что, по сведениям столовавшегося у них Георгия Тимашева, англичане предполагают взять на службу при своей полиции некоторое количество русских в качестве «interpreter'ов[1]», на случай недоразумений с русскими беженцами. Я просил записать меня кандидатом и 10 декабря получил вызов явиться к начальнику полиции Перы (часть города, где мы все жили) lieutenant-colonel'у[2] Maxwell (Тимашев служил у него секретарем).

В участке Перы нас, русских, было назначено восемь человек, большей частью молодежь; я составлял, конечно, редкое исключение и был явно взят исключительно по протекции

---

[1] Переводчиков (*англ.*).

[2] Подполковник (*англ.*).

Тимашева. Нам выдали английское обмундирование и поселили в двух отдельных комнатах здания участка, где жили и английские полицейские. Кормили до отвалу и платили довольно высокое жалованье (6 шиллингов в день по курсу в турецких лирах). Хотя брали нас в качестве «interpreter'ов», но фактически мы просто являлись помощниками полицейских — служба не столько физически утомительная, сколько морально неприятная. Должен, впрочем, отдать справедливость своим английским коллегам: чужими деньгами они при мне ни разу не попользовались, хотя при аресте пьяных греков после дебошей на улице это было бы легче легкого. Но про обращение с арестованными — лучше не говорить.

Вообще я себя чувствовал более чем не по себе, а вместе с тем понимал, что могу оказаться в один прекрасный день в положении весьма неприятном. По моей оплошности раз удрал из нашего здания один из арестантов, которого употребляли по хозяйству на кухне. На мое счастье, его сейчас же поймали и, нещадно избив, водворили опять под замок. Инцидент был замят, и я отделался тремя внеочередными дневальными. Но, как мне объяснили, если бы беглец сумел скрыться, мне не миновать было бы военного суда (мы числились на военной службе) с вероятным исходом в 5—6 месяцев арестантских рот.

Понятно поэтому, как я был рад, когда вскоре после этого инцидента я получил письма от Алексея Степановича Хрипунова с предложением поступить к нему для переписки по делам Земско-Городского комитета в Париже, от которого Земский союз в Константинополе получал тогда довольно крупные суммы для организации трудовой помощи среди русских беженцев.

В исполнение новых обязанностей я вступил 1 апреля 1921 года; заниматься приходилось в помещении Земского союза среди очень милых сослуживцев. Помощь беженцам была в основном в то время распределена между тремя организациями: Земским союзом (трудовая помощь), Союзом городов (вопросы обучения детей и юношества) и Красным Крестом (медицинская помощь).

Во главе Красного Креста стоял Б.Е. Иваницкий, а в Константинополе — председателем комитета Красного Креста Ближнего Востока — Г.В. Глинка; начальником канцелярии у

него был Всеволод Граве, который, однако, серьезно заболел и был вынужден уйти со службы.

И вот в начале июня я получил от Глинки письмо с просьбой соглашаться поступить в Красный Крест на место Граве. Хрипунов совершенно искренне посоветовал мне принять это предложение: по ходу дела было видно, что субсидия Земско-Городского совета недолговечна и что долго он держать меня секретарем все равно не сможет.

На следующий же день я явился в Красный Крест (его канцелярия помещалась в здании русского консульства) и был рад почувствовать себя в «родной» обстановке среди Глинки и Иваницкого, с которыми было неразрывно связано столько хороших воспоминаний милого прошлого.

Vennes 24/5/1928

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Возможно, дойдя до конца воспоминаний Алексея Алексеевича Татищева, читатель захочет узнать, чем кончилась эта эпопея.

С июня 1921-го до начала 1923 года автор продолжал работу при Красном Кресте в Константинополе, пока ему не удалось добраться до Берлина, где уже сосредоточилась большая часть русских беженцев, в том числе его брат Никита Алексеевич с семьей и многие знакомые и друзья.

В сентябре того же года он обвенчался с Юлией Владимировной Буторовой. Затем они вместе уехали в Париж, где ему было предложено место главного бухгалтера в шведской фирме «ALFA — LAVAL», в которой он продолжал работать вплоть до начала Второй мировой войны, когда фирма закрылась.

В конце 1924 года родилась его дочь Мария (Марьюшка), для которой писались эти записки, когда заболевший туберкулезом Алексей Алексеевич на протяжении полутора лет (1937—1938) лечился в санатории в Швейцарии.

Несмотря на лечение, до конца жизни Алексея Алексеевича проявления болезни усиливались.

В 1944 году его дочь венчалась с бароном Всеволодом Михайловичем Фредериксом. В 1945 году у них родился сын Николай.

В январе 1946 года скончалась Юлия Владимировна, и спустя год, 16 января 1947 года, скончался сам Алексей Алексеевич.

Оба похоронены на известном русском кладбище Sainte Geneviève-des-Bois.

М.А. Кирилова,
дочь А.А. Татищева

Париж, 2001

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Разбивка на главы и членение глав сделаны редакцией (кроме главы «Начало службы»).

Татищев А.А.

Т23 Земли и люди: В гуще переселенческого движения (1906–1921). — М.: Русский путь, 2001. — 376 с., ил. — (ВМБ. Серия «Наше недавнее». Вып. 9).

ISBN 5-85887-106-2

Мемуары Алексея Алексеевича Татищева (1885–1947), чиновника Министерства земледелия, охватывают период с 1906 по 1921 год. Активный проводник столыпинской земельной реформы, мемуарист раскрывает перед современным читателем малоизвестные страницы социальной истории России — переселенческого движения, на разных территориях которого — от Кавказа и Средней Азии до Дальнего Востока — довелось работать автору этих живо написанных воспоминаний.

ББК 63.3(2)52

Алексей Алексеевич Татищев

ЗЕМЛИ И ЛЮДИ

В гуще переселенческого движения
(1906–1921)

ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕМУАРНАЯ БИБЛИОТЕКА

Серия «Наше недавнее»

Редактор *А.В.Громов-Колли*
Оформление *Л.В.Петрашиной*
Технический редактор *Л.А.Фирсова*
Корректор *А.З.Лазуткина*

ЛР № 040399 от 03.03.98
Подписано в печать 29.10.01. Формат 60x90/16
Печ. л. 23,5. Тираж 3000 экз. Заказ 640т

ЗАО «Издательство "Русский путь"»
109004, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2, стр. 1
Тел.: (095) 915-10-47



Отпечатано с готовых пленок
в типографии НИИ «Геодезия»
141260, г. Красноармейск, ул. Центральная, д. 16